4
И-71

Проверено

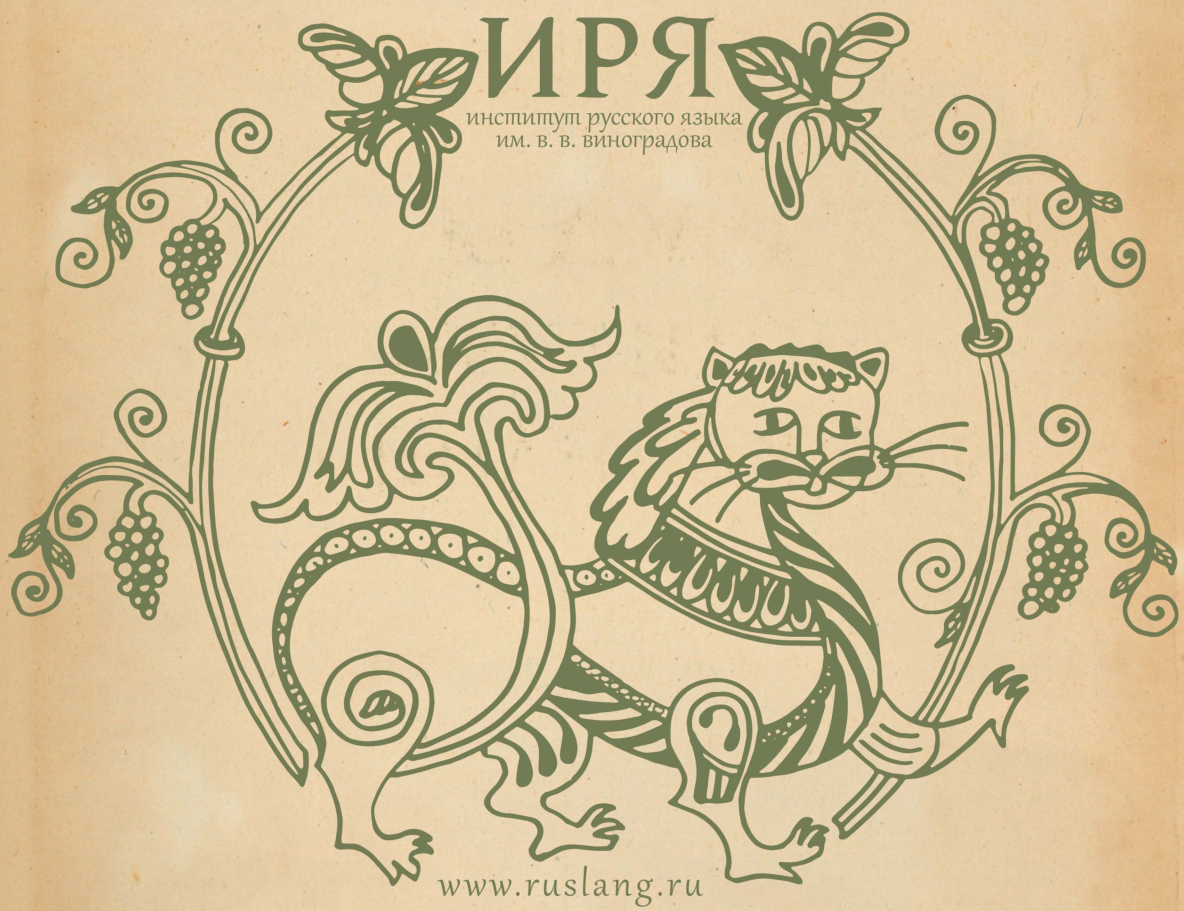
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ

II

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова



www.ruslang.ru

ПРОВЕРЕНО

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Том II

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Москва 1953

4.
И-71
БИБЛИОТЕКА
Института
Языкознания
А.Н. СССР
20
46921

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
академик В. В. ВИНОГРАДОВ (ответственный редактор),
доктор филологических наук В. И. БОРКОВСКИЙ,
доктор филологических наук Н. А. БАСКАКОВ,
кандидат филологических наук Б. В. ГОРНУНГ,
кандидат филологических наук В. С. СОКОЛОВА,
кандидат филологических наук С. И. ОЖЕГОВ
(ответственный секретарь)

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

Том II 1953

И. А. Попова

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Определение грамматики, как собрания правил об изменении слов и сочетании слов в предложении, данное И. В. Сталиным в его гениальных трудах по вопросам языкознания[1], обязывает лингвистов ко многому. Необходимо создать такое описание грамматического строя языка, которое действительно вскрывало бы правила «об изменении слов и сочетании слов в предложении», благодаря которым «язык получает возможность облечь человеческие мысли в материальную языковую оболочку»[2].

Грамматика должна активно помогать выражению мысли, служить нуждам общения, быть практически полезной.

Создание грамматики, практически действенной, отражающей подлинную языковую действительность, требует тщательного и непредвзятого исследования и описания грамматического строя современного живого русского языка во всем его объеме, т. е. с учетом всех его функциональных разновидностей, жанрового разнообразия и богатства.

Настоящая работа посвящена исследованию одного из грамматических вопросов — рассмотрению и описанию предложений, называемых «неполными». Как увидим, объем этого термина неправомерно велик, и под наименование «неполных» подводятся самые разнообразные структурные типы высказываний. Это является следствием недостаточной определенности содержания самого термина «неполное предложение», что в свою очередь вытекает из недостаточной определенности в чисто языковом отношении и самого термина «предложение».

Наше понимание неполных предложений сложилось не сразу. Оно явилось результатом анализа неполных предложений, рассматривавшихся первоначально в плане, близком к традиционному их пониманию, — как противопоставляемых полным в отношении грамматического состава и смысловой законченности.

В нашем исследовании мы постараемся доказать, что только исходя из рассмотрения социальных функций языка — его

---

[1] См.: И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1951, стр. 23—24.

[2] Там же, стр. 24.

коммуникативных функций как орудия общения и выражения мысли, только исходя из учета задач и условий речевого общения, можно решать вопрос о той или иной степени полноты предложения, достаточности его формально-грамматического состава.

Вопрос о смысловой и формальной полноте отдельного высказывания тесно связан с общей теорией предложения, с проблемой выражения мысли словом.

1. КРАТКИЙ ОБЗОР ГРАММАТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ О НЕПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Ввиду отсутствия специальных работ, посвященных неполным предложениям, мы считаем целесообразным дать краткий обзор грамматических учений о неполных предложениях.

В связи с тем, что учение о предложении, в основном, входило в область риторики, неполнота состава предложения, так называемый «эллипсис» формальных и знаменательных его частей, рассматривалась главным образом в плане стилистическом, причем эллиптичность считалась одним из признаков «романтического» стиля. Характерно в этом отношении высказывание П. А. Вяземского в предисловии к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина: «Частые местоимения в речи... замедляют ее течение, охлаждают рассказ. Есть в изобретении и вымысле также свои местоимения, от коих дарование старается отделываться удачными эллипсами. Зачем все высказывать и на все напирать, когда имеем дело с людьми понятия деятельного и острого»[1].

На пропуск слов указывается еще в грамматике Смотрицкого — в 4, 5 и 6-м «отступлениях». Вскользь об этом явлении говорится и в других грамматиках (в грамматике Цухмайера, 1820 г.), — например, пропуск указания на количество в оборотах «возьми пшеницы» как объяснение родительного падежа, — в учении о «сочинении слов», т. е. в составе словосочетания.

Наиболее пространно грамматическое учение о «неполных предложениях» изложено Гречем. Не ограничиваясь определением неполных предложений, Греч дает и классификацию случаев опущения (эллипсиса) частей предложения.

Для Греча, строящего свой синтаксис на логической основе, идеальный состав предложения определяется составом суждения: субъект, предикат и связка. Поэтому он считает, что в предложении «Роза нежна» опущена связка «есть», в предложении «желаем здравия» опущено подлежащее «мы», в ответе на вопрос о том, кто основал Санкт-Петербург, гласящем «Петр Великий», опущены связка и сказуемое.

[1] См. об этом: Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века, Киев, 1948, т. II, стр. 271, откуда и приводится цитата из Вяземского.

«Такие предложения, — говорит Греч, — именуются неполными в противоположность полным, в коих находятся все главные части предложения»[1].

В нескольких последующих параграфах, размещенных в разных отделах грамматики, излагается то учение о неполных предложениях, которое затем в течение почти столетия повторялось лишь с незначительными изменениями во всех школьных руководствах. Заслуживает внимания попытка Греча разобраться в особой структуре предложений-ответов и дать их классификацию.

Учение об эллипсисе, или опущении частей предложения, нашло свое дальнейшее развитие в «Начертаниях русского синтаксиса» Перевлесского, но в столь логизированном виде, что практически не оказало влияния на последующие грамматики. Перевлесский считает, что опускаться могут только «подчиненные» члены, причем в основании понятия «подчиненный» у Перевлесского лежит не грамматическая зависимость слова, а чисто смысловое, почти «этимологическое» начало. «Подчиняющим», по Перевлесскому, является то слово, которое составляет содержание понятия, выраженного сочетанием слов: так, в сочетании «проводит борозды» подчиняющее слово — «борозды», подчиненное — «проводит», и оттого оба эти члена могут сливаться в одно слово, в котором дополняемое является окончанием, а дополняющее — содержанием[2], — «бороздит»[3] и т. д. Таким образом, подчиненными оказываются подлежащие (по отношению к сказуемому), определяемые и дополняемые слова (по отношению к определениям и дополнениям), которые и могут опускаться. Наиболее ценной в концепции Перевлесского является мысль о том, что слова — носители основного смысла высказывания опускаться не могут. «Эллипсис, — определяет Перевлесский, — состоит в опущении одного или нескольких членов предложения, которые нужны только для грамматической полноты речи, а не для ее понимания»[4].

Более детальное рассмотрение неполных предложений было начато А. М. Пешковским. Пешковский впервые строил учение о неполных предложениях на базе грамматических отношений между словами. Им была учтена функция интонации и определены факторы, создающие неполноту предложения, а именно: заимствование слов из окружающей речи; замена их реальными представлениями из обстановки речи или из предыдущего общего опыта говорящих, выражение представления, соответствующего недостающему члену, целым соседним предложением; достаточность вещественных и формальных значений членов самого неполного предложения для возбуждения образа, соответствующего отсутствующему члену,

---

[1] Н. Греч. Практическая русская грамматика, СПб., 1827, § 273, 379, 385 и 386.

[2] Мы бы сказали «основой» — носителем вещественного значения. — *И. П.*

[3] См.: П. М. Перевлесский. Начертание русского синтаксиса, 1487, § 8, 15, 21.

[4] Там же, § 321.

возможность выражения тех или иных представлений интонационными средствами. Однако свою классификацию Пешковский строит не на основе этих факторов и обусловленном ими характере неполноты предложения, а чисто формально — на синтаксическом положении пропущенного члена предложения.

Рассмотрению неполных предложений предшествует у Пешковского установление основных структурных типов предложения. Неполными предложениями считаются «такие предложения, в которых нехватает... одного или нескольких членов». Под неполнотой понимается неполнота формального состава предложений, т. е. отсутствие того или иного члена, требуемого наличным составом предложения, самой формой словосочетаний. В соответствии с этим предлагается и классификация неполных предложений, намечающая шесть рубрик в зависимости от того, какого именно члена недостает: 1) подлежащего, 2) сказуемого, 3) связки при наличии предикативного члена, 4) предикативного члена при наличии связки, 5) управляемого существительного, или инфинитива, при наличии управляющего глагола, 6) определяемого существительного при наличии несубстантивированного прилагательного[1].

Однако, несмотря на, казалось бы, новый, более грамматический подход к рассматриваемому явлению, трактовка неполного предложения изменяется мало. Хотя для сравнения предлагаются грамматические структурные типы предложений, однако предполагается, что они являются общими для всех функциональных разновидностей речи, как письменной, так и устной разговорно-бытовой, тогда как на самом деле требуемые законченность и полнота конструкций характерны только для некоторых жанров книжно-письменной речи. Тем самым игнорируются живые структурные типы высказываний. Кроме того, на трактовке вопроса ярко сказалась и основная методологическая установка Пешковского, его взгляд на глагольность как основу предложения. Среди приведенных примеров неполными считаются и такие, как «П о к о й н о й н о ч и!», «Ч т о с в а м и?» (хотя они и названы «стационарными»), и такие, как «Н и г д е н е т е м н е е т[2], не густеет гроза» и такие, как «А у н е е о п я т ь ж а р» и ряд других. На самом же деле первые являются законченными высказываниями, состоящими из устойчивых сочетаний слов, близких к фразеологическим (последнее отмечает и сам Пешковский). Другие представляют собой предложения с однородными членами, третьи — полные предложения разговорного языка. Но и те, и другие, и третьи не нуждаются в дополнениях ни с смысловой, ни с грамматической стороны. Для Пешковского же наличие в предложениях «Н и г д е н е т е м н е е т, не густеет гроза», «Могучий Олег головою поник и д у м а е т...» и т. п. нескольких сказуемых служит основанием для того, чтобы видеть в них

[1] А. М. П е ш к о в с к и й. Русский синтаксис в научном освещении, изд. 6-е, М., 1938, гл. XX.

[2] Выделенные разрядкой слова считаются Пешковским неполными предложениями.

столько же предложений и, следовательно, начиная со второго сказуемого, — неполные предложения[1]. Предложение «А у нее опять жар» считается неполным из-за отсутствия глагола бытия «есть», в то время как это — особый вид предложений разговорной речи: «У меня бессонница», «У него тиф» и т. п., не требующих наличия глагола.

В сложноподчиненном предложении «Дорого-любо, кормилица-нива, видеть, как ты колосишься красиво» (Некрасов) неполным считается главное предложение, так как в нем нет дополнения при переходном глаголе «видеть», хотя дополнение и выражено другим предложением, придаточным; кроме того, в главном предложении нет формальных признаков необходимости дополнения.

Однако ни одно из приведенных и подобных им предложений, называемых Пешковским неполными, не могло бы быть грамматически пополнено без нарушения живых синтаксических норм современного русского языка[2].

Примеры каждой из шести рубрик неполных предложений очень пестры и по структуре, и по принадлежности к разным видам языка. Многие примеры взяты из стихотворной речи, с риторическими и ритмическими повторениями, которые нельзя относить к неполным предложениям, как, например, «И все подняли кубки. Не поднял лишь один. Один не поднял кубка, Михайло князь Репнин» (А. К. Толстой), или с повторениями эмоционального характера: «Моей больной все хуже становилось, хуже, хуже» (Тургенев).

Основным пороком трактовки Пешковского является смешение понятий «словосочетание» и «предложение». Уже в самом определении Пешковский основывает неполноту предложения на неполноте словосочетания. Определяя неполные предложения как такие, «в которых нехватает... одного или нескольких членов», Пешковский тут же поясняет, что «нехватка эта определяется прежде всего формальным составом того или иного неполного словосочетания».

Достаточно и приведенных Пешковским примеров неполных предложений, чтобы убедиться, что он действительно рассматривает структуру словосочетания вместо структуры предложения, и неполнота формального состава одного из словосочетаний предложения делает для него

---

[1] Пешковский присоединяется в этом отношении к мнению А. Томсона, который видит в предложении «Он пришел и сказал» два предложения — полное и неполное и строит на этом понятие неполного предложения (см.: А. Томсон. Общее языковедение, Одесса, 1910, стр. 303), ссылаясь также на В. А. Богородицкого, для которого так называемое «слитное» предложение «Брат сидит и читает» — разновидность сложного. См.: В. А. Богородицкий. Общий курс русской грамматики, М.—Л., 1935, гл. XIV.

[2] Показательно для эволюции взглядов Пешковского, что в первых двух изданиях «Синтаксиса» (до переработки) Пешковский относил к неполным и односоставные определенно-личные и инфинитивные предложения. В третьем издании, под влиянием синтаксических идей А. А. Шахматова, сделан шаг вперед в отношении признания названных живых типов высказывания полными предложениями.

неполным все предложение. Например: «Моей больной все хуже становилось, х у ж е, х у ж е» — неполное из-за отсутствия связки при повторяющихся «х у ж е, х у ж е» и т. д. Таким образом, предложение, обладающее в целом всей полнотой смысла, имеющее в своем составе все необходимые члены, механически рассекается Пешковским на словосочетания и либо считается неполным из-за неполноты формального состава одного из словосочетаний, либо само такое словосочетание, не составляющее высказывания, объявляется неполным предложением, если только оно содержит глагол. Такая трактовка — следствие характерного для Пешковского ошибочного подхода к предложению как словосочетанию или сумме словосочетаний.

Применение предложенной Пешковским классификации к анализу широкого языкового материала обнаруживает ее слишком общий, формальный и схематичный характер. Для некоторых его рубрик можно найти примеры только в разговорно-бытовой речи, для других — только в составе сложного предложения, в целом — полного; большая часть примеров живого языка совсем не укладывается в рамки этой классификации. Отсюда видно, что предложенная Пешковским формально-грамматическая классификация неполных предложений по признаку синтаксического положения пропущенного члена оказывается неспособной охватить материал и ничего не дает для понимания сущности явления.

Можно было бы не останавливаться так долго на учении Пешковского о неполных предложениях, если бы это учение не вошло — и даже с теми же примерами — почти во все изданные за последующие годы учебные руководства для средней школы и для педагогических учебных заведений. Для школьной грамматики такие предложения неполны, так как не отвечают схеме предложения-суждения, но в том, что это — предложения, грамматика не сомневается, поскольку они выражают какую-то мысль. Для Пешковского, как и других представителей формального направления, подобная мотивировка «бессодержательна», но и он вынужден признать эти же высказывания предложениями, и тоже «неполными» — последнее, поскольку они не отвечают его схемам предложения «именительный падеж плюс согласованный с ним глагол» и некоторым другим. Термин «неполное предложение» используется представителями формального направления для того, чтобы иметь возможность назвать предложениями такие высказывания, в которых не оказывается необходимых, с их точки зрения, формальных признаков предложения, и тем самым выйти из затруднения при анализе живого языкового материала. По выражению самого Пешковского, «неполное предложение берет нас в плен своими услугами»[1]. И, пользуясь услугами этого удобного термина, Пешковский, поступаясь своим тончайшим чувством языка, относит к неполным все те предложения, которые не удовлетворяют принципу глагольности как

[1] А. М. Пешковский. Сборник статей, Госиздат, Л., 1925, стр. 100.

основе предложения, хотя бы эти предложения никак и ничем не могли быть пополнены в современном языке.

Новой постановкой вопроса явилось ограничение понятия «неполноты» предложений и выдвижение различных живых способов высказывания как особых типов предложения в монументальном труде А. А. Шахматова «Синтаксис русского языка». Выдвижение особого типа — односоставного предложения с его разновидностями, которые считаются полными предложениями, признание полноты состава в высказываниях, выражающих пожелание и приказание — типа «Счастливый путь!», признание полными определенно-личных и неопределенно-личных предложений и ряда других живых типов высказываний, постоянное внимание к интонации и признание за нею значения грамматического фактора — вот важнейшее в том новом и ценном, что дало учение академика А. А. Шахматова о неполных предложениях. Новая постановка вопроса вытекала из привлечения широких материалов живого русского языка, исследование и анализ которых заменили систему схем и иллюстративных «примеров». Впервые был так обильно представлен и так детально и тонко проанализирован материал живого разговорного языка (правда, только отраженного в тексте художественных произведений). Но, к сожалению, анализ этого богатого материала в конечном итоге свелся к попытке расклассифицировать (на основе формальных показателей) его по тем рубрикам односоставных и двусоставных предложений, которые были установлены для полных предложений. Так, предложения, выражающие пожелания, приказания, считаются полными или неполными в зависимости от того, именительным падежом или косвенным выражен главный их член. «Счастливый путь!» (Крылов), «Покойна ночь» (Капнист), «Исполнение желаний» (Л. Андреев) — полные односоставные. Сюда же относится следующий пример: «Молебен, — сказал он стоявшим на клиросе монахам» (Писемский, «Тысяча душ») — с примечанием в скобках: «едва ли это винит. пад.».

Предложения же повелительные типа: «Огня!» кричат: «Огня!» (Крылов), несмотря на предикативную повелительную интонацию, считаются неполными односоставными[1].

Думается, что повелительные предложения всегда имеют главным членом косвенный падеж — винительный или родительный. В приведенном выше примере, где «Молебен» — в винительном падеже, в аналогичном случае было бы сказано «Панихиду!» и т. д. Предложения же, означающие пожелания, могут быть выражены как именительным, так и родительным падежом — и в том, и в другом случае и функция их, и степень их полноты и ясности одинаковы.

Создает большую сложность и придает неубедительность классификации неполных предложений Шахматова его стремление непременно соотнести все неполные предложения с соответствующими полными. Последнее не нужно и далеко не всегда возможно, так как наличный формальный

[1] А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка, Л., 1941, § 120.

состав неполного предложения часто не дает для этого достаточных оснований. Пример: «Марья, скоро ль самовар-то?» (подашь); (Е. Карпов. «Зарево»)[1] — по предполагаемой форме («подашь») относится к односоставным определенно-личным. Если же предположить — «закипит», «готов будет» и т. п., тогда, естественно, эти предложения нужно отнести к двусоставным. «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов» (Грибоедов, «Горе от ума») — предполагается «поезжай». А почему не «отправлю»? и т. п. Дело, однако, не только в спорности и сложности классификации, предложенной Шахматовым, сколько в том, что значительно бóльшую ценность представила бы классификация неполных предложений, построенная на учете именно их особенностей, а не дублирующая классификацию полных.

Следуя формальной схеме, Шахматов относит к неполным и такие предложения, которые невозможно пополнить в современном русском языке.

Так, к двусоставным нарушенным, с пропуском сказуемого (§ 312), Шахматов относит и такие предложения, где вставить «есть» совершенно невозможно. Несмотря на это, Шахматов считает такие предложения неполными. Например: «Жизнь моя на волоске» (Гоголь, «Ревизор»), «Вот там-то прямой рай» (Крылов).

Совершенно обойден в классификации Шахматова вопрос о пропуске второстепенных членов, требуемых смыслом и структурой предложения, — повидимому, поскольку это не соотносимо с односоставностью и двусоставностью предложения.

Из приведенного краткого обзора видно, что удовлетворительного решения вопроса о неполных предложениях еще не найдено[2].

---

[1] А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка, § 120.

[2] Неполным предложениям древнерусского языка посвящена глава в исследовании В. И. Борковского «Синтаксис древнерусских грамот» (Львов, 1949). Автор придерживается традиционной точки зрения на неполные предложения, понимая под неполнотой предложения неполноту формального состава, а под последним — наличие главных членов предложения и, в случае переходного значения глагола,— дополнения. Однако сам исследуемый материал непрерывно опровергает этот традиционный подход, и автору приходится, относя те или иные предложения к неполным, одновременно констатировать отсутствие полных структур, соответствующих предполагаемому образцу предложения. Так, относя к неполным предложения, в которых опущено сказуемое, в том числе и «выраженное формами глагола «есмь — быти» в его реальном значении наличия, нахождения, бытия, существования», автор сам же, подводя итоги, говорит: «мы считаем необходимым подчеркнуть следующий факт — отсутствие в грамотах примеров, где бы в этих предложениях стояла форма настоящего времени глагола «есмь — быти» (стр. 115).

Переходя к анализу других примеров, автор опять отмечает, что «и здесь, как норма, отсутствие форм настоящего времени глагола «есмь-быти».

В итоге исследования неполных предложений с «опущенными» формами глагола *быть* автор делает вывод: «нормальными, типичными для древнерусского литературного языка были предложения без форм *есть* и *суть*» (стр. 118). Зачем же в таком случае относить их все-таки к неполным?

2. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В чем же заключается проблема неполных предложений? Прежде всего — что такое неполные предложения? Какой критерий должен быть положен в основу определения «полноты» или «неполноты» предложения? И можно ли дать определение «неполного предложения», не уточнив предварительно, что же следует понимать под «полным» и под «предложением»? Ведь существующие определения (возможно, по необходимости) весьма общи и касаются главным образом смысловой и только отчасти функциональной стороны предложения и не дают его конкретной языковой характеристики. В еще меньшей степени определены различные и весьма многочисленные виды предложений, особенно виды предложений разговорного языка; нет точного представления о конкретном минимуме языковых данных, позволяющих считать то или иное сообщение предложением.

По мнению академика И. И. Мещанинова, который в этом вопросе очень близко подходит к традиционной школьной грамматике, повидимому, таким минимумом является наличие законченного высказывания и его необходимых элементов: субъекта и предиката, выраженных хотя бы и в одном слове[1].

«...субъект с предикатом и являются теми необходимыми элементами предложения... Субъект без предиката и предикат без субъекта не дают каждый в отдельности законченного выражения высказывания»[2].

«Синтаксическими выразителями субъекта и предиката в предложении оказываются подлежащее и сказуемое»[3].

Однако так ли это? Действительно ли необходимо наличие словесно выраженных и субъекта, и предиката, чтобы считать высказывание законченным и составляющим предложение?

И обязательно ли совпадают субъект и предикат высказывания с подлежащим и сказуемым предложения? Хотя академик Мещанинов и говорит по этому поводу, что «выражение субъекта и предиката вовсе не требует обязательного присутствия в предложении его подлежащего и сказуемого»[4], однако немедленно же выясняется из дальнейшего изложения, что такое «несовпадение» понимается им весьма ограниченно — в плане выражения подлежащего и сказуемого одним словом, т. е. одним главным членом — сказуемым, что и поясняется рассмотрением общеизвестных типов неопределенно- и обобщенно-личных предложений[5].

Но может ли субъект находить свое выражение в д р у г и х членах предложения, кроме подлежащего и сказуемого, особенно при наличии

---

[1] См.: И. И. М е щ а н и н о в. Члены предложения и части речи, изд. АН СССР, М.—Л., 1945, стр. 7.

[2] Там же, стр. 168.

[3] Там же, стр. 169.

[4] Там же, стр. 108.

[5] Там же.

последних? По мнению академика Мещанинова, повидимому, нет. Он пишет: «В позиции только главного члена предложения выступают подлежащее и сказуемое. Являясь выразителями членов коммуникации, субъекта и предиката, они, в случае своего наличия в предложении, оказываются носителями основных понятий высказывания»[1].

Не следует ли отсюда, что синтаксическая конструкция (слово или словосочетание), не содержащая в своем составе ни подлежащего, ни сказуемого и в то же время по своей структуре могущая их иметь, не является тем самым законченным высказыванием и не может быть названа предложением, хотя бы и неполным? Например, ответы, состоящие из одного второстепенного члена предложения:

«Петр Васильевич! Вы чем недовольны?
— *Собой*».

(Горький, «Мещане»).

«А, Нил! Откуда?
— *Из депо*».

(Там же).

Или, рассматривая подобные ответные предложения как незаконченные высказывания, можно ли называть их «неполными» предложениями? Но действительно ли это незаконченные высказывания? Не выражают ли они полноты смысла в условиях их употребления? И можно ли их рассматривать изолированно, вне конкретных условий употребления, вне их реального бытия, когда они не представляют собою даже и «неполных» предложений?

На это не только нет ответа, но и сама постановка вопроса отсутствует в синтаксических исследованиях последних лет, в которых если вопросы теории предложения и ставились, то или в общефилософском плане, или в плане типологического сравнения синтаксических конструкций разносистемных языков, конкретного же исследования видов простого предложения в русском языке не производилось.

Академик В. В. Виноградов в своей статье «О категории модальности и модальных словах в русском языке» ставит вопрос об объеме и содержании термина «предложение» и выражает уверенность, что «материалистическая теория предложения, разрабатываемая в самой тесной связи и взаимодействии с теорией суждения в диалектической логике, поможет разобраться и в вопросе о том, в какой мере целесообразно и нужно выводить некоторые типы речевых высказываний за пределы категорий предложения и суждения».

Считая, что «всестороннее, исчерпывающее описание и определение

---

[1] И. И. Мещанинов. Члены предложения и части речи, стр. 167. См. анализ примеров «Нам отвели ночлег в дымной сакле», «Снявши голову, по волосам не плачут», «Живем ничего себе, тихо» и глагольных форм «пишу», «беру» и т. п.

сложной и противоречивой структуры предложения на основе принципов диалектического материализма и исследование разнообразных типов предложения в языках разных систем — неотложная задача советского марксистского языкознания», академик Виноградов полагает, что «для достижения этой цели необходимы углубленные подготовительные работы по изучению разных типов предложения в разных языках и прежде всего в современном русском языке»[1].

Независимо от того, понимать ли под предложением выражение суждения или также и другие виды высказываний, вопрос о полноте выражения словом как суждения, так и иных сообщений, эмоций, побуждений и т. п., сохраняет свой смысл.

Поэтому, не углубляясь в споры о том, что́ является предложением, не стремясь тем более давать новых определений, мы будем (условно) придерживаться привычного термина «предложение» для обозначения грамматически организованной единицы речевого общения, обозначающей относительно законченное высказывание любого типа: суждение, сообщение о факте, вопрос, побуждение, эмоционально-качественную оценку и т. п.

После этих предварительных замечаний вернемся к поставленному нами в начале данного параграфа вопросу: что же понимать под неполными предложениями?

Какой критерий «неполноты» предложения положим мы в основу нашего предварительного определения? Смысловую неполноту? Или неполноту формального состава?

Если критерием определения неполноты изолированно рассматриваемого предложения считать его с м ы с л о в у ю неполноту, то почти вся наша речь, не только устная, особенно диалогическая, но и книжно-письменная окажется состоящей из «неполных» — по смыслу — предложений. Ведь и значительная часть формально полных предложений связной речи, взятых вне контекста, не выражает той полноты мысли, которой они обладают в контексте; смысловая связь предложений контекста и относительная неполнозначность отдельно взятого предложения находят себе и формальное выражение: в местоимениях личных и указательных и особенно в указательных местоименных словах, с помощью которых обозначаются ранее названные понятия, в союзных частицах «тоже», «также», «же», «и» (в значении «тоже»), в союзах и в союзных речениях, стоящих в начале самостоятельных предложений, во вводных словах, указывающих на отношение к предшествующей речи, в «ссылочных» словах и оборотах, вроде «вышеуказанный», «названный», «упомянутый», «согласно сказанному» и т. п., отсылающих читателя к ранее изложенному, в соотношении времен сказуемых, в порядке слов и предложений, в расстановке логических ударений, в ритмо-мелодике и т. п. логическая связь между

[1] Труды Института русского языка, т. II, изд. АН СССР, М.—Л., 1950, стр. 35, 38—41.

предложениями научно-деловой речи так тесна, что для полного понимания не только их смысла, но и особенностей построения (порядка слов, роли вводных словосочетаний и союзных речений, логических ударений и т. п.) необходимо производить анализ целостного сочетания предложений — хотя бы в пределах абзаца.

Еще сложнее и тоньше взаимоотношения между предложениями поэтической речи. Предложение, извлеченное из текста художественного произведения, в большинстве случаев (если оно не афоризм, не начало текста и т. п.) очень обеднено. Как, например, неясно в смысловом отношении взятое вне контекста следующее предложение: «Ее вчера тихонько толкнули и — слабая — она сегодня упала» (Горький, «Мещане»). Как ничтожно эмоциональное воздействие и беден смысл ряда следующих предложений: «Где ж он? — Он там. — Где там? — Не знаем», — а о строфе, содержащей их, Белинский отзывался так: «Это вопль подавленной ужасом души, крик нестерпимого отчаяния» (Белинский, Сочинения Державина, статья первая; приведен отзыв о строфе из оды Державина «На смерть кн. Мещерского»). Как мало говорит предложение: «Иона увлекается и рассказывает ей все», и как наполняется оно смыслом, если только вспомним, что так заканчивается «Тоска» Чехова! Какую «полноту смысла» выражает вне контекста следующее формально полное предложение: «Эхе! да этот уж не тот», состоящее из одних местоименных и частичных слов? Достаточно же сообщить, откуда это взято, привести первую строчку строфы: «Лишь только Анджело вступил во управление» и предшествующую приведенной: «И ухо стал себе почесывать народ и говорить: Эхе!» (Пушкин, «Анджело», IV), т. е. напомнить ситуацию, — как все наполнится смыслом.

Но и предложение, состоящее не из частичных и местоименных, а из полнозначных слов, будучи извлечено из контекста, разобщено с системой образов сложного смыслового целого, перестает выполнять свою функцию. Предложение «Степная кобылица несется вскачь!» — может служить материалом для грамматического разбора по частям речи и членам предложения, но совершенно не выражает того, что оно выражает в концовке стихотворения Блока «На поле Куликовом»: «Покоя нет! Степная кобылица несется вскачь!»

Могут возразить против приведения примеров из поэтической речи, поскольку, действительно, поэтическая ткань не терпит разрывов, но, как нам кажется, не в большей степени, чем логические рассуждения, научная аргументация, описания опытов, явлений и т. п. Приведу пример: «Допустим, что мы имеем несколько условных возбудителей, связанных с одним и тем же безусловным. Произведем «угасание» одного из них вышеуказанным способом. Сейчас же после этого мы констатируем значительное или полное «угасание» и всех других условных раздражителей, принадлежащих даже и к другим анализаторам. Но сделайте другой опыт с тою разницей, что после «угасания» одного из них пробуйте другие не сейчас же, а спустя несколько ми-

нут,—и вы увидите, что последние теперь действуют в полном размере. Между тем как тот, который вы угашали, еще долгое время остается задержанным» (И. П. Павлов, «Внутреннее торможение». Разрядка моя. —*И. П.*).

В этом абзаце только первое предложение — совершенно полное по смыслу. Три последующих непонятны без своих предшествующих, поскольку в их составе имеются местоименные слова, реальное содержание которых вскрывается лишь на основании предшествующего контекста. Таким образом, хотя предложения эти — грамматически полные, в них налицо все члены предложения, в которых нашло словесное выражение все основное содержание высказывания, однако полнота эта — только формальная и относительная, поскольку реальный смысл сообщения выясняется лишь из контекста. И такова всегда связь предложений в контексте книжно-письменной речи, особенно научно-деловой: при постоянной, как правило, формально-грамматической полноте каждого предложения — их «несамостоятельность», «недостаточность» в смысловом отношении, их тесная взаимная обусловленность.

Обратимся к разговорно-бытовой речи, по преимуществу диалогической. Для нее формально-полные предложения не типичны. Но и те, которые имеют место, не только не обладают полнотой смысла, будучи рассматриваемы вне контекста или — что здесь существеннее — вне ситуации, но более того — не всегда целиком передают основное содержание сообщения.

Например:

«Перчихин. Дядя Терентий! Идем пиво пить?
Тетерев. Не расположен...
Перчихин. Ну, *я один*»...

(Горький, «Мещане», д. I).

Ответ Перчихина имеет тот смысл, что он один пойдет пиво пить, а не декларирует его одиночество.

«Бессеменов. Значит, опять-таки не было резона продавать...
Перчихин. *Был резон.* Слепнуть стала птица... стало быть, скоро помрет».

(Там же).

«Мавра Тарасовна (*Глебу*). Оглядись хорошенько, что у нас в саду-то! Где ж яблоки-то?
Глеб. *Убыль есть*, Мавра Тарасовна».

(Островский, «Правда хорошо...»).

«Зыбкина. Деньги дадут за нее? (Предлагаемую приказчиком подделку отчета.— *И. П.*).
Платон. Полтораста посулил.
Зыбкина. *Мильонщики мы?*»

(Там же).

Полный смысл вопроса Зыбкиной: Разве мы мильонщики, чтобы отказываться хотя бы и от такой (нечестной) работы?

Подобные примеры бесчисленны и очевидны.

Кроме приведенных формально полных предложений, не обладающих тем не менее вне контекста полнотою смысла[1], есть ряд предложений, не обнаруживающих в своем составе ни полного наличия, ни отчетливого пропуска членов, — так что даже школьная грамматика колеблется в отнесении их к «неполным», — и в то же время вне контекста и ситуации также не выражающих полноты смысла. Таковы, например, состоящие только из сказуемого именные предложения, относимые Пешковским к «неполным», а Шахматовым к полным односоставным «именным сказуемо-бесподлежащным»[2]. Например, «Экой мерзавец!», «Позор!», «Прекрасная, светлая личность!»

Какими должны мы их считать, исходя из определения неполноты, основанного на чисто смысловом признаке? Полнотой смысла вне контекста эти предложения не обладают и в то же время не только не нуждаются в дополнениях состава, но не терпят их, как нарушающих их структуру.

Еще больше сомнений вызывают при определении их смысловой полноты или неполноты предложения с переходными глаголами, не имеющими при себе дополнений, причем не только названных в предшествующих предложениях и сохраняющихся в мысли, почему и повторяемых и легко восстанавливаемых на основании контекста, но также и таких дополнений, которые ясны только из общего содержания речи, из ситуации, и лексически неопределенны. Можно ли говорить в таком случае о «пропуске» дополнений?

Например:

«С е р е б р я к о в. Ты молода, здорова, красива, жить хочешь, а я старик, почти труп. Что ж? *Равве я не понимаю?*»

(Чехов, «Дядя Ваня», д. II).

«П о л я. Мужчина должен знать, что ему нужно делать в жизни...
Т а т ь я н а. А... *Нил — знает?*
П о л я. *Он знает!*»

(Горький, «Мещане», д. I).

Те же сомнения возникают при характеристике предложений с отсутствующими обстоятельственными словами (при глаголах движения, в безличных предложениях), при определении степени полноты ответных предложений и т. д. (см. об этом далее в соответствующих разделах).

Наряду с рассмотренными недостаточно полными в смысловом отношении предложениями мы имеем предложения абсолютной смысловой полноты и законченности: афоризмы, научные определения и формулировки, статьи законов, различные правила поведения, указы, постановления и т. п.

---

[1] Мысль о том, что один структурный, формально-грамматический критерий недостаточен для суждения о полноте предложения, выдвигал и аргументировал А. Н. Назаров в своей диссертации «Неполные предложения».

[2] А. А. Ш а х м а т о в. Указ. соч., § 39, 50, 51.

Таким образом, формально полные предложения представляют собой целый ступенчатый ряд более или менее полных или достаточных в смысловом отношении высказываний.

С другой стороны, многие виды формально неполных предложений (относимых грамматикой к «неполным») достаточно ясны в смысловом отношении: «Татьяна в лес, медведь за ней» (Пушкин, «Евгений Онегин»), «Пред ними лес» (там же), «Вот я тебя веником!» (Л. Толстой, «Власть тьмы»), «Место сбора в Рыбачьем» (К. Симонов, «Дни и ночи»), «Ни шагу дальше!», «Смирно-о!», «Какая радость!», «Воды!», «Что с вами!» и т. п.

Отсюда можно сделать два вывода: 1) смысловая неполнота изолированно рассматриваемого предложения — понятие относительное и не является ни обязательной, ни исключительной чертой формально неполных предложений, и 2) формальный состав предложения сам по себе недостаточен для суждения о смысловой полноте или неполноте высказывания, и тем самым полнота формального состава сама по себе не может служить критерием полноты предложения.

Еще более существенно, чем о т н о с и т е л ь н о с т ь чисто смыслового критерия определения неполноты предложения, то, что последовательное применение одного этого критерия приводит к тем же результатам, к каким приводит узко-формально-грамматический подход к определению полноты состава предложения, а именно, к игнорированию фактов живого современного языка и насилию над ними.

Не говоря уже о том, что изолированное рассмотрение предложения вне условий его употребления, т. е. вне условий его реального бытия, не может быть методологически оправдано и уже является само по себе насилием над языком, даже если условно принять такой подход в целях анализа отдельного предложения, даже если ограничиться рассмотрением одного словесного остова предложения, фактически лишенного интонации, сопровождения жестом, мимикой и другими выразительными средствами сообщения, — даже при всех этих искажающих природу звучащего предложения условиях его анализа мы вынуждены не довольствоваться ими и, продолжая насилия над языком, относить к «неполным» предложения, сохраняющие (и при таком подходе) свою структурную и словесно-грамматическую законченность. Так, нам придется относить к «неполным» все односоставные качественно-оценочные высказывания типа «Позор!», «Какая жалость!», «Глупо!» и т. п., почти все разговорные конструкции, не выражающие полноты смысла, хотя бы они и представляли собой структурно законченные единицы высказывания, не только не требующие, но и не допускающие пополнений, которые изменили бы их структуру, самый их тип, что, разумеется, недопустимо. Иначе говоря, мы пойдем по тому же пути, что и формальная грамматика, объявлявшая «неполными» предложения, которые ничем не могли быть пополнены с точки зрения норм современной живой речи. Нам также придется произвольно домышлять якобы «подразумеваемые», «опущенные» и т. п. члены предложения, причем с еще меньшим основанием и с еще большей долей

Библиотека Института Языкознания А.Н. СССР 46921

гадательности. Изучение содержания без формы или с недооценкой формы приводит фактически к тому же игнорированию явлений языка, что и изучение формы с недооценкой содержания. Мы приходим, таким образом, к выводу, что ни смысловая неполнота, как понятие относительное, ни неполнота формально-грамматического состава, как признак недостаточный, не могут служить каждый в отдельности критерием неполноты предложения как такового. Это естественно, так как вытекает из приро предложения. Предложение, как явление языка и одновременно мышления, представляет собой некое единство формы и содержания и должно рассматриваться в этих двух аспектах одновременно.

Исходя из этого, мы могли бы условиться понимать под «неполными» предложениями такие, в которых их смысловая неполнота находит отражение в неполноте их формально-грамматического состава. Но предварительно попытаемся точно установить, что будем понимать под тем и другим. Говоря о смысловой полноте, мы будем условно различать основное фактическое содержание сообщения от собственно смысловой его стороны, понимая под последней значение этого сообщения в ряду других, что раскрывается только в контексте произведения в целом.

Эти два аспекта смысловой стороны принципиально не разграничимы и составляют некое единство, все же не переходящее в тождество, что и позволяет условно, в целях анализа, их различать.

Говоря о смысловой неполноте отдельно взятого предложения, будем понимать под нею только неполноту словесной передачи фактического содержания сообщения. Такой неполнотой характеризуются главным образом предложения разговорно-бытовой речи, в основном в диалогической ее форме, при которой, как правило, в предложении словесно выражается лишь то новое, что заключается в сообщении, все же ясное из контекста и ситуации или нашедшее выражение в интонации, мимике, жесте остается невысказанным. Примеры подтверждают это. Большей степенью полноты, хотя в значительной степени только формально-грамматической полноты, обладают предложения, в которых основное содержание сообщения полностью нашло себе словесное выражение в его членах, в том числе и выраженных местоименными и, в широком смысле слова, «ссылочными» обозначениями, реальный, конкретный смысл которых раскрывается лишь в контексте.

Рассмотренная степень неполноты характеризует предложения связной, монологической книжно-литературной речи, особенно письменной, для которой словесная невыраженность понятий не типична, поскольку не может быть чем-либо (жестом, интонацией) непосредственно из обстановки речи компенсирована. Логическая же, смысловая связь предложений настолько тесна, грамматическая структура их так строго определена и регламентирована, что, во избежание повторений, позволяет замещать местоимениями полнозначные слова, чего требуют правила стилистики.

Относить подобные предложения с местоименными членами к «неполным» нецелесообразно практически: они составляют бóльшую часть предложений связной речи, не являясь специфичными для какого-либо вида языка. При рассмотрении этих предложений может возникнуть лишь один принципиальный вопрос, а именно вопрос об условиях возможности и желательности замены полнозначных слов местоименными, что выходит из круга задач настоящей работы.

Еще большей смысловой полнотой обладают предложения связной, монологической речи, состоящие из полнозначных слов, выражающих все основное содержание высказывания, но и они в отношении их смысловой «достаточности», «автономности», не равнозначны. Они могут быть в большей или меньшей степени ясны вне контекста в зависимости от их содержания и места в композиции целого. Более независимы обычно начальные предложения целого текста, вводящие в ситуацию, начала абзацев, заключающих новую тему, описания природы и обстановки действия, например: «Большие тени от облаков то и дело пробегали по насыпи» (Чехов, «Страхи»), «По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса» (Тургенев, «Касьян с Красивой Мечи»). Но и подобные описания могут быть более (например, в рассказах Чехова», см. и приведенное предложение в составе названного рассказа «Страхи») или менее (как в повестях Тургенева) связаны с композицией целого. Даже предложения, начинающие повествование, могут так определяться последующим контекстом и могут быть так построены, что кажутся не начинающими, а продолжающими рассказ об уже известных событиях. Таково известное начало незаконченной пушкинской повести «Гости съезжались на дачу». Таковы нередко начала рассказов Чехова, особенно более поздних: «После венчания не было даже легкой закуски; молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал» («Анна на шее»); «На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты» («О любви»); «Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой» («Дама с собачкой»); «Это была длинная процедура» («Беглец») и т. п.

Рассмотрение последнего случая — смысловой неполноты изолированно взятого предложения — выходит за пределы грамматики, но, поскольку для анализа или иллюстрации грамматических явлений берется литературный текст, он не может рассматриваться совсем вне его композиционно-смысловых функций, которыми определяются и содержание, и структура составляющих его предложений.

Анализ видов и степени смысловой недостаточности извлеченных из контекста предложений показывает, что сделанный нами выше выбор критерия смысловой неполноты предложения в значительной мере условен, произволен и продиктован практическими соображениями.

Переходим к установлению второго критерия — к р и т е р и я н е п о л н о т ы г р а м м а т и ч е с к о г о с о с т а в а п р е д л о ж е н и я.

Что считать полным формально-грамматическим составом предложения? Мы установили, что полнота формального состава, определяемая как полнота состава словосочетаний, конструирующих предложение, еще не обеспечивает полноты передачи содержания, и наоборот. Следовательно, мы должны рассматривать формально-грамматический состав предложения как выражение средствами языка реального содержания высказывания и соответственно под полнотой состава понимать полноту выражения им реального содержания. Но не совпадает ли в таком случае наш второй критерий — полноты состава — с первым: полнотой передачи реального содержания? Нет, если мы не будем рассматривать содержание в отрыве от формы, его выражающей. Предложение — не только единица высказывания, но и грамматически организованная единица речи, обладающая определенной структурой, обусловленной конкретной функциональной направленностью данного высказывания, тем, что оно собой представляет как коммуникативная единица: принадлежит ли она языку книжно-литературному или разговорному, письменным или устным, монологическим или диалогическим формам речи, является ли сообщением повествовательного характера или служит вопросом, ответом, выражает побуждение к действию, эмоциональную реакцию и т. п.

Вопрос о полноте или неполноте состава предложения не может решаться вне учета особенностей структуры каждого из видов высказывания. Это значит, что если то или иное реальное содержание высказывания не полностью нашло свое выражение в слове, в пределах данного предложения, но сама эта чисто словесная неполнота является структурной чертой данного вида предложения, то нельзя считать его неполным, поскольку никакие дополнения невозможны без изменения структуры предложения.

В связи с этим мы должны еще ответить на следующий вопрос: понимаем ли мы под «неполными» предложениями отступления от структур, принимаемых за типовые, «нарушения» их (как это всегда и принималось) или считаем «неполные» особой живой структурой предложения? И если понимать под «неполными» «отступления» от норм состава предложения, «нарушения» этих норм, то, опять-таки, что понимать под таковыми? Одни ли они и те же в разных видах языка, например, книжно-литературном, по преимуществу монологическом, и разговорно-бытовом, в основном, диалогическом? Очевидно, что нет. Не окажутся ли возможными параллельные полные конструкции, структурно различные и характеризующие каждая разные функциональные виды языка? Но в таком случае можно ли считать одни из них «неполными»?

Не напрашивается ли в таком случае вывод, что так называемые «неполные предложения» — это особые живые структурные типы высказывания разговорной, по преимуществу диалогической, формы речи, которые нельзя рассматривать как нарушение норм «полных» предложений речи книжно-литературной, монологической, и которые сами подлежат изучению со стороны их собственных, специфических для них свойств?

Что же является для них специфичным?

Прежде всего то, что, как известно, грамматический состав «неполных предложений» диалогической речи может не выражать полностью в пределах каждого отдельно взятого предложения всего содержания сообщения: оно распределяется между предложением-вопросом и предложением-ответом или вообще между следующими друг за другом репликами (см. § 14, стр. 95). Кроме того, при непосредственном устном речевом общении некоторые представления могут не получать словесного выражения, если они ясны из ситуации или выражаются сопутствующими дополнительными языковыми средствами — интонацией, жестом и т. п.

Следует ли из этого, что предложение, которое, будучи рассматриваемо изолированно, вне условий его употребления, не отражает в своем словесном составе всего содержания развернутого сообщения, изложенного в двух или нескольких репликах, должно считаться «неполным»?

Не выполняет ли оно своей коммуникативной функции в условиях его употребления? И можно ли его рассматривать вне этих условий?

Не является ли критерием полноты предложения, как реальной единицы речевого общения, прежде всего выполнение им коммуникативной функции, т. е. передача, в условиях его типического употребления, того именно содержания сообщения, выразить которое и является его прямым назначением?

Разве не выполняет ее, например, следующее ответное предложение:

«Н и л. Поля пришла?

Т е т е р е в. *Пришла*».

(Горький, «Мещане», д. II).

Если бы вместо «Пришла», последовал ответ «Да» или «Поля пришла», то предложения отличались бы друг от друга только своим грамматическим составом, но как предложения-ответы равно выполняли бы свою функцию. Определение же грамматического состава как «полного» или «неполного» не может даваться вне учета его соответствия коммуникативной функции предложения, т. е. его достаточности для выполнения этой функции, и сам грамматический состав не может рассматриваться как единый для предложений диалогической или монологической формы речи.

И разве громадное большинство предложений нашей речи, по существу почти все предложения, кроме прерванных, недосказанных, не окончательно сформулированных и т. п., не выражают — в условиях их употребления — необходимой полноты содержания? Как могло бы быть иначе? Ведь в таком случае речь не выполняла бы своих коммуникативных функций.

Можно ли, наконец, считать «неполными», т. е. «недостаточными», не являющимися вполне предложениями, те грамматические структуры (как, например, рассмотренные предложения диалогической речи), которые, в основном, служат средством общения людей в процессе их повседневной практической деятельности, а также входят как органический структурный элемент и в книжно-литературную речь (драматический диалог, научные, философские, политические сочинения в форме диалога и т. п.)?

Допустимо ли, кроме того, в отношении предложений устной разговорной речи ограничиваться рассмотрением только словесного их остова, игнорируя другие факты, такие, как интонация, жест и т. п.?

Вопрос о полноте или неполноте словесного состава предложения может ставиться также и в психо-физиологическом аспекте — в плане рассмотрения процесса речевой деятельности. Критерием полноты в таких случаях может служить полнота выраженности словом тех представлений, которые участвуют в формировании мысли — т. е. полнота замещения ощущений и представлений — первых сигналов действительности — словами — элементами второй сигнальной системы, речевой[1].

Если понимать под такой полнотой выражение словом каждого представления, принимающего участие в процессе речевой деятельности, то такому требованию не могут отвечать не только предложения разговорной диалогической речи, но и многие, по грамматическому составу полные, предложения речи книжно-литературной.

Более того, подобная выраженность почти каждого представления словом сделала бы речь невероятно громоздкой и трудно воспринимаемой.

Круг представлений, которые должны получить словесное выражение, чтобы оформить мысль, определяется в конечном итоге задачами, условиями и формой самого речевого общения.

Следовательно, рассматривая предложение и в психо-физиологическом аспекте, критерий полноты состава предложения можно определять, исходя из тех социальных, коммуникативных функций, которые выполняет данное предложение.

Проблема неполноты предложения, как «единицы речи... служащей для словесного выражения единицы мышления», тесно связана также с важнейшим вопросом языкознания — вопросом соотношения мышления и языка, получившим яркое освещение в работах И. В. Сталина по вопросам языкознания.

«Какие бы мысли ни возникли в голове человека и когда бы они ни возникли, они могут возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. Оголённых мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой «природной материи» — не существует. «Язык есть непосредственная действительность мысли» (Маркс). Реальность мысли проявляется в языке», — учит И. В. Сталин[2].

Следовательно, только в языке мысль находит свое проявление и тем самым свое бытие. В языке, в слове, в предложении мысль не только формулируется, но и формируется. В этом плане предложение есть форма проявления «реализации» мысли.

---

[1] См.: А. А. Шахматов. Указ. соч., § 2.

[2] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 39.

Но из такого понимания предложения вытекает, что, по существу, нет «неполных» предложений. Предложение, понимаемое как форма бытия мысли, форма ее проявления, всегда в условиях употребления полностью выражает эту мысль средствами языка, поскольку все, не нашедшее выражения в «языковом материале», не является мыслью. «Неполными» в таком случае можно считать только предложения, отражающие «неполную» же мысль, т. е. мысль еще не сложившуюся, не дифференцированную, не расчлененную или прерванную, не законченную и т. п. Рассматривать неполное предложение, как предложение, выражающее средствами языка только одну часть мысли, другая часть которой остается в сознании еще не выраженной этими языковыми средствами, — это значит предполагать существование не выраженных мыслей, мыслей «без языкового материала, без языковой оболочки, так сказать в оголенном виде», т. е. отрывать мышление от языка. Предполагать же, что в сознании остается словесно оформленная, только не высказанная вслух (или не зафиксированная на письме и т. п.) часть мысли, нет достаточных оснований. Каким путем можем мы обнаружить эту якобы словесно оформленную, но не высказанную часть мысли? Путем самонаблюдения? Плохой путь, путь недостоверный, субъективный, — путь, к которому академик И. П. Павлов всегда относился с недоверием и которому противопоставил свой объективный метод изучения высшей нервной деятельности, в том числе и речевой, объективно осуществляемой через вторую сигнальную систему — «носительницу словесного мышления»[1].

Как верно подметил еще Потебня, при самонаблюдении наблюдающий «переходит от одной мысли к мысли об этой мысли, то есть к другой мысли...» «Опыт показывает, — говорит Потебня, — что настоящее наше состояние не подлежит нашему наблюдению и что замеченное нами за собою принадлежит уже прошедшему. Деятельность моей мысли, становясь сама предметом моего наблюдения, изменяется известным образом, перестает быть собою»[2].

Кроме того, метод самонаблюдения не свидетельствует о наличии словесно оформленных представлений, образов слов, которые в процессе речи остаются якобы только не высказанными и «подразумеваемыми». Когда мы, наблюдая какое-либо явление или узнав о нем, говорим: «Какая мерзость!» или «Какая прелесть!», у нас нет ни образа слова «это», ни тем более о б р а з о в с л о в, обозначающих охарактеризованное нами явление. Когда, например, Лео, слушая по радио выступление Петэна, провозглашающего, что дальнейшее сопротивление бесполезно и что он обратился к противнику с просьбой о помиловании, кричит: «— Позор!.. Отвратительно!» (Эренбург, Буря, ч. II, гл. 9) — в его сознании вряд ли есть иные словесно сформулированные мысли.

Не сопутствуют словесные образы неназванных членов в предложениях-ответах: «А, Нил! откуда? — *Из депо*» (Горький, «Мещане»).

[1] Доклад проф. Иванова-Смоленского, «Правда», 1 июля 1950 г.

[2] А. П о т е б н я. Мысль и язык, Харьков, 1892, гл. IX, стр. 139.

Не сопровождают словесные образы и предложений, называемых Пешковским «стационарными неполными», типа: «Что с Вами?», «До свидания!», «Покойной ночи!», «Вперед!» и т. п.

Хотя Пешковский и считает, что «Покойной ночи!» есть предложение только постольку, поскольку родительный падеж существительного здесь сознается приглагольным, а при этом едва намеченном в сознании глаголе еще более бледно брезжит какой-то именительный падеж существительного (нечто вроде: «Я желаю покойной ночи»)»[1], однако на самом деле в подобных предложениях ничего не «брезжит», и они тем не менее являются предложениями, и притом полными по составу, потому что, выражая пожелание, приветствие, побуждение к действию, представляют собой единицы речевого общения.

Если даже и допустить, что при всех подобных предложениях что-то намечается и «брезжит» в сознании, то такие словесно не оформленные, не отчетливые, «брезжущие» представления нельзя считать элементами мысли; их невыраженность, не создавая неполноты выражения мысли, не обусловливает неполноту состава предложения.

* * *

Предварительное рассмотрение проблемы неполных предложений приводит нас к выводу о невозможности отыскать единый, четкий критерий деления предложений на полные и неполные. Смысловая полнота, полнота передачи содержания сообщения — понятие относительное, имеющее ряд степеней. Установление этой полноты выводит за рамки грамматики, введение ее, как единственного критерия, влечет за собой игнорирование или недооценку структурно-грамматических типов предложений. Полнота грамматического состава предложения — тоже понятие относительное, тесно связанное, с одной стороны, с вопросом о полноте передачи содержания, с другой — с проблемой структурно-грамматических типов предложений, состав которых определяется задачами, условиями и формой речевого общения.

Предложение, определяемое как «выражение суждения», или как относительно законченное высказывание, или как «единица речевого общения», или как «единица речи, соответствующая единице мышления» и т. д. — в зависимости от принятого определения и его толкования может характеризоваться как полное или неполное в том или ином отношении, в той или иной степени, соотносительно с тем или иным типом предложения.

Понятие полноты предложения требует прежде всего качественной и диалектической оценки, а не классификационного подхода. Далеко не о каждом предложении на вопрос о его «полноте» можно ответить односложным «да» или «нет», да и сам критерий такого деления, как мы видели, указан быть не может. Попытка непременно распределить все предложе-

[1] А. М. Пешковский. Наш язык, М., 1925, ч. II, стр. 184.

ния языка по указанным рубрикам «полных» и «неполных» приводит к сложной, условной и схоластической классификации, тогда как на самом деле существеннее определить, что́ представляют собой предложения, называемые «неполными», каковы их функции, в какой степени полно выявляют они мысль и служат средством общения, каковы условия их употребления и т. д.

Для ответа на эти вопросы необходимо строить изучение так называемых «неполных» предложений на основе анализа широких материалов основных функциональных видов языка и разных форм речи, чтобы хоть предварительно, в общих чертах, выделить живые типы высказывания, различные в разных видах языка, и охарактеризовать возможные «отступления» и их функции[1].

Может быть, тогда отпадет и надобность в этом «собирательном» понятии «неполное предложение», охватывающем сейчас самые разнообразные и разнофункциональные синтаксические структуры, или, по крайней мере, сильно ограничится и конкретизируется употребление этого термина?

Вопрос о функциональных видах языка приобретает сейчас, в свете трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания, особую принципиальную глубину и важность.

С одной стороны, мы имеем «единый для общества и общий для всех членов общества общенародный язык»[2]. С другой стороны, этот единый общенародный язык находит свое конкретное проявление в своих функциональных разновидностях, обусловленных социальными задачами высказывания, т. е. теми или иными нуждами речевого общения членов общества.

Основными функциональными видами общенационального литературного языка являются, как известно, с одной стороны, разговорный язык, в основном, устный, служащий целям непосредственного общения людей в процессе их совместной деятельности, и, с другой стороны, книжно-литературный язык, в основном, письменный, обслуживающий важнейшие государственные, общественные, научные, культурно-просветительные и т. п. нужды общества. Этот последний выступает в двух основных своих разновидностях: как язык научно-деловой и как язык художественной литературы. Под всеми этими обозначениями нельзя понимать какие-то самостоятельные, отдельные языковые системы, а лишь функциональные виды и разновидности единого общенародного национального языка, обусловленные задачами и условиями речевого общения[3].

---

[1] Материал этот должен оказаться небезинтересным и для психофизиологического аспекта изучения речевой деятельности. Задача лингвистов — построить в этом аспекте свой «встречный план».

[2] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 7.

[3] В настоящей работе мы будем употреблять принятые наименования, а именно «разговорный» язык, «книжно-литературный» и т. д., подразумевая под этим совокупность средств и приемов выражения. Термин «речь» употребляется нами в применении к живому звучащему языку — живой речи, к самим словам, оборотам, предложениям, к тому, «что говорится», например, при рассмотрении «речи рассказчика», «речей

Богатство функциональных разновидностей языка, обусловленное многообразием и сложностью сторон жизни развитого общества, подлежит тщательному изучению и с чисто грамматической, структурно-синтаксической стороны.

Отсюда очевидно, что при рассмотрении вопроса о составе предложения в русском языке необходимо учитывать сложность и многообразие функциональных разновидностей русского языка, богатство которого и непрерывное совершенствование обусловлено и славным историческим путем развития русского народа, и расцветом социалистической культуры, в строительстве которой принимает участие весь народ.

Объектом нашего исследования является не столько сама живая речь, сколько ее отражение в языке главным образом художественной литературы.

Язык художественной литературы представляет собой и в жанровом, и в синтаксическом отношении в высшей степени сложное образование. Будучи по своим социальным функциям языком книжно-литературным, он строится, в основном, из конструкций книжного типа, но отличных от подобных в языке научно-деловом. В то же время он зависит от жанра, стиля, реального содержания и т. д., включает структурные элементы живой речи, вводимой в виде прямой речи, собственной прямой речи, речи рассказчика, авторского сказа, авторских обращений к читателю и т. п.

Отсюда — обилие так называемых «неполных предложений» в языке художественной литературы, как результат намеренного перенесения интонаций и строя живой разговорной речи в книжно-литературный язык.

Для собственно поэтического языка характерны, кроме того, различные приемы нарочитого опущения слов (широко известного разговорному языку), придающего речи динамичность и выразительность.

Органическая связь языка художественной литературы с языком народным, на почве которого он вырастает, из источников которого питается, также обогащает его краткими и выразительными эллиптическими оборотами живого разговорного народного языка.

Промежуточное положение между языком научно-деловым и художественным занимает язык таких жанров, как научно-популярная литература, путешествия, мемуары, записки, письма и т. п., а также художественная публицистика — очерки, памфлеты и т. п., в языке которых в большей или меньшей степени представлены элементы разговорной речи.

действующих лиц» и т. п., а также в применении к более частным и конкретным подразделениям основных видов и разновидностей языка, рассматриваемым, кроме того, не в плане отражения в них всей системы языка, а с точки зрения их особенностей, в аспекте их определения, оценки как языкового объекта, например, «речь поэтическая», «стихотворная» и т. д. (но «язык поэзии», «язык художественной литературы» и т. д.— если имеется в виду не столько языковый объект, сколько некая, хотя бы и частная, подчиненная, с и с т е м а, с о в о к у п н о с т ь выразительных и т. п. языковых средств, базирующаяся на основе общенародного языка).

На синтаксическом строе тех или иных функциональных разновидностей языка сказываются и способ изложения — письменный или устный, и форма речи — монологическая или диалогическая. Научно-деловой литературный язык, пользующийся, в основном, письменным способом изложения и монологической формой речи, именно в этой присущей ему форме, выступает со всеми теми чертами, которые характеризуют его синтаксический строй: грамматической полнотой и законченностью предложений, четким оформлением логических отношений между ними с помощью союзов, союзных слов и словосочетаний, вводных слов и т. п.

Язык художественной литературы, также, в основном, письменный (если не говорить об устном художественном языке народной поэзии), наряду с монологической формой авторской речи широко использует и диалогическую для передачи речей персонажей, что, естественно, сказывается на его синтаксической структуре.

Для настоящей работы материалом исследования неполных предложений послужили произведения русской художественной литературы разных жанров от начала XIX в. и до наших дней, включая литературу советского периода, и сочинения научного, научно-популярного и публицистического характера. Материал, составивший около пяти тысяч примеров, собирался путем сплошной выборки так называемых «неполных» предложений, т. е. предложений, отражающих в своем грамматическом составе зависимость от контекста и ситуации. Иначе говоря, исследованию подвергался материал книжно-литературного языка в его письменных формах и разговорный язык в его отражении в речах персонажей, в авторской речи и т. п., т. е. не в реальном его звучании, а в зафиксированных на письме, перенесенных в ткань книжно-литературного языка формах, что, естественно, ограничивает и соответственно видоизменяет выводы.

Исследование материала показало, что в научно-деловом языке, в его письменных и требующих наибольшей точности жанрах — языке науки и делопроизводства — неполных (хотя бы только в традиционном смысле этого термина) предложений нет. В нем существует — и то только в некоторых его жанрах (о чем дальше) — лишь неполнота составных частей предложения, имеющих общие члены, а именно неполнота словосочетаний внутри простого предложения и простых предложений, входящих в состав сложного. Эта неполнота вызвана тем, что общие члены, находящиеся в составе того же предложения, могут не повторяться, но при этом предложение в целом остается в смысловом отношении совершенно полным.

В языке мемуарной, публицистической и т. п. литературы неполные предложения имеют место в той степени, в какой язык этих произведений пронизан структурными элементами разговорной речи, намеренно введенными с целью приблизить его к стилю беседы.

В языке художественной литературы, как это уже отмечалось, неполные предложения — и в традиционном, и в более широком, данном выше понимании этого термина — представлены очень широко, причем не только

в речах персонажей, но и в авторской речи. Поэтому исследование неполных предложений проводится нами, в основном, на материале языка художественной литературы и отчасти литературы публицистической.

Что же представляют собой эти неполные предложения книжно-литературного языка и разговорной речи (последней — в той мере, в какой она отражена в языке собственно литературном), т. е. в основном, те именно неполные предложения, которые и служили всегда материалом грамматических интерпретаций и школьных «разборов»? В какой степени они действительно не полны? Какие факторы создают их неполноту? Какие типы этих неполных предложений могут быть намечены и что должно быть положено в основу их рассмотрения и возможной классификации?

3. ВИДЫ НЕПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Перейдем к рассмотрению видов предложений, характеризующихся в большей или меньшей степени неполнотой состава предложения.

В основу рассмотрения неполноты предложений должны быть положены степень и характер этой неполноты, а не формально-грамматические признаки вроде отсутствия того или иного управляемого или определяемого слова.

Степень и характер смысловой неполноты изолированного предложения, находящие отражение в неполноте его структуры, определяются, в основном, следующими факторами:

а) функциональной направленностью речи, ее социальными задачами в целом, установкой в соответствии с этим на предельную точность и фактичность изложения или на его изобразительность, на эмоциональное воздействие и т. п., — определяющими соответственные функциональные виды языка;

б) конкретными структурно-функциональными формами высказывания: вопрос, ответ, побуждение к действию, выражение чувства, эмоционально-качественная оценка, констатация факта, сообщение описательного или повествовательного характера, логическое суждение обобщающего характера и т. п.;

в) условиями и формой протекания речи и способом ее изложения (в значительной степени обусловленными социальной направленностью речи); например, непосредственное общение в процессе совместной трудовой деятельности или беседы — в условиях определенной обстановки.

Речевая деятельность, сопровождающая и организующая трудовой процесс (или беседу), протекает в значительной степени автоматически, порой почти рефлекторно (предупреждающие возгласы и т. п.), с использованием минимального количества слов, необходимых для передачи самого основного и нового, не очевидного из процесса и обстановки; все очевидное, «замещенное» в сознании говорящих объединенным данным, конкретным, общим опытом, представлениями самих предметов и действий, — не называется. Форма сообщения при таких условиях общения

часто случайна. Но и здесь она, в основном, определяется реальным содержанием сообщения — чем оно сложнее, н о в е е, не очевиднее из ситуации, тем более словесно п о л н ы м и, обстоятельными предложениями оно выражается.

Средствами сообщения выступают, наряду со словом и в сочетании с ним, и н т о н а ц и я, м и м и к а, ж е с т — вплоть до непосредственного показа, воспроизведения того или иного действия над каким-либо объектом.

Единица сообщения — предложение — в условиях такого непосредственного общения людей представляет собою некое комбинированное образование, в которое слово входит как один, хотя и важнейший, компонент. В слове — элементе второй сигнальной системы — находит себе при этом выражение все то новое, что получается в результате сочетания представлений, что должно быть сообщено, что составляет важнейшее содержание высказывания, имеет активно-познавательное или практически-действенное значение, т. е. сама мысль. Субъект же высказывания или все то, что ясно из самой ситуации, что еще не составляет мысли, сообщения о ней, остается выраженным средствами первой сигнальной системы — в форме представлений.

Такой тип предложений представляет собой особую структуру разговорного языка и не может рассматриваться вне учета типичных условий употребления. При учете же этих условий и наличия средств первой сигнальной системы самая мысль (т. е. то, что получило организованное словесное оформление) оказывается выраженной достаточно полно, так что предложение, в условиях его употребления, выполняет свою основную, коммуникативную функцию — служить орудием общения и выражения мысли.

Совершенно иной вид речевой деятельности — монологическое изложение в форме устного или письменного обращения одного ко многим, причем не связанным непосредственным и конкретным общим опытом, — речь, сообщение, лекция, доклад, статья, авторская речь в художественном произведении, особенно при письменной фиксации содержания, рассчитанной и на далеких (и во времени, и в пространстве) читателей. Во всех этих случаях и форма, в которую облечено содержание, есть тщательно искомое, заранее конструируемое, и даже неполнота состава предложения не есть отражение не дифференцированной или неполно выраженной мысли, а представляет собой нечто преднамеренное и функционально направленное.

Учет перечисленных факторов должен лечь в основу исследования неполных предложений в той мере, в какой этими факторами определяется степень словесной полноты предложения, но эти факторы сами по себе не могут служить критерием классификации неполных предложений, и не только потому, что в основу классификации должен быть положен единый признак, но и потому, что каждый из перечисленных факторов представляет собой или некое явление языка, или элемент его системы,

нуждающийся в изучении с существенных для него самого сторон, и каждый фактор не безусловно, а лишь в известных отношениях намечает, обусловливает неполноту предложения.

Так, функциональная направленность речи, тот или иной ее вид, жанр обусловливают общий характер структуры предложений, но не предписывают его категорически. Несомненно, что в каждом конкретном случае могут действовать факторы, нейтрализующие влияние жанра речи; то же относится и к способу изложения речи, письменному или устному, и к форме ее, монологической или диалогической, и к условиям ее протекания, хотя эти два последние фактора имеют почти решающее значение для степени полноты и структуры предложения. Но и в диалогической речи, и при устном способе изложения возможны совершенно полные в отношении формально-грамматического состава предложения. Однако те специфические особенности структуры неполного предложения, которые возможны только при устном способе изложения, или в определенной обстановке речи, или в ее диалогической форме, должны быть непременно отмечены и должны войти в классификацию в качестве ее внутренних подразделений.

Что касается структурных форм речевого общения или, иначе говоря, функциональных видов предложения — вопрос, ответ, суждение и т. п., то они могли бы лечь в основу исследования и классификации видов неполноты предложения, если бы сами не представляли собой совершенно новой, не изученной и требующей громадного материала темы о видах предложений[1], и, наконец, — что решает дело, — они также не обусловливают категорически полноту или неполноту выражающего их предложения: даже суждение может быть выражено неполным предложением; структура функциональных видов предложения также в свою очередь зависит от перечисленных выше факторов — вида и жанра речи, условий и т. п.

Таким образом, перечисленные факторы образуют сложную систему — систему языка, в целом обусловливающую степень смысловой и структурной полноты высказывания, но ни один из них не может лечь в основу классификации неполных структур предложения, так как каждый из них не определяет структуры. И это понятно: все явления языка находятся во взаимодействии, образуя сложную систему, и, не представляя тождества, составляют единство, как, например, устная разговорная речь и письменный книжно-литературный язык, не будучи тождественны по своей синтаксической структуре, все же едины и входят в единую систему языка, не разделены пропастью, и структуры разговорной речи входят в язык книжно-литературный и в нем своеобразно преломляются и используются; то же относится к письменной и устной форме речи, форме монологической и диалогической и т. д.

Что касается указанных Пешковским факторов, непосредственно со-

[1] Многие из них перекрывают друг друга: «суждение» может быть «ответом», может сопровождаться «выражением чувства» и т. д.

здающих неполноту формального состава предложения, то они представляют собой разнородные явления, обусловленные в свою очередь фактором более общего порядка — функциональной направленностью речи — видами и жанрами языка. Так, интонационный способ выражения и роль обстановки речи воздействуют в области главным образом разговорной речи; наличие контекста (и ситуация) по-разному отражаются на структуре предложения в различных видах языка, например, книжно-деловом языке и языке художественной литературы. Кроме того, не все они равноценны и действительно создают неполноту предложения. Два из них — возможность выражения недостающего члена предложения интонацией и замещение его целым предложением (придаточным) — не создают неполноты предложения, так как интонация является чисто языковым средством, равноправным с другими, и в устной речи выступает органическим компонентом предложения; что же касается замещения члена предложения целым придаточным предложением, то этот способ выражения членов предложения типичен для структуры сложноподчиненного предложения и не создает его неполноты в целом. Еще один из факторов — «достаточность вещественных и формальных значений членов с а м о г о неполного предложения для возбуждения образа, соответствующего отсутствующему члену» — тем более не создает н е п о л н о т ы предложения, раз налицо сама указанная «достаточность».

Относительную неполноту предложения создают лишь два из указанных Пешковским фактора, а именно: 1) возможность заимствования слов из окружающей речи, т. е. наличие контекста, и 2) замена слов реальными представлениями из обстановки речи и предыдущего общего опыта говорящих. Последний фактор, как указывалось, характеризует, в основном, живую разговорную речь. В книжно-литературном языке он выступает отраженно — в форме описания обстановки речи автором или действующими лицами. Для книжно-литературного языка, языка художественных произведений, с которым мы фактически имеем дело, изучая неполные предложения, надо говорить не столько о реальной обстановке речи и опыте говорящих, сколько о с и т у а ц и и в целом, включающей и взаимоотношения действующих лиц, и собственно обстановку речи, ясные из авторского повествования и речей персонажей, т. е. в конечном счете из того же контекста, задача которого в то же время — обрисовать ситуацию. Таким образом, в книжно-литературном языке контекст и ситуация, как факторы, создающие неполноту предложения, наиболее тесно слиты. Однако в целях анализа структуры неполных предложений в ее обусловленности тем или иным фактором по преимуществу их целесообразно расчленять; это возможно, так как язык художественных произведений довольно точно отражает в речах персонажей синтаксические конструкции разговорного языка, в том числе и неполные предложения, обусловленные в своей структуре как предшествующей речью, так и обстановкой речи и ситуацией в целом. Назовем эти последние предложения с и т у а т и в н ы м и.

Таким образом, неполноту состава предложения непосредственно обусловливают два фактора: контекст и обстановка речи (ситуация), предоставляющие возможность не называть и без того ясного представления. Необходимо отметить, что оба эти фактора только обусловливают, но не «создают» (как говорит Пешковский) неполноту состава предложения: создает же ее вся система воздействующих факторов, вся система языка и в первую очередь функциональная направленность речи.

При этом оба указанных фактора — факторы «замещающие», т. е. обусловливающие возможность не называть того или иного члена предложения именно потому, что он замещен, восполнен соответствующим представлением из контекста или из ситуации в целом. Тем самым обеспечивается смысловая полнота данного высказывания, и речь может идти только о неполноте его формального словесного состава.

Наличие неполноты формального состава предложения, казалось бы, есть достаточное основание для того, чтобы говорить о неполноте предложения как такового, поскольку предложение — не только смысловая единица речи, единица высказывания, но и определенным образом грамматически организованная, грамматически законченная единица речи.

Однако определение состава предложения с неназванным (в силу того, что он ясен из условий реального бытия данного высказывания) членом предложения как неполного в формально-грамматическом отношении базируется опять-таки на более или менее подсознательной подстановке все того же традиционного единого канона предложения, навязанного еще античной грамматикой: субъект, предикат и возможная связка.

Указанный канонический тип предложения сам по себе не вызывает возражений; это важнейший тип предложения, обладающий возможностями почти универсального выражения основных сообщений и главнейший для выражения суждения. Кроме данного типа предложения, допускаются в качестве типов предложения и еще несколько синтаксических конструкций с общим главным членом, якобы совмещающим в себе одновременно значение субъекта и предиката. Однако указанные типы — все-таки не единственно возможные.

Реально существуют формально полные синтаксические структуры предложений, содержащие оценку явления, процесса, лица или объекта действительности, не называемых в предложении, например, приведенные выше предложения типа: «Позор!», «Какая прелесть!», «Великолепно!» и т. п.

Для разговорной речи является нормой не называть лицо, предмет, действие, ясные из самой обстановки речи и ситуации в целом.

Если бы в разговорном языке при непосредственном устном общении каждое предложение было грамматически оформлено с максимальной полнотой, не оставляя словесно не выраженным ни одно представление, присутствующее в сознании, — речь перестала бы выполнять свои социальные

коммуникативные функции; она не смогла бы быть орудием общения, так как была бы столь громоздкой, что за обилием пустых, не несущих необходимой нагрузки, словесно-грамматических форм терялся бы смысл тех немногих слов, которые действительно нужны для понимания мысли.

Следовательно, и структурно-грамматические нормы состава предложения в устной разговорной речи несколько иные, чем в книжной, не тождественны им, как не тождественны нормы орфоэпические и орфографические, лексика и фразеология, синтаксические обороты и конструкции устной разговорной речи и языка книжного. Правила сочетания слов в предложении не вполне тождественны для монологической и диалогической формы речи, для речи в условиях непосредственного устного общения и для речи книжной.

Предложения, построенные по нормам разговорной речи, будучи перенесены в книжно-литературный язык (например, при передаче прямой речи) в одной их словесной оболочке, лишенные иных речевых средств выражения мысли, присущих языку разговорному, тем самым не всегда достаточны для передачи ее содержания и могут быть рассматриваемы как неполные по сравнению с книжными конструкциями.

Следовательно, формально-грамматический состав предложений разговорной речи может быть характеризуем как «неполный» по отношению к составу предложений книжно-литературного языка, может быть определен как «относительно неполный».

После этих предварительных замечаний перейдем к анализу неполных предложений, беря за основу степень и характер их неполноты.

4. «СОБСТВЕННО НЕПОЛНЫЕ» ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИЛИ «НЕРАЗВЕРНУТЫЕ» ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Прежде всего выделим группу собственно неполных предложений — таких, которыми выражается недостаточно дифференцированная мысль, не расчлененная на отчетливые и определенным образом сочетавшиеся словесные представления, иначе говоря, — таких, в которых сама мысль еще недостаточно сформировалась, еще не превратилась полностью в явление языка — в предложение. Следовательно, это в настоящем смысле слова неполные предложения — языковые образования, еще не ставшие полностью предложениями. В отношении их трудно говорить о членах предложения, поскольку таковых еще по существу нет. И наличный формально-грамматический состав этих предложений не дает нам поэтому достаточных оснований судить не только о синтаксических функциях отсутствующих членов, но и тех, которые имеются. Этот состав сам недостаточно ясен: трудно, например, иногда даже определить падеж имени. Попытки непременно поместить подобные предложения в какую-нибудь из рубрик грамматической классификации предложений, отнести их к «односоставным» или «двусоставным», «недостаточным», «нарушенным», «дефектным», как это делает Шахматов, —

приводят к искусственному восстанавливанию членов, которых не было не только в предложении, но, повидимому, и в мысли. Эти предложения с еще недостаточно расчлененным составом являются скорее названием основного представления или комплекса их, выполняющего функции предложения. Их можно назвать неразвернутыми. Область их употребления — исключительно устная разговорная речь по преимуществу, разговорно-бытовая.

В книжно-литературном языке они выступают, в основном, отраженно — при воспроизведении прямой речи персонажей, являясь звеном в цепи вопросо-ответных предложений или представляя собой самостоятельное высказывание, реплику, не оформившуюся в расчлененное предложение. Например:

«Когда, лет двадцать назад, приехал сюда на службу из России Алпатов и узнал, что у командира полка одиннадцать человек детей, он говорил молоденькой жене Руфине Петровне:

— Руфа, представь, Руфа (испуганно),— *одиннадцать!*»

(Сергеев-Ценский, «Медвежонок»).

«Вытерев слезы концом платка, женщина обвела долгим вопросительным взглядом всех слушавших ее и сказала задумчиво и убежденно:

— *Денег-то сколько, трудов сколько!*

— *Чего трудов?*— спросил кто-то, сразу не поняв смысла ее слов.

— Обратно построить все,— просто сказала женщина».

(Симонов, «Дни и ночи», гл. I).

«Бессеменов. Ты, нехристь! Куда пришел?

Нил. А? Куда?

Бессеменов. *В шапке! Шапку...*»

(Горький, «Мещане», д. II).

«Домна Пантелевна. Нет моей Саше счастья! Содержит себя очень аккуратно, ну и нет того расположения промежду публики, ни подарков каких особенных. Ничего такого, как прочим, *которые... ежели... Вот хоть бы князь. Ну что ему стоит*».

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

Домна Пантелевна даже и для себя избегает точно формулировать свою мысль, что и передано автором формой предложений.

В очень выразительном диалоге Кругловой с ее кухаркой Маланьей, о которой Круглова говорит, что та «как начнет толковать, так точно у ней в голове-то жернова поворачиваются», почти все реплики Маланьи — неполные, недооформленные предложения:

«Маланья (*говорит медленно*). Шла я тут-то по вулице...

Круглова. Так что ж?

Маланья. *Так он ... Как его?*

Круглова. *Кто* он-то?

Маланья. *Как, бишь, его?... В суседях-то.*

Круглова. Что же?

Маланья. *Да нешто их тут, всех* ... Много их. *Такой черноватый...*

Круглова. Ахов, что ли?

Маланья. *Надо, что он. Ахов его... что ли. Большой такой...*»

(Островский, «Не все коту масленица», д. I, явл. 2).

Неразвернутые предложения выступают в книжно-литературном языке как поэтический прием — прием изображения стремительно развивающегося действия или быстрой смены образов, картин, представлений, не успевающих расчлениться и облечься в формы членов предложения. Например:

«Локти резали ветер, за полем — лог,
Человек добежал, почернел, лег,

Лег у огня, прохрипел «Коня!»
И стало холодно у огня.

А конь ударил, закусил мундштук.
Четыре копыта и пара рук.

Оверо — в оверо, в карьер — луга.
Небо согнулось, как дуга».
(Тихонов, «Баллада о синем пакете»).

Среди неразвернутых предложений выделяется особая группа односоставных именных конструкций, главный член которых — имя существительное в именительном падеже, называющее причину явления, о которой спрашивается или вообще идет речь в предшествующих предложениях. Это имя существительное не является ни подлежащим, ни сказуемым, ни другим членом предложения, хотя методом школьных подстановок, замен и «подразумеваний» можно его приравнивать к подлежащему, например:

«Карп. Что это, сударь, как вы постарели?
Несчастливцев. *Жизнь*, братец».
(Островский, «Лес», д. III),

или к сказуемому:

«Ну что ж, Онегин? Ты зеваешь».—
«*Привычка*, Ленский».
(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. III).

Однако на самом деле все подобные подстановки (как и вообще «метод подстановок») произвольны и неправомерны, тем более, что мы имеем дело не с неполным предложением, в котором не повторяется ранее названный и поэтому легко восстанавливаемый член его, а с особой структурой.

Привожу примеры:

«Аркадина. ...Вот уеду, так и не буду знать, отчего стрелялся Константин. Мне кажется, главной причиной была ревность...

Сорин. Как тебе сказать? Были и другие причины. Понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши, без денег, без положения, без будущего... ему кажется, что он лишний в доме, что он тут нахлебник, приживал. Понятная вещь, *самолюбие...*»
(Чехов, «Чайка», д. III).

«Тригорин. ...Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызывать. А чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы... Но ведь всем хватит места, и новым и старым,— зачем толкаться?

Маша. Ну, и *ревность*. Впрочем, это не мое дело».
(Чехов, «Чайка», д. III).

«Елецкий. Да отчего же вы не владеете вашим именьем?
Кузовкин. *А тяжба-с*».

(Тургенев, «Нахлебник», д. I).

«Великатов. ...Поверите ли, вот уж другую неделю все два раза в день пьян... Так думаю, Домна Пантелевна: либо это на меня напущено, либо уж богу так угодно.
Домна Пантелевна. *Одиночество*.
Великатов. *Одиночество*, Домна Пантелевна; золотые ваши слова; и разговору больше нет, что *одиночество*».

(Островский, «Таланты и поклонники», д. III).

«Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграли ей сника, и бабушка отыгралась совершенно.
«Случай! — сказал один из гостей.
— Сказка! — заметил Германн.
— Может статься, *порошковые карты?* — подхватил третий».

(Пушкин, «Пиковая дама»).

«— Кускова,
нервы,—
полечись ты...»—

(Маяковский, «Хорошо!», 4).

Хотя приведенные примеры и выражают не вполне дифференцированную, не вполне расчлененную мысль, однако к ним неприменимо наименование неполных, поскольку структурно они полны и никаких дополнений, без нарушения их структурно-грамматического типа, их «формы», — не допускают. Но их вполне закономерно именовать неразвернутыми. Само же наличие в разговорном языке большого количества подобных однотипных предложений, содержащих объяснение причины явления, ставит вопрос о наличии определенного способа выражения причины — обычно в «ответном» предложении, — а именно существительным в именительном падеже, называющем эту причину, на основании чего можно говорить о наличии соответственного живого разговорного типа предложения — «односоставного именного предложения причины» (которое можно назвать «неразвернутым именным каузативным», чтобы не смешивать с придаточным причины).

Близки к рассмотренным неразвернутые предложения причины, главный член которых близок к сказуемому:

«Когда Стрижев узнал, что Борис убит, он ничего не сказал, насупился, ушел в землянку.
А Лиза, не стыдясь, плакала, ей можно — *девушка*».

(Эренбург, «Буря», ч. IV, гл. 14).

«Это было в Сталинграде в августе или в сентябре. Их было шесть человек в доме. Немцы лезли... Пять дней держались, подконец осталось только двое... Майор Шилейко потом спросил: «Как, выдержали?» Ваня ответил: «А как же? *Коммунисты*».

(Эренбург, «Буря», ч. VI, гл. II).

«— Есть смысл-то Севастополь держать?
— А как же? *Севастополь же*».

(Первенцев, «Честь смолоду», ч. 5, гл. 5).

5. ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. «СИТУАТИВНЫЕ» ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Следующую и в то же время основную группу составляют предложения, которые именно и имеют в виду, когда говорят о неполных предложениях. Это предложения, в составе которых отсутствует какой-либо член, ожидаемый при данном содержании сообщения и данной структуре предложения.

Структурно-синтаксические нормы предложений устанавливаются на основе норм письменной, книжно-литературной речи, почему сопоставляемый с ними состав предложений, построенных по нормам разговорной речи, мы и назвали относительно неполным.

Предложения эти являются выражением сформировавшейся, расчлененной мысли, тем самым полными как предложения. В соответствующем контексте или обстановке речи они обладают полнотой смысла, почему мы не сохраняем за ними традиционное название «неполных» и будем называть их «предложениями неполного словесного или формально-грамматического состава, «неполносоставными» или, лучше, «относительно неполными», поскольку состав их не полон по сравнению с возможной параллельной полной конструкцией.

В зависимости от преимущественной роли ситуации или контекста как факторов, непосредственно обусловливающих неполноту словесного состава предложения, можно различать ситуативные и контекстуальные относительно неполные предложения, хотя, как уже отмечалось выше, в книжно-литературном языке ситуация и контекст, как факторы относительной неполноты, наиболее тесно слиты.

Итак, предложения, степень неполноты состава которых по преимуществу обусловливается обстановкой речи и ситуацией в целом, назовем ситуативными относительно неполными предложениями.

Характеристическая черта ситуативных неполных предложений — невыраженность, неопределенность неназванных, но по смыслу и структуре предложения ожидаемых, возможных его членов, причем невыраженность не только в речи, но, в какой-то степени, и в мысли.

Иначе говоря, сами представления, соответствующие неназванным членам, могут не получить словесного оформления, словесного образа даже в мысли, сохраняясь в ней на стадии представлений о реальных предметах или действиях[1].

Поэтому подстановка того или иного слова на место неназванного члена предложения часто гадательна и в таких случаях не нужна, поскольку произвольно видоизменяет смысл и структуру неполного предложения, как раз и характеризующегося невыраженностью неназванных членов.

[1] А. М. Пешковский, выдвигая обстановку речи как фактор, создающий неполноту предложения, неточно говорит о «замене» слов реальными представлениями, что может быть понято как замещение образов слов этими реальными представлениями, тогда как на самом деле реальные представления еще не нашли выражения в слове, еще сами не «замещены» словом.

Вспомним уже приведенный выше пример такой подстановки «опущенного» члена Шахматовым — «Марья, скоро ль самовар-то?» (подашь)[1], при которой «самовар» надо считать прямым дополнением, а не предложение односоставным определенно-личным. Если же предположить «опущенным» — «закипит», «готов будет» и т. п., что даже вероятнее, так как спрашивают о состоянии самовара, то все предложение окажется двусоставным с подлежащим «самовар». Но и та, и другая подстановка произвольна, так как о самоваре спрашивали только, с к о р о л и он (а будет ли подан, готов, или его подадут и т. д. — словесных представлений об этих действиях могло и не возникать).

Однако лишь для некоторых групп разновидностей ситуативных предложений характерна эта не только лексическая, но и синтаксическая неопределенность неназванных членов, приближающих их к н е р а з в е р н у т ы м предложениям, например, для предложений, состоящих из существительного в такой форме, которая не дает возможности судить о падеже имени, и некоторых других. В основном же, как правило, остается недостаточно выраженной л е к с и ч е с к а я сторона неназванного члена, синтаксическая же его функция ясна из значений окружающих слов и обстановки речи.

Существенной чертой ситуативных предложений является также то, что неназванными и тем создающими относительную неполноту предложения являются всегда представления о предметах или действиях — состояниях, но не о качествах — свойствах или признаках, поскольку последние мыслимы лишь в сочетании с предметами и действиями, без которых они не могут быть ясны из обстановки речи.

Таким образом, ситуативные неполные предложения могут быть по своему составу предложениями с «опущенными», т. е. неназванными подлежащими, дополнениями (как более редкий случай — предметными обстоятельствами) и сказуемыми.

Как уже говорилось, ситуативные предложения характеризуют живую, устную разговорную речь. При передаче устной разговорной речи в языке художественной литературы обстановка речи дается описательно, в авторской речи и речи рассказчика, в драматических произведениях — в авторских ремарках. Таким образом, передача ситуативных неполных предложений несколько громоздка, почему они и относительно мало представлены в языке художественной литературы, особенно же в драматических ее жанрах.

Приведем примеры.

а) Предложения с неназванными подлежащими, ясными из обстановки речи:

«— *Однако, ватихать стала*,— сказал Ферапонтов, выпив три чашки чаю и поднимаясь:— должно, наша взяла».

(Л. Толстой, «Война и мир», т. III, ч. II, гл. 4).

[1] А. А. Ш а х м а т о в. Синтаксис русского языка, § 120.

Речь идет об артиллерийской стрельбе, к которой прислушивается Ферапонтов; о «пушечной пальбе» автором сообщено за 4 страницы и еще раз бегло упомянуто словами помещика «Вот она, слышишь?»— за 3 страницы до приведенного места текста, так что эта «пальба» является своего рода фоном, на котором развертываются события.

«В хозяйской горнице слышался детский плач, надрывающиеся рыдания женщины и гневный, хриплый крик Ферапонтова. Кухарка, как испуганная курица, встрепыхалась в сенях, как только вошел Алпатыч.

«До смерти убил — хозяйку бил! Так бил, так волочил!..

— За что? — спросил Алпатыч.

— Ехать просилась...»

(Л. Толстой, «Война и мир», т. III, ч. II, гл. 4).

Кто бил хозяйку, ясно и из ситуации: бить ее мог только ее муж, хозяин, и ясно из обстановки речи, описанной автором: «в хозяйской горнице слышался... гневный, хриплый крик Ферапонтова».

«Самолеты гудели уже где-то над самой головой, и, хотя их не было видно, точно черная тень от их крыльев прошла по лицам девушек.

«Должно быть, на Каменск полетели, переправу бомбить».

(Фадеев, «Молодая гвардия», I, 1).

«Н е г и н а (*у окна*). *Как покатили».*

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I, явл. 11).

(Об отъехавших Смельской и Великатове, которые только что попрощались и вышли).

б) Предложения с неназванными дополнениями (в составе предложения налицо глагол или другие управляющие слова, управляемое слово ясно из обстановки речи):

«Старый князь вспомнил о письме князя Андрея.

—Получил от князя Андрея нынче,— сказал он княжне Марье,— *не читала?»*

(Л. Толстой, «Война и мир», т. III, ч. II, гл. 2).

«Все девушки, подняв головы, прислушивались к прерывистому, то тонкому, осиному, то низкому, урчащему рокоту, стараясь разглядеть самолет в раскаленном добела воздухе.

Не один, а целых три!

И в это мгновение тяжелый страшный удар, потрясший землю и воздух, оглушил их. Лица у девушек побледнели, они несколько секунд молча глядели друг на друга.

«Неужто сбросил где-нибудь? — спросила Майя».

(Фадеев, «Молодая гвардия», т. I).

«Ввалился Конюков, волоча за собой пленного, рыжего немолодого немца, примерно его лет и комплекции.

«Словил, товарищ капитан,— лаконично сказал Конюков,— *словил. Вот словил и вам представляю».*

(Симонов, «Дни и ночи», гл. IV).

в) Предложения с неназванным сказуемым (почти исключительно вопросительные со словами «куда», «откуда» и т. п.):

«А н н а А н д р е е в н а. Антон, *куда, куда?»*

(Гоголь, «Ревизор»).

«Ф а м у с о в. *Он все свое.* Да расскажи подробно,
Где был? Скитался сколько лет!
Откудова теперь?»

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I, явл. 9).

6. «КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ» ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В книжно-литературном языке гораздо бóльшую роль, чем обстановка речи и ситуация, играет другой, также указанный Пешковским фактор, обусловливающий относительную неполноту предложения, — это окружающая речь, контекст.

Роль контекста как фактора, обусловливающего возможную относительную неполноту отдельного, извлеченного из этого контекста предложения, тесно связана с общей проблемой взаимоотношений предложения и контекста. Эта проблема стала привлекать к себе внимание синтаксистов. За последние 2—3 года появился ряд статей, посвященных анализу логико-синтаксических отношений между предложениями контекста[1], и предложена теория сложного синтаксического целого как единицы высказывания.

Согласно этой теории, «действительной синтаксической единицей связной речи является не предложение, простое или сложное, а сложное синтаксическое целое, сохраняющее синтаксическую самостоятельность и законченность и при извлечении из контекста связной речи»[2].

Поэтому «при изучении синтаксического строя связной речи следует исходить не непосредственно из предложения, которое не обладает в связной речи достаточной самостоятельностью, а из сложного синтаксического целого, как синтаксической единицы, более независимой от окружающего ее контекста связной речи... В связной монологической речи сложное синтаксическое целое обычно представляет собою группу предложений, синтаксически объединенную различными средствами и способами»[3]. Такое «синтаксико-семантическое целое» характеризуется рядом грамматических черт, в том числе — наличием неполных предложений, обусловленных контекстом.

Не вдаваясь в детальную критику теории сложного синтаксического целого, скажем только, что хотя «при изучении синтаксического строя связной речи», безусловно, следует исходить не непосредственно из предложения и даже не из «сложного синтаксического целого», а из произведения в целом, с его замыслом и композицией, однако из этого не следует, что «действительной синтаксической единицей связной речи является не предложение», а группа предложений, составляющая так называемое «сложное синтаксическое целое», понимаемое и определяемое в отношении его синтаксической структуры весьма субъективно, не имеющее четких границ и только в отдельных случаях заслуживающее название «целого».

Несомненно, что предложение выражает полноту мысли в контексте,

---

[1] И. А. Фигуровский. От синтаксиса отдельного предложения — к синтаксису целого текста, «Русск. яз. в школе», 1948, № 3; В. В. Суренский. Логико-синтаксические отношения между смешанными предложениями связного текста, «Русск. яз. в школе», 1949, № 2.

[2] Н. С. Поспелов. Сложное синтаксическое целое и особенности его структуры, «Доклады и сообщ. Ин-та русск. яз. АН СССР», вып. 2, М., 1948, стр. 68.

[3] Н. С. Поспелов. Проблема сложного синтаксического целого в современном русском языке, «Уч. зап. Моск. ун-та», вып. 137, М., 1948, стр. 41.

несомненно, что оно и структурно связано с контекстом и обусловлено им; однако все-таки именно предложение представляет собой наиболее грамматически законченную, и в смысловом, и в структурном отношении заключенную в наиболее четкие, объективно определяемые границы синтаксическую единицу — единицу сообщения. И вся история книжно-письменного литературного языка есть история постепенного формирования грамматически полных и законченных, четко отграниченных друг от друга синтаксических единиц — предложений, есть история вычленения их из потока живой речи, первоначально не расчлененного не только на слова, но и на отчетливо отграниченные друг от друга предложения[1].

Таким образом, считая синтаксической единицей предложение простое или сложное, будем на этой основе строить определение полноты или неполноты состава предложения связной речи, предложения в контексте. Неполным по составу будем считать такое предложение, в котором не все содержание составляющего его сообщения нашло словесное выражение в пределах самого данного предложения, — вследствие того, что соответствующие представления уже названы в контексте, т. е. уже словесно выражены. Короче говоря, относительно неполным или словесно неполным будем называть такое предложение, в котором не все его члены, ожидаемые при данном его содержании и структуре, нашли себе словесное выражение.

Стоя на этой основе, т. е. полагая синтаксической единицей предложение простое или сложное, не будем считать неполными такие сложные предложения, в состав которых входят предложения с «опущенными» членами, т. е. неназванными, неповторенными в силу того, что они названы в других предложениях, входящих в состав данного сложного предложения. В таком случае в пределах сложного предложения все необходимые члены находят себе словесное выражение; закономерности же «опускания», точнее «неповторения» известных членов — вопрос структуры сложного предложения (см. об этом § 17, стр. 124—125).

Предложения, неполнота состава которых обусловливается, в основном, наличием контекста, могут быть названы контекстуальными относительно неполными предложениями.

Контекстуальные неполные предложения типичны для связной монологической речи как разговорной устной, так и книжно-письменной, поскольку последняя отражает разговорный язык в форме авторской речи, несобственной прямой речи, речи рассказчика и т. п.

Контекстуальные неполные предложения наряду с ситуативными имеют место и в диалогической речи, но для монологической книжно-письменной речи они являются единственно возможным видом относительно неполных предложений. При анализе контекстуальных предложений мы будем рассматривать раздельно употребление их в авторской речи и

[1] Поэтому в высшей степени интересным представляется исследование истории постепенного исчезновения неполных по составу предложений из различных жанров складывающегося книжно-литературного языка.

в речах персонажей, причем вначале ограничимся рассмотрением их в связной речи, т. е., в основном, в монологической, включая и те краткие монологи, которые, имея место в беседе действующих лиц, представляют собою связное изложение, а не краткий неразвернутый ответ, обусловленный в своей структуре вопросом. Структуру этих последних, т. е. вопросо-ответных предложений диалогической речи, рассмотрим далее особо.

Употребление относительно неполных предложений в авторской речи, т. е. в собственно художественном языке, не только обусловлено наличием контекста, но и представляет собою определенный художественный прием, и поэтому сложнее и разнообразнее, чем в разговорном языке персонажей. Поэтому целесообразнее начинать рассмотрение каждого вида неполных предложений сначала в авторской речи, а затем присоединять аналогичные примеры из разговорной речи героев произведения.

Сложнее вопрос о речи рассказчика, которая, в зависимости от степени ее стилизации, может в большей или меньшей мере приближаться к речи персонажей. Чем ближе речь рассказчика к сказу, чем разговорнее она по структуре, тем больше основания и рассматривать ее как разговорную. Наконец, разговорной может становиться и авторская речь, не передающая речи рассказчика.

По своему грамматическому составу контекстуальные предложения представляют собой, в основном, или предложения с неназванным подлежащим, или предложения с неназванным дополнением.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЕНАЗВАННЫМ ПОДЛЕЖАЩИМ

Основную массу контекстуальных относительно неполных предложений составляют, как это показывает анализ материала, предложения с неназванными подлежащими. Подлежащее может не называться в последующих предложениях, если оно, будучи названо в предыдущем, продолжает служить предметом речи и подлежащим последующих предложений. При этом, поскольку научно-деловой язык не дает нам примеров подобного «опускания» подлежащих, хотя бы и совершенно ясных из предыдущих предложений, нам предстоит выяснить причины, а может быть, и задачи такого «опускания» подлежащих в языке разговорном (в том разговорном языке, который отражен в литературно-книжном языке) и в собственно художественном книжно-литературном языке, т. е. в монологической авторской речи, в авторском повествовании.

Для разговорного языка наиболее характерна тенденция опускать все, что не является абсолютно необходимым для передачи смысла сообщения и служит, как это определял еще Перевлесский, «только для грамматической полноты речи, а не для ее понимания».

Сложнее вопрос об «опускании» подлежащего в авторской речи. Здесь возможны следующие случаи:

а) Второе предложение, служа непосредственным продолжением первого, представляет собою высказывание о том же подлежащем, т. е. о под-

лежащем первого предложения, и притом высказывание, о д н о р о д н о е первому высказыванию, не находящееся с ним в отношениях пояснительных, причинно-следственных и т. п. Иначе говоря, сказуемые первого и второго предложений однородны и могли бы быть соединены сочинительными союзами или соединительными паузами. Только наличие точки и, следовательно, паузы разделяет эти сказуемые, разделяет группы сказуемых на два предложения. Второе предложение может начинаться после паузы сочинительным союзом или наречием «затем», «потом» и т. п. Казалось бы, такую пунктуацию можно счесть авторским произволом, однако на самом деле она вытекает из задач выражения смысловых оттенков: сказуемые, стоящие после точки, тем самым выделяются в самостоятельное дополнительное высказывание, в отдельную единицу высказывания — в присоединенное предложение. Например:

«Он (Мечик.— *И. П.*) почувствовал тихую благодарность к людям, которые несли его так плавно и бережно. *Хотел заговорить с ними, шевельнул губами и, ничего не сказав, снова впал в забытье. Когда проснулся вторично, был уже день*».

(Фадеев, «Разгром», гл. II).

«Командиры рот ничего не отвечают. *Стоят и смотрят в землю*».

(В. Некрасов, «В окопах Сталинграда», гл. I).

«Листопад на том же листке написал ответ: «Жену отвозил в родильный». *И видел*, как записка пошла по рукам и как все читавшие сочувственно улыбались».

(Панова, «Кружилиха», гл. I).

Почему же не повторено подлежащее или не заменено местоимением 3-го лица — что было бы очень уместно — в этих отделенных паузой точки относительно неполных предложениях? Не только потому, что оно совершенно ясно из предшествующего предложения, тем более, что по законам книжно-письменного языка, ради характеризующей его полноты и законченности предложений, подлежащее должно было бы находиться в этих двусоставных по типу предложениях, причем, чтобы не повторялось только что названное слово, подлежащее могло бы быть выражено местоимением 3-го лица.

Подлежащее не повторяется и не заменяется местоимением для того же, ради чего делается и пауза, — для того, чтобы выделить следующие за паузой группы сказуемых и, выделив сказуемые, сконцентрировать внимание только на них, поставить на них смысловые ударения. И в то же время подлежащее не повторяется еще и для того, чтобы, несмотря на выделяющую последующее высказывание паузу, не совсем отделять его от предшествующего, создать впечатление продолжения сообщения после паузы путем добавления новых высказываний о том же предмете речи, что выражается в п р и с о е д и н е н и и новых сказуемых к тому же подлежащему и чем достигается впечатление развивающегося процесса действия.

Сказуемое присоединяемого предложения может, будучи грамматически однородным со сказуемым первого, н е б ы т ь с н и м о д н о р о д н ы м п о с о д е р ж а н и ю, т. е. может в ином отношении

определять подлежащее, чем сказуемое первого предложения. Сказуемые как бы качественно различны, сферы их значений лежат как бы в разных логических плоскостях.

Такие сказуемые поэтому могут быть только присоединены к предшествующим, но не соединены с ними. Например:

«Рыбачев — мелкопоместный помещик, владелец небольшого хутора, безвыездно проживший здесь всю свою жизнь, занимаясь хозяйством и лично работая в поле. *Молодой, красивый, здоровый,— прямо, как говорится, от черновема, от вагара. Словом, дитя природы... Непосредственный, доверчивый, немного мешковатый. Носит косоворотку, высокие сапоги и поддевку*».

(Юрьев, «Записки», ч. I, стр. 84).

«Алпатов был крупный, бородатый, лет пятидесяти трех, с красной толстой шеей и кровавыми щеками; говорил со всеми так, точно всеми командовал: сердитым тяжелым басом, отрывисто тыкал; пучил глаза. *Медвежонка не сразу заметил*».

(Сергеев-Ценский, «Медвежонок»).

«Вхожу,
с бревном в обнимку.
Запотел,
вымок,
Важно
и чинно
Строгаю перочинным».

(Маяковский, «Хорошо!», 13).

Сказуемое присоединяемого неполносоставного предложения может обозначать новый этап, новый поворот в развитии действия, может находиться как бы в другой временной плоскости по сравнению со сказуемым первого.

Яркие примеры таких временных сдвигов в развертывающемся действии, выраженных присоединенными предложениями, мы найдем, например, в «Евгении Онегине»[1]:

«...В свои мечты погружена
Татьяна долго шла одна.
Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом»...

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. VII).

«И в молчаливом кабинете,
Забыв на время всё на свете,
Осталась наконец одна[2],

[1] Правда, приходится учитывать при этом, что пунктуация не полностью принадлежит Пушкину, и трудно выяснить долю его участия в расстановке знаков препинания, так как беловых рукописей сохранилось немного, а в черновых рукописях почти нет знаков препинания.

[2] И в черновой, и в беловой рукописи после «одна» такой же знак препинания, как после «она», а именно тире. И думается, что после «одна» это тире тоже следовало бы передать точкой, как оно передано после «она». Тогда предшествующее предложение оказалось бы неполносоставным, а «И долго плакала она» — присоединенным, подытоживающим картину посещения Татьяной дома Онегина. Здесь сохраняется пунктуация Полного собр. соч. А. С. Пушкина, изд. АН СССР, 1949.

И долго плакала она.
Потом за книги принялася».
(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. VII).

Неполносоставное предложение может переходить за границы строфы, может начинать собою новую строфу:

«Она бежит, он всё вослед:
И сил уже бежать ей нет.
Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет»...
(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. V).

«Вот север, тучи нагоняя
Дохнул, завыл — и вот сама
Идет волшебница зима.
Пришла, рассыпалась; *клоками*
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз...»
(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. VII).

«Река раскинулась. *Течет, грустит лениво*
И моет берега».
(Блок, «На поле Куликовом»).

«И шепчет он рассказ заветный
О всех товарищах своих,
О жизни их, о смерти их,
О силе грозной их ударов...
Сказал — задумался, затих...
Так умер наш Иван Натаров!»
(Тихонов, «Слово о 28 гвардейцах»).

б) Второе предложение, служа непосредственным продолжением первого, представляет собой группу сказуемого или сказуемых, относящихся к уже названному в первом предложении подлежащему, но не однородных со сказуемыми первого предложения, а выражающих з а в и с и м ы е отношения: причинно-следственные, пояснительные. В таком случае, если бы предложения не были разделены паузой точки, мы имели бы не предложение с однородными сказуемыми, а бессоюзное сложное предложение, разделенное пояснительной паузой (паузой двоеточия), но в целом полное.

Примеры:

«Вронский удовлетворял всем желаниям матери. *Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек».*
(Л. Толстой, «Анна Каренина», ч. I, гл. 12).

«Но предки мои были люди смирные и уклончивые. *В пограничных городах и крепостях не сидели, побед и одолений не одерживали, кресты целовали по чистой совести, кому прикажут, беспрекословно».*
(Салтыков-Щедрин, «Пошехонская старина», Введение).

«Моя
милиция
меня
бережет.
Жевлóм
правит,
Чтоб зправо
шел».
(Маяковский, «Хорошо!», 19).

«Она, гвардейская, восьмая,
Врага уловки понимает.
Стоит, откуда б *он* ни лез,
На всех путях наперерез».
(Тихонов, «Слово о 28 гвардейцах»).

Предложения, имеющие общее подлежащее, могут в своей совокупности представлять то, что Н. С. Поспелов называет «сложным синтаксическим целым», внутри которого они, как его части, тем самым теряют свою относительную неполноту. Однако и в этом случае мы не избавлены от необходимости анализировать и характеризовать их состав как предложений, поскольку они не перестают быть ими синтаксически. Кроме того, не всегда такие неполносоставные предложения являются членами более сложного синтактико-смыслового объединения предложений, каким является сложное синтаксическое целое, но могут и сами начинать новый цикл объединяемых вокруг нового смыслового стержня предложений. Последнее имеет место в тех случаях, когда неполносоставными предложениями начинается описание нового момента, нового этапа в развитии действия, что может находить выражение в изменении форм глагола в сказуемом (см. на стр. 45 последние два примера из «Евгения Онегина»), и особенно в том, что такое неполносоставное предложение следует за присоединительно-заключительным предложением с союзом и, как бы завершающим, подытоживающим цикл предшествующих предложений (см. последние три примера из «Евгения Онегина» на стр. 44—45).

К раз названному подлежащему может присоединяться целый ряд высказываний, представляющих собою самостоятельные неполносоставные предложения, состоящие из групп сказуемых или являющиеся сложноподчиненными предложениями без подлежащего в главном. Вот такие группы предложений, если они объединены общей темой, могут составлять «сложное синтаксическое целое». Например:

«В этой жизни Морозка не искал новых дорог, а шел старыми уже выверенными тропами. Когда пришло время, *купил сатиновую рубаху, хромовые, бутылками, сапоги и стал ходить по праздникам на село в долину*... Когда пришло время, *уехал на фронт — попал в кавалерию. Там научился превратительно, как все, смотреть на «пешую кобылку», шесть раз был ранен, два раза контужен и уволился по чистой еще до революции. А вернувшись домой, пропьянствовал недели две и женился на доброй, гулящей и бесплодной откатчице из шахты № 1*».
(Фадеев, «Разгром», гл. I).

«Неведомая сила толкнула его (Григория) в грудь, и он попятился, упал навзничь, но тотчас же испуганно вскочил на ноги. *И еще раз упал, больно ударившись обнаженной головой о камень. Потом, не поднимаясь с колен, вынул из ножен шашку, начал рыть могилу*».
(Шолохов, «Тихий Дон», кн. IV, ч. VIII, гл. 17).

«Как и комдив, лейтенант и желал и боялся встречи с противником. *Желал потому*, что так ему повелевал долг, и *потому еще*, что дни вынужденного бездействия пагубно отражаются на разведчиках, опутывая их опасной паутиной лени и беспечности. *Боялся же потому*, что из восемнадцати человек, имевшихся у него в начале наступления, осталось всего одиннадцать».

(Казакевич, «Звезда», гл. I).

Описанный случай «опускания», точнее, неповторения подлежащих, представляет собою, как видим, особый литературный прием, прием авторского повествования. Ни о какой «неполноте предложения» — в смысле его недооформленности, недостаточной выраженности в нем мысли, — не может быть и речи.

Но именно потому, что рассматриваемая неполнота состава предложений представляет собою индивидуальное отклонение, особый авторский прием, и не составляет нормы для книжной речи, предложения эти можно именовать относительно неполными — по сравнению с типичными предложениями книжно-литературного языка.

В научно-деловом книжном языке опускание подлежащего, как правило, не допускается. Даже когда предмет речи остается все тем же и совершенно ясен из контекста, требования грамматической полноты и законченности каждого предложения приводят к тому, что, избегая из стилистических соображений повторения одного и того же слова, заменяют его местоимениями, синонимами, перифразами и т. п.

Только в некоторые разновидности книжно-литературного языка: в критико-публицистические жанры, ораторскую речь, доклады и т. п., вводятся различные элементы разговорной речи, в том числе и синтаксические: вопросо-ответная форма, повторения, вопросительные и восклицательные предложения, а также и неполносоставные предложения.

В разговорной речи действующих лиц имеют место, в основном, те же синтаксические разновидности контекстуальных неполносоставных предложений, но употребление их в большей степени обусловливается тенденцией и возможностью опускать все, что не является абсолютно необходимым для понимания смысла речи и в меньшей степени — собственно стилистическими заданиями. Как и в авторской, книжно-литературной речи, так в не меньшей степени и в речи разговорной, неполносоставные предложения могут служить средством выражения смысловых оттенков, но в разговорном языке их употребление полностью определяется условиями момента речи. Поэтому неполносоставные предложения не формируются заранее как таковые и не подвергаются последующей реконструкции в соответствии с планом целого. Они возникают в процессе самой речи и с нею исчезают.

Разговорная речь персонажей с бóльшим или меньшим реализмом отражает характер употребления и формы неполносоставных предложений живой речи.

Предложения, продолжающие высказывания о том же, ранее названном подлежащем (которое может находиться и не в непосредственно предшествующем предложении).

а) Сказуемые однородны и могли бы быть соединены сочинительными союзами; неполносоставные предложения имеют характер присоединенных после паузы:

«Бессеменов. Вот Нил... он дерзок... он разбойник. *Но — человек с лицом. Опасный...* но его можно понять».

(Горький, «Мещане», д. II).

«— Да он ничего — чистенький,— согласился Морозка.— *Послажe будет*».

(Фадеев, «Разгром», гл. VII; о Мечике).

«— Что такое?— А вот что: магазины хлебные у нас в исправности, то-есть лучше быть не может; вдруг приезжает к нам чиновник: приказано-де осмотреть магазины. *Осмотрел и говорит*: в беспорядке ваши магазины, упущенья важные».

(Тургенев, «Однодворец Овсяников»).

б) Сказуемые разнородны по содержанию и не могут быть соединены в одном предложении сочинительными союзами или соединительными паузами:

«Федосья-то из Микулина. *В Москве на оброке жила в швеях, и оброк платила исправно*, сто восемьдесят два рубля с полтиной в год... *И дело свое знает: в Москве заказы получала хорошие*».

(Тургенев, «Однодворец Овсяников»).

Между сказуемыми имеют место отношения смысловой зависимости — причинно-следственные, пояснительные, определительные:

«— А то другой сосед у нас в те поры завелся,— Комов, Степан Никтополионыч. *Замучил было отца совсем: не мытьем, так катаньем. Пьяный был человек и любил угощать, и как подопьет, да скажет по французски: «се бон», да обливнется — хоть святых вон неси! По всем соседям шлет просить пожаловать*».

(Тургенев, «Однодворец Овсяников»).

Подлежащее может не называться в последующих предложениях, если слово, его выражающее, уже было названо в предыдущих предложениях, хотя бы и не в функции подлежащего, и если из контекста ясно, о ком или о чем идет речь.

Анализ материала показывает, однако, что случаи подобного «опускания» подлежащего в собственно книжно-литературном языке крайне редки. Противореча в общем нормам книжно-литературного языка, не способствуя ясности речи и в то же время не будучи оправдано заданиями стилистического порядка, опускание подлежащего, не служившего подлежащим в предшествующих предложениях, поэтому почти не допускается в собственно художественном языке. Оно гораздо шире распространено, как увидим, в разговорном языке; в авторской же речи мы наблюдаем рассматриваемый пропуск подлежащего в тех случаях, когда авторская речь приближается к разговорной, носит характер безыскусственного рассказа. Например:

«Ноги гудят. Левая пятка немного натерта. Вообще с сапогами дело дрянь. *Совсем разваливаются*. Так и не дождался я брезентовых».

(В. Некрасов, «В окопах Сталинграда», ч. I).

В разговорном языке, в речах действующих лиц опускание подлежащего, ясного по смыслу речи и выраженного словом, названным ранее не в функции подлежащего, представляет собою частный случай опускания любого члена, ясного из смысла речи и ситуации, и распространено очень широко. Оно главным образом имеет место в тех случаях, когда присоединяемое неполносоставное предложение носит пояснительный, раскрывающий смысл предшествующего характер.

«Сахатов. ...Болен разве кто.

Доктор. Не то, чтобы болен, а знаете, с этими барынями беда! *До трех часов каждый день сидит за винтом, а сама тянется в рюмку*».

(Л. Толстой. «Плоды просвещения», д. I, явл. 7).

«— Не поеду я к этому брюхачу. *Рыбу даст сотенную, а масло положит тухлое.* Бог с ним совсем».

(Тургенев, «Однодворец Овсяников»).

«— А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. *Властный был человек! Обижал нашего брата*».

(Тургенев, «Однодворец Овсяников»).

«Аммос Федорович. Ая, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем, чтобы попотчевать вас собачонкою. *Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете*».

(Гоголь, «Ревизор», д. I, явл. 2).

«А видел ли слона? *Каков собой на взгляд?*»

(Крылов, «Любопытный»).

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЕНАЗВАННЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ

Предложения с неназванным дополнением, требуемым смыслом предложения и характером формальных связей между его членами, представлены в книжно-литературном языке крайне ограниченно.

Объект-дополнение не является в русском языке обязательным членом предложения, требуемым его структурой, даже при наличии переходных глаголов, некоторых прилагательных, сравнительных степеней, могущих иметь дополнения, — поскольку перечисленные категории слов могут быть употреблены и в таком значении, когда дополнение при них не безусловно необходимо: глаголы и прилагательные могут обозначить состояние или потенциальную возможность действия либо наличие признака безотносительно к другим объектам.

Определение степени переходности или непереходности глагола, необходимости в дополнении к прилагательному, сравнительной степени или другим управляющим словам должно основываться на анализе лексико-грамматических отношений между словами и непременно на смысле данного предложения в целом, что допускает некоторую свободу толкований и затрудняет отнесение предложений к неполным при отсутствии дополнений.

В случаях же действительной, смысловой и формальной необходимости в дополнении оно в книжно-литературном языке, как правило, не опускается, во избежание неясности, так как дополнение, обозначая новый объект

речи[1], тем самым не столь отчетливо определяется контекстом, как «предмет речи» — подлежащее.

Примеры неполносоставных предложений с неназванными дополнениями, представляемые книжно-литературным языком, крайне немногочисленны, малоубедительны и либо несколько искусственны в построении, либо носят оттенок разговорной непринужденности речи. Например:

«Солдату
упал
огонь на глаза,
на клок
волос
лег.
Я *увнал*,
удивился,
сказал:
«Здравствуйте,
Александр Блок».
(Маяковский, «Хорошо!», 7).

«Зовут, сажают двух друзей.
Сажают прямо против Тани»...
(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. V, строфа XXIX и XXX).

В примере из «Евгения Онегина» второе предложение продолжает описание появления Онегина и Ленского на именинном обеде, но, начиная новую строфу, начинает вместе с тем новую частную тему — описание состояния Татьяны после появления Онегина. В черновой рукописи нет точки после первого предложения, вместо нее — тире, знаменующее конец предложения (или синтагмы); второе предложение имеет в черновой рукописи формально полный вариант: «Их посадили против Тани».

В разговорном языке «пропуск» дополнения, необходимого по смыслу речи, наблюдается почти так же широко, как и пропуск подлежащего (и особенно в диалогической речи). Необходимое по смыслу речи дополнение может не быть названо, во-первых, потому, что оно ясно не только из контекста, но и из ситуации, из обстановки речи, и, во-вторых, потому, что в разговорном языке более допустимы не вполне законченные в формальном отношении грамматические конструкции.

Неназванное в последующей речи дополнение могло быть в предшествующей речи и подлежащим, и сказуемым, и другим членом предложения, наконец, могло определяться общим смыслом предшествующих предложений. Привожу примеры:

«Яков. ...Татьяна Марковна, барыня не говорила ничего про вчерашнее?
Таня. Это об лампе-то?
Яков. И как это она вырвалась из рук, бог ее знает. *Только стал обтирать, хотел перехватить, — вышмыгнула как-то...* В мелкие кусочки!»
(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I, явл. 11).

[1] Если раз названный объект речи продолжает быть предметом рассмотрения и в дальнейшем изложении, он делается предметом речи, т. е. подлежащим.

«Б е т с и. Да, прелестный костюм. *А мама не берет и не хочет платить*».
(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I, явл. 33).

«П е т р. Уж эти работники! Был бы здоров, *ни в жизнь бы не стал держать*».
(Л. Толстой, «Власть тьмы», д. I, явл. 1).

«Г о р о д н и ч и й. На рынке у меня говядина всегда хорошая. *Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего.* Я уж не знаю, *откуда он берет такую*».
(Гоголь, «Ревизор», д. II, явл. 8).

«Д о м н а П а н т е л е в н а. Или вот Иван Семеныч Великатов... говорят, сахарные заводы у него не один миллион стоят... *Что бы ему головки две прислать: нам бы надолго хватило...*»
(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

Что касается обстоятельственных и определительных членов предложения, то к ним в еще большей степени, чем к дополнениям, относится все то, что было сказано о степени необходимости дополнения как члена предложения.

Поскольку обстоятельства и определения не являются формально необходимыми членами основных типов предложения в русском языке, их отсутствие не создает явной неполноты состава. Там же, где по смыслу и структуре предложения необходимы обстоятельственные слова: в двучленных безличных предложениях типа «Здесь хорошо», «В Москве шумно» и т. п., в предложениях с глаголами пребывания, нахождения где-либо: «жить», «пожить», «побывать» и т. п., с глаголами передвижения: «поехать» и т. п., — там обстоятельства в связной книжно-литературной речи никогда и не опускаются.

Неназывание обстоятельственного слова, создающее смысловую неполноту изолированно взятого предложения, наблюдается только в вопросо-ответных предложениях диалогической речи (см. об этом § 14) или в том случае, если предметно-обстоятельственный член предложения сопровождается определением, которое может его замещать, создавая тем самым возможность не повторять ранее названного самого предметно-обстоятельственного члена предложения (о чем дальше).

К о н т е к с т у а л ь н ы е о т н о с и т е л ь н о н е п о л н ы е п р е д л о ж е н и я с о т с у т с т в у ю щ и м о п р е д е л я е м ы м с л о в о м п р и н а л и ч и и о п р е д е л е н и я представляют собою более отчетливую группу неполносоставных предложений и более широко входят в литературный язык, чем предложения с неназванными дополнениями и особенно с обстоятельственными словами без определений при них.

Характерной особенностью предложений с отсутствующим определяемым словом является то, что в них мы имеем в большей степени неполноту словосочетания, чем неполноту состава предложения в целом. Отсутствующий член предложения — будь это подлежащее, дополнение или предметно-обстоятельственный член предложения — как бы замещается определением, согласованным с ним и обозначающим тот именно признак, которым неназванный определяемый член предложения как раз характеризуется в отличие от других. Таким образом, один из компонентов группы

неназванного члена предложения всегда налицо, притом важнейший в смысловом отношении, как несущий новое содержание, и этот компонент выступает заместителем всей группы.

Выполняя функцию заместителя неназванного предметного члена предложения, определение само в той или иной мере субстантивируется. Определения, субстантивировавшиеся таким образом в процессе коллективного языкового общения, способны выступать в роли предметных членов предложения, и употребление их в этой функции не создает неполноты формального состава предложения. Таковы, например, местоимения «некоторый», «всякий», «каждый» и др.; числительные «один», «одна», «первые», «вторые» — в некоторых значениях; прилагательные «последние», «многие», «другие» и т. п. — в определенных значениях и сочетаниях, например, при сопоставлении.

Предложения с такими субстантивированными словами в роли подлежащих и дополнений надо считать полными, хотя бы контекст и подсказывал соответствующие определяемые слова. Например:

«С баржи несли раненых. Некоторые стонали».

(Симонов, «Дни и ночи», гл. III).

Некоторые определения субстантивировались в составе определенных устойчивых словосочетаний: например, ходить в б е л о м, ч е р н о м, носить б е л о е, с в е т л о е и т. п. В зависимости от степени субстантивации определения, предложение с отсутствующим определяемым словом, функцию которого более или менее успешно выполняет субстантивированное определение, соответственно приближается к полному; чем в большей степени значение неназванного члена предложения определяется контекстом, тем ближе предложение к относительно неполному.

«Он прочел письма. *Одно было очень неприятное,— от купца, покупавшего лес в имении жены*».

(Л. Толстой, «Анна Каренина», ч. I, гл. 3).

«— Ленский, соло!..— вдруг раздался чей-то голос с галерки. *К нему присоединился другой, третий*, и, наконец, общим хором демонстративно, прямо в лицо артистке, стали вызывать «Ленского соло».

(Юрьев, «Записки», ч. I).

«Нагружаем две повозки. *Третью бросаем*».

(В. Некрасов, «В окопах Сталинграда», ч. I).

«Вот и сейчас мать наклеила красивую марку, как в детстве. Они у нас лежали в маленькой длинной коробочке слева на столе. И мать, вероятно, долго выбирала, *пока остановилась на этой, зеленой и красивой*».

(Там же).

«Перед ним стоял новый самовар и новый штоф. *Старый вчерашний был уже допит, а новый опорожнен более чем на половину*».

(Достоевский, «Братья Карамазовы», ч. III, кн. VIII, гл. 2).

«Как бедна
у мира
слова мастерская!
Подходящее
откуда взять?»

(Маяковский, «Владимир Ильич Ленин»).

Условия употребления и характер контекстуальных предложений с отсутствующим определяемым словом в разговорной речи не отличаются от их употребления и характера в языке книжно-литературном.

Привожу примеры рассматриваемых предложений из разговорной речи персонажей:

«— Смотрите-ка. Смотрите, Иван Иванович!— закричал Альтман.
— Какая гладь! *По такой хочется пешком пройтись*».

(Панферов, «Борьба за мир»,ч. II, гл. 8).

«С о н я. ...Михаил Львович каждый год сажает новые леса, и ему уже прислали бронзовую медаль и диплом. Он хлопочет, *чтобы не истребляли старых*».

(Чехов, «Дядя Ваня», д. I, явл. 1).

«— Особенно в дворянах вижу я перемену большую. *Мелкопоместные — все либо на службе*, либо на месте не сидят; *а что покрупней* — тех и узнать нельзя. *Насмотрелся я на них, на крупных-то* вот, по случаю размежевания».

(Тургенев, «Однодворец Овсяников»).

«Г о р о д н и ч и й Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, *этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины*».

(Гоголь, «Ревизор», д. I, явл. 1).

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЕНАЗВАННЫМ СКАЗУЕМЫМ

К о н т е к с т у а л ь н ы е н е п о л н о с о с т а в н ы е п р е д л о ж е н и я с о т с у т с т в у ю щ и м п о л н о з н а ч н ы м г л а г о л ь н ы м с к а з у е м ы м или глаголом-связкой не в настоящем времени, опущенным из-за того, что сказуемое это названо в предшествующем предложении, широко представлены только в сложносочиненных предложениях, особенно при противопоставлении и сопоставлении (см. об этом § 17). При этом сложное предложение в целом остается совершенно полным в смысловом отношении. В самостоятельных же предложениях «опущение» сказуемого, как ранее названного, — явление крайне редкое и имеющее место, в основном, в тех же условиях, что и при сочинении предложений, т. е. при сопоставлении предложений, хотя бы и разделенных паузой точки, — иначе говоря, при сочинении предложений после точки.

В авторской речи и речи рассказчика:

«Обе они (поклонницы артисток) и по внешности были какие-то особенные. «Пашенька» — ермоловская — была необычайно высокого роста, почти мужского, худая, узкоплечая и говорила басом. «Лизок» — федотовская,— *напротив, маленькая, пухленькая, с круглым лицом и маленьким носом, как защипок, и с визгливым голосом*».

(Юрьев, «Записки», ч. I; не повторен глагол-связка «была»).

«А где фронт?... На карте его обычно обозначают жирной красной линией. *Противника — синей*».

(В. Некрасов, «В окопах Сталинграда», ч. I).

Может быть не повторено сказуемое, находящееся и не в сопоставляемых предложениях, а в предшествующих:

«И они пошли по улице рядом друг с другом. *Челкаш — с важной миной хозяина, покручивая усы, парень — с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни*».

(Горький, «Челкаш»).

«Ни отец, ни мать не занимались детьми, почти не знали их. *Отец* — потому что был устранен от всякого деятельного участия в семейном обиходе, *мать* — потому что всецело была погружена в процесс благоприобретения».

(Салтыков-Щедрин, «Пошехонская старина», гл. III).

Особый случай контекстуальных предложений с неназванным сказуемым — присоединение новых подлежащих к тому же сказуемому, т. е. сказуемому предшествующего предложения:

«Наушничала прислуга, в особенности должностная; наушничали дети. *И не только любимчики, но и постылые, желавшие хоть на несколько часов выслужиться*».

(Салтыков-Щедрин, «Пошехонская старина», гл. III).

«Текучей воды было мало. *Только одна река Пёрла, да и та неважная, и еще две речонки: Юла и Вопля*».

(Салтыков-Щедрин, «Пошехонская старина», гл. I).

Все приведенные в качестве примеров группы предложений представляют собою то, что можно, следуя В. В. Виноградову и Н. С. Поспелову, назвать «сложным синтаксическим целым», поскольку предложения, входящие в состав этих групп, действительно объединены между собою отношениями пояснительными и сопоставительными (первые четыре примера) или отношениями присоединительными (последние два примера), что и позволяет не повторять сказуемого.

Опускание неопределенной формы глагола вызывается теми же условиями, что и опускание дополнения и сказуемого, и также не характерно для авторской речи. При этом считать предложение относительно неполным из-за отсутствия инфинитива можно лишь в том случае, если он действительно необходим и с смысловой, и с формальной стороны, т. е. если в предложении есть слова, требующие дополнения: переходные глаголы, употребляемые в переходном значении, глаголы типа «хочется», «придется» и т. п.; модально-предикативные слова: «надо», «можно», «должно» и т. п.; краткие прилагательные, обозначающие состояние: «готов», «рад» и т. п., которые по смыслу речи должны быть дополнены и которые могут иметь при себе инфинитивное дополнение. Член предложения, выраженный инфинитивом, может «опускаться» на общих основаниях — если он назван в предыдущем контексте. Например:

«Хлестаков. Это скверно, однакож, если он совсем не даст есть. *Так хочется, как еще никогда не хотелось*».

(Гоголь, «Ревизор», д. II).

При сопоставлении:

«Сам
приехал,
в пальтишке рваном,—
ходит,
никем не опознан.
Сегодня,
говорит,
Подыматься рано.
А послезавтра—
поздно».

(Маяковский, «Хорошо!», 5).

Инфинитив может и не быть назван в предшествующем предложении, но может быть ясным из контекста. Может быть назван глагол того же корня не в форме инфинитива или существительное, наречие, лексическое значение которых подсказывает лексическое значение инфинитива, требуемого смыслом и структурой предложения:

«С о ф ь я. Смеешься! *Можно ли!*»

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I, явл. 5).

Однако в этих случаях подстановка предполагаемого члена предложения всегда гадательна и произвольна, почему и рассматриваемые предложения с таким якобы «опущенным» инфинитивом либо надо считать полными разговорными структурами, достаточными в условиях их употребления, либо, в случае бедности, фрагментарности их состава, — н е р а з в е р н у т ы м и (например, приведенное выше «*Можно ли!*»).

10. ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Следующая обширная и разнообразная группа предложений, характеризующихся относительной неполнотой формально-грамматического состава, — это предложения с отсутствующей глагольной частью сказуемого, не являющейся необходимой для понимания смысла высказывания и легко восстанавливаемой из контекста самого предложения. Это предложения типа «*Татьяна в лес, медведь за нею*» и т. п.

Поскольку рассматриваемые предложения, даже будучи взяты изолированно, вне контекста и ситуации, сохраняют значительную полноту заключенного в них высказывания, так как оно достаточно выражено собственными лексико-грамматическими средствами данного предложения, постольку нет основания называть их неполными, хотя бы и относительно: предложения эти не в большей степени «неполны» вне контекста, чем многие формально полные предложения. Сравнивая их формальный состав с составом параллельных, т. е. аналогичных по характеру высказывания, предложений научного книжно-литературного языка, мы можем говорить — и то условно — лишь об опущении, эллипсисе глагольной части сказуемого, которая, будь она налицо, играла бы, в основном, полуслужебную роль грамматического показателя наклонения, залога, времени, лица и т. д. и, разумеется, уточняла бы в то же время выражение действия.

Поскольку указанный эллипсис глагольной части сказуемого вызывается и обусловливается не наличием контекста, а задачами высказывания, его функциональной направленностью, он тем самым представляет характеристическую структурную черту определенного типа высказываний и не может быть устранен без изменения этого типа. Как увидим далее из анализа предложений, эллипсис глагольной части сказуемого не может также рассматриваться как результат недостаточной дифференцированности, расчлененности мысли и вследствие этого ее недостаточного словесного оформления; в разговорной речи он характеризует определенный тип высказываний, в языке художественно-поэтическом — представляет

собою особый прием повествования, давно известный под именем поэтического эллипсиса.

На основании всего сказанного не будем называть рассматриваемые предложения неполными, но условно дадим им наименование э л л и п т и ч е с к и х.

В эллиптических предложениях функцию сказуемого выполняют члены его группы — имена и наречия, лексическое значение которых и смысл всего предложения в целом, в ряде случаев еще и интонация, — в своей совокупности выражают и самый процесс действия или состояние субъекта.

Таким образом, в эллиптических предложениях действие-состояние есть, и оно выражено, но не непосредственно лексически, а всем контекстом, всем смыслом целого.

Непосредственное, лексическое, словесное выражение находит не само действие, а объект, на который оно направлено, орудие, способ, которым оно совершается, обстоятельства, которыми оно характеризуется, и т. п.

При этом, чем в большей степени неназванное действие замещено характеризующими его словами, чем в большей степени смысловой центр высказывания передвинут в направлении этих слов, тем меньше оснований говорить и об эллипсисе глагольных форм.

Так, если вместо устойчивого сочетания определенного глагола с наречием или с существительным, например, «открыть настежь», «ходить без калош», «ездить на трамвае, в автобусе» и т. д., в сказуемом выступает одно наречие или существительное, причем неназванный глагол очевиден и по смыслу целого высказывания, и, главное, поскольку он служит одним из компонентов устойчивого сочетания слов, — это наречие или существительное является полноценным заместителем сказуемого, и об эллипсисе глагола можно говорить очень условно (примеры см. дальше).

Для определения относительной неполноты формального состава эллиптического предложения небезразличны и характер, и лексическое значение неназванного глагола. Чем ближе он по значению и функциям к глаголам вспомогательным или, тем более, к бытийному, тем меньше оснований при пропуске такого глагола считать предложение неполным по составу; наконец, если неназванный глагол — связка в настоящем времени, то даже традиционная грамматика считает такое предложение формально полным.

Рассмотрим эллиптические предложения в порядке убывающей эллиптичности, т. е. в порядке убывающей относительной неполноты их формального состава.

В основу группировки положим характер неназванного, но предполагаемого глагола и выражающих сказуемое обстоятельственных и дополнительных слов[1].

[1] Пример подобной группировки дает в своем «Синтаксисе русского языка» академик А. А. Шахматов, разбивающий предложения, называемые им «неполными нарушенными с опущенным сказуемым», на группы в зависимости от лексического значения предполагаемого глагола (см. указ. соч., § 311 и след.).

а) Предложения с отсутствующим глаголом движения, стремления и т. п. Эти предложения представляют одну из самых обширных и ярко выраженных групп эллиптических структур.

Эллипсис глагола движения в них довольно отчетливо ощущается благодаря наличию членов, указывающих на цель, место назначения или исходный пункт движения, объект, к которому движение направлено, способ, которым оно совершается, и т. п.

Опускание глагола движения придает изображаемому процессу характер динамичности, стремительности: благодаря тому, что, не обозначая словесно самого процесса действия, сразу же называют его конечную цель, объект и т. п., создается впечатление мгновенности достижения этой цели и отсюда — стремительности самого процесса.

В силу этого эллипсис сказуемого-глагола движения является в художественно-поэтическом языке давно и широко известным приемом изображения стремительно развивающегося действия. Эллипсис глагола движения применяется преимущественно в эмоциональной повествовательной речи или романтически приподнятой, или, наоборот, близкой к разговорной, в которой эллипсис сказуемого-глагола, помимо придания большей эмоциональности, отвечает в общей тенденции разговорного языка — не называть того, что понятно из смысла речи в целом.

Привожу примеры эллипсиса глагола движения в стихотворно-поэтической авторской речи и речи рассказчика:

Порядок следования подлежащего и сказуемого прямой.

У Крылова:

«Беду такую видя,
Сокол — на воздух,
Кошка — в лес».
(«Собака, человек, кошка и сокол»).

«Червяк — на яблоню
и работать пустился».
(«Мальчик и червяк»).

К этому типу относится и постоянно приводимый в качестве примера неполных предложений краткий рассказ Лизы из «Горе от ума»:

«Молчалин на́ лошадь садился: *ногу в стремя,*
А лошадь на дыбы —
Он об землю — и прямо в темя».
(Грибоедов, «Горе от ума», д. II),

или рассказ Софьи о ее сне:

«С о ф ь я. Для довершенья чуда,
Раскрылся пол — *и вы оттуда,*
Бледны как смерть и дыбом волоса».
(Там же, д. I).

У Пушкина:

Ах, витязь, то была Наина!
Я к ней...»
«Руслан и Людмила», песнь I).

«Река шумела в стороне,
Мы к ней — и с берегов высоких
Бух!»
(«Братья разбойники»).

«Завидели в харчевне свечи —
Туда! к воротам, и стучим».
(«Братья разбойники»).

«Светлица тихая пуста —
Он в сад, и там смятенный бродит».
(«Полтава», песнь II).

«Раздался дикой клик погони.
Верхом — и скачут молодцы
Во весь опор во все концы».
(«Полтава», песнь II).

«Вот мужу подвели коня,
Он холку хвать и *в стремя ногу*».
(«Граф Нулин»).

«Вошел: *и пробка в потолок...*».
(«Евгений Онегин», гл. I).

«...В одно собранье
Он едет: лишь вошел... *ему*
Она навстречу».
(«Евгений Онегин», гл. VIII).

Глагол движения может опускаться не только в тех случаях, когда изображается стремительное действие, но и при разговорном стиле повествования, тогда, когда глагол достаточно ясен из контекста и не нуждается в назывании:

«Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; *дальше*: никого».
(«Евгений Онегин», гл. VIII).

«Усядься, муза: *ручки в рукава*,
Под лавку ножки!»
(«Домик в Коломне», IX).

Для поэм Лермонтова подобные предложения с опущенным глаголом движения не характерны. Нам встретилось лишь одно в «Тамбовской казначейше».

«Она на мужа посмотрела
И бросила ему в лицо
Свое венчальное кольцо —
И в обморок...»

Чаще эллипсис глагола движения встречается в повествовательной прозе Лермонтова, притом в речи рассказчика:

«— А, бывало, мы его вздумаем дразнить, так глаза кровью и нальются, *и сейчас за кинжал*».
(«Бэла»).

«Стали мы болтать о том о сем... Вдруг смотрю, *Казбич вздрогнул, переменился в лице — и к окну*».

(Там же).

«Опрометью поскакали мы на выстрел.— ...Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; *ружье из чехла — и туда; я за ним*».

(Там же).

Не характерны эллиптические предложения с опущением глагола движения и для поэм Некрасова с их напевным размером и обычно медленно развивающимся действием; однако единичные примеры имеют место и у него:

«На полном бегу
На бок салазки — и Саша в снегу!»

(«Саша»).

Несколько больше эллиптических предложений в поэме «Кому на Руси жить хорошо», но и там они служат не для экспрессивного изображения стремительно развивающегося действия, а характеризуют главным образом речь персонажей в плане обычной для разговорного языка эллиптичности.

«...Всему
Я покорилась: *первая*
С постели Тимофеевна,
Последняя — в постель».

(Рассказ крестьянки, ч. II, гл. V).

«Гостинцы добровольные
Крестьяне нам несли!
Из Киева — с вареньями,
Из Астрахани — с рыбою,
А тот, кто подостаточней,
И с шелковой материей...»

(Рассказ помещика, ч. I, гл. V).

«Яков на сосну высокую прянул,
Вожжи в вершине ее укрепил,
Перекрестился, на солнышко глянул,
Голову в петлю — и ноги спустил!..»

(Рассказ дворового человека, ч. IV, гл. I).

То же и в авторском сказе:

«Так плакалась молодушка
Да с возу вдруг и спрыгнула!
«Куда?» — кричит ревнивый муж,
Привстал — и *бабу за косу,*
Как редьку за вихор!»

(Ч. I, гл. III).

«...Сказал соседней волости
Крестьянин, с сеном ехавший
(Нужда пристала крайняя
Скосил — *и на базар!*)»...

(Ч. IV, гл. I).

Нет эллиптических предложений с опущенным глаголом движения в поэмах Блока, почти нет их в поэмах Тихонова.

Но очень широко представлены эллиптические предложения в поэзии Маяковского с его близким к разговорному экспрессивным синтаксисом и стремительно развивающимся действием:

«—Товарищи,
не останавливаться!
В броневики
и на почтамт!—»
(Маяковский, «Владимир Ильич Ленин»).

«Есть захотелось,
пояс —
потуже,
в руки винтовку
и
на фронт».
(Маяковский, «Хорошо!», 12).

При инверсии подлежащего, т. е. постановке его после обстоятельств и дополнений, предложение с опущенным глаголом движения в какой-то мере приобретает характер «одночленности», может несколько приближаться к номинативному, называющему явление, указывающему на него:

«Текут беседы в тишине;
Луна плывет в ночном тумане;
И вдруг *пред ними на коне*
Черкес...»
(Пушкин «Кавказский пленник», ч. I).

«Но вдруг пред витязем пещера;
В пещере свет».
(Пушкин, «Руслан и Людмила», песнь I).

«Вдруг топот!.. Кровь ее застыла.
Вот ближе! скачут... *и на двор*
Евгений!»
(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. III).

«А в двери —
бушлаты,
шинели,
тулупы...»
(Маяковский, «Хорошо!», 6).

«Тропул губу,
а у меня из-под губы —
клык».
(Маяковский, «Вот так я сделался собакой»).

«Хожу,
гляжу в окно ли я,
цветы,
да небо синее.
То в нос тебе
магнолия,
то в глаз тебе
глициния».
(Маяковский, «Крым»).

В приведенных предложениях в центре внимания — предмет, который представлен в его явлении, в его обнаружении, появлении, возникновении; предложения близки к односоставным — именным, но не бытийным, изображающим статическое бытие предмета, а особого рода именным, представляющим предмет динамически, в момент его появления, в процессе его возникновения и проявления.

В речах персонажей эллиптические предложения с опущенным глаголом движения представлены очень широко и составляют типическую черту разговорного языка.

«О с и п. Я, говорит, шутить не буду, *а прямо с жалобою, чтоб на съезжую, да в тюрьму*».

(Гоголь, «Ревизор», д. II).

«Х л е с т а к о в. *Да вот вы хоть тут со всей своей командой* — не пойду. *Я прямо к министру!*»

(Там же).

«Тише! Здравствуй! Не отпирай дверь, *я — через окно*, — шопотом сказал Григорий».

(Шолохов, «Тихий Дон»).

С инверсией подлежащего:

«Х л е с т а к о в. *И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры...*»

(Гоголь, «Ревизор», д. III).

Близки к предложениям с неназванным глаголом движения предложения с неназванным глаголом переходного действия, представляемого отраженно — через объект и орудие действия, которые названы и делают излишним обозначение самого действия, например:

«А н и с ь я. Ты чего? Мотри, *я тебя рычагом*».

(Л. Толстой, «Власть тьмы», д. I).

«М и т р и ч. Вот *я тебя веником!* Спи, говорю».

(Там же, д. IV).

«Он вас побранил, а вы его выругайте; *он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье* — и разойдитесь...»

(Пушкин, «Капитанская дочка», гл. IV).

б) П р е д л о ж е н и я с о п у щ е н н ы м и г л а г о л а м и р е ч и. Опускание глаголов речи при прямой передаче своих или чужих слов типично для разговорного языка. В предложении, вводящем прямую речь, обычно указываются говорящее лицо и адресат, если он не ясен из ситуации [см. такие обороты разговорного языка, как «А я ему на это», «А он (мне)» и т. п.]. Например:

«Л и з а. А *о н в о т в е т*: «Недаром, Лиза, плачу».

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

В собственно литературном языке, в авторских словах, вводящих прямую речь, опускание глаголов речи — прием, придающий самому

повествованию разговорный характер и позволяющий избегать повторения глаголов «сказать» и т. п.[1]

«На смятом канапе лежал
Манежный хлыстик. Таня дале;
Старушка ей: «А вот камин...»
(«Евгений Онегин», гл. VII).

«*Про то*,
Про это говорю
Что-де заела Роста,
А *солнце*:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!»
(Маяковский, «Необычайное приключение...»

Опускание глаголов речи является также приемом, с помощью которого подчеркиваются, выделяются обстоятельства, сопутствующие прямой речи, характеризующие способ ее произнесения.

«— Мы знаем, за что и во имя чего мы бьемся, — упрямо произнес Николай Кораблев.
— А все-таки, во имя чего?
Николай Кораблев чуть подумал *и так же упрямо*:
— Те зовут к грабежу, а мы — к жизни».
(Панферов, «Борьба за мир», ч. II, гл. 9).

в) Предложения с различными неназванными полнозначными глаголами, входящими в состав более или менее устойчивого сочетания слов, именная часть которого налицо и, подсказывая неназванный глагол, делает обозначение его излишним; например:

«*Уж*ель *мне скоро тридцать лет?*» (будет, исполнится и др.).
(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. VI).

«*Львам, барсам и слонам везде такая честь*» (оказывается, воздается, идет).
(Крылов, «Осел»).

«*Вот в чем однако случай весь*» (заключается).
(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

«Мне все равно, *что за него, что в воду*» (идти).
(Там же, д. I).

«А этот, *как его*, он турок или грек?» (зовут).
(Там же).

«*Ну, а что из того, что* вы берете взятки борзыми щенками?» (следует).
(Гоголь, «Ревизор», д. 1).

«— Я, брат, уж совсем к Варюхе в лазарет снарядился, *а ты тут со своим пакетом*» (пристаешь),
(Фадеев, «Разгром», гл. I).

[1] См. об этом у А. А. Шахматова — «Синтаксис русского языка», § 313.

и тому подобные структурно эллиптические, но в смысловом отношении совершенно полные полуфразеологические разговорные обороты.

К ним близко примыкают устойчивые сочетания глагола с наречием, способным совершенно замещать глагол и самому выступать в функции сказуемого, например:

«Вдруг двери настежь».

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. V).

«Встает задумчивый властитель;
Пред ним дверь настежь».

(Пушкин, «Бахчисарайский фонтан»).

«Тихими, тяжелыми шагами
В дом вступает Командор...
Настежь дверь».

(Блок, «Шаги командора»).

«Так и есть, *калитка совсем настежь».*

(Достоевский, «Братья Карамазовы», ч. III).

«В избах народ в повалку».

(Чехов, «Дядя Ваня», д. I).

«Так идите, милый, один, *а я домой прямо, а?»*

(Горький, «Ошибка»).

11. ИМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ

а) Предложения с отсутствующим глаголом бытия. Именные структуры.

Глагол бытия — «быть — есть», как известно, может выступать или в функции связки, в качестве компонента составного сказуемого, или в функции сказуемого, т. е. в своем реальном бытийном значении[1].

На самом деле глагол «быть» (не связка) имеет одно основное значение: существовать, наличествовать, иметь место. Им, как сказуемым, утверждается реальное бытие, наличность, существование того предмета, который является подлежащим, форма же этого бытия, его конкретный характер определяются самим предметом и условиями, в которых это бытие

[1] Толковые словари находят у глагола «быть» несколько значений. Так, «Словарь современного русского литературного языка» Академии Наук СССР, рассматривая только значения форм прошедшего и будущего времени глагола «быть» и выделяя «есть» как отдельное слово, находит у «быть», «был», «буду» и т. д. (не связки) 6 значений: 1) существовать; 2) находиться, присутствовать; 3) приходить, приезжать, посещать; 4) происходить, совершаться, случаться; 5) держаться, обращаться; 6) создаваться, открываться, появляться. Не трудно заметить, что некоторые значения не принадлежат самому глаголу «быть», а могут ему приписываться в результате такого метода истолкования значений, при котором в предложение, содержащее определяемое слово, подставляется на место его другое, которое по смыслу целого тоже могло бы там стоять, и значение этого подставленного слова приписывается замененному. Так, из наличия примеров «Вот опера будет», «В этой деревне скоро будет своя школа» не следует, что «быть» имеет значение «открываться». Способом подстановок других возможных глаголов можно найти у «быть» еще много значений.

протекает. Таким образом, глагол «быть», имея сам по себе лишь общее значение б ы т и я — с у щ е с т в о в а н и я, каждый раз в предложении реализуется в каком-либо конкретном проявлении этого бытия, выражая, также лишь в общем виде, основные формы бытия. Они и могут именоваться «значениями», вернее, — вариантами значения глагола «быть».

Так, если предмет, бытие которого утверждается, представляет собою явление или процесс, «быть» в применении к нему означает «происходить», «протекать» и т. п. «Была гроза», «Был бой», но такое значение «быть» — лишь истолкование его конкретного смысла в данном сочетании, это форма бытия данного предмета и, следовательно, для глагола «быть» это вариант его значения (так как основное — значение бытия — сохраняется), его «употребление». «Быть у кого-то, у чего-то» — в порядке принадлежности кому-то — значит «иметься», «быть в наличности». «Быть где-то, у кого-то, с кем-то и т. д.» в пространственном отношении — «пребывать», «находиться».

Кроме приведенных основных и наиболее общих значений глагола «быть», необходимо выделить, как особое и стилистически ограниченное, употребление в разговорном языке форм будущего времени «буду» в смысле «приду» и форм прошедшего — «был» в смысле «приходил»: «Отец был?» — «Был».

Надо также учитывать, что форма будущего времени имеет двоякое видовое значение: значение несовершенного вида, т. е. продолжающегося и в будущем бытия — существования, и значение совершенного вида, т. е. возникновения бытия — существования; следовательно, «будет» может означать и «будет существовать», и «начнет существовать» — отсюда истолкования: «возникнет», «наступит», «появится» и т. п., в зависимости от подлежащего и смысла всего предложения[1].

Помимо вариантов значения глагола «быть», проявляющихся в относительно свободных сочетаниях слов, есть множество несвободных, более или менее устойчивых сочетаний слов, в той или иной мере приближающихся к фразеологическим, в которых глагол «быть» может служить одним из выразителей различных значений, принадлежащих не ему самому, а всему сочетанию в целом. Так, в выражении «быть за кого-нибудь» — в смысле «быть сторонником кого-либо», «стоять за кого-либо» формы настоящего времени отсутствуют:

«Нет,
я не за монархию
с коронами,
с орлами...»

(Маяковский, «Хорошо!», 5, — разговор офицеров в «Селекте»).

Рассмотрение подобных сочетаний — дело словаря. Нам же предстоит рассмотреть предложения с отсутствующим глаголом бытия в его основ-

[1] В этом последнем значении «будет» употреблено в Академическом словаре в предложении «В этой деревне скоро будет своя школа», т. е. начнет существовать, так что совсем не нужно было приписывать глаголу «будет» значения «открываться».

ных вариантах значений, чтобы определить, в каких конструкциях и при каком значении глагола «быть» можно говорить об эллипсисе его форм и в каких мы имеем совершенно полные в современном языке синтаксические структуры.

Есть известное соотношение между употреблением глагола «быть» в том или ином его значении и возможностью его «опускания» — соотношение, находящее свое выражение и в структуре предложения.

Глагол «быть» в своем основном значении «существовать», «иметь место», «наличествовать» не опускается и в форме настоящего времени тогда, когда именно он сам выступает в роли предиката и несет на себе смысловое ударение, когда смысл сообщения о предмете заключается в утверждении, что предмет существует. Высказывание в таком случае двучленно с отчетливым членением на субъект и предикат, порядок следования которых при этом прямой. Если же центральным членом выступает сам предмет в его бытии, причем предмет является предикативным определением некой реальной действительности, глагол же бытия служит, в основном, показателем временных отношений, — порядок обычно инверсивный, форма настоящего времени излишня, в результате чего в настоящем времени возникает так называемое именное бытийное предложение, а в прошедшем и будущем времени — лишь формально двусоставное, благодаря наличию подлежащего и сказуемого. Ср.:

Дождь е́сть	Дождь
Дождь бы́л	Был до́ждь
Дождь бу́дет	Будет до́ждь.

Предложения второго столбца — нерасчлененные высказывания, равнозначные в этом отношении безличным предложениям[1].

«Быть» в значении «существовать — иметься» не опускается и в настоящем времени в обоих типах структур:

Деньги есть — «*Есть речи* — значенье темно иль ничтожно!—»
(Лермонтов).

При синтаксической распространенности структур опущение безударного «есть» возможно, но влечет за собой некоторое изменение оттенка значения всего высказывания:

Дети у нее есть. У нее есть дети. У нее дети.

«Быть где-нибудь, у кого-нибудь» в значении «пребывать», «находиться», совсем не может иметь в современном языке формы настоящего времени:

Отец в городе.

[1] Разумеется, нарочитый перенос ударения на «был», «будет» в предложениях второго столбца совершенно изменит смысл и тем самым структуру.

Там, где возможна двоякая структура — с «есть» и без «есть» — там, следовательно, глагол бытия выступает в значении «существовать — иметься»:

На горах есть снег. На горах снег.

Разумеется, оба предложения полные.

Здесь приведена самая грубая, самая общая схема; не учтены десятки вариантов структур и значений, обусловленных реальным содержанием высказывания и лексическим значением слов и выражаемых переносом смыслового ударения, инверсиями, «опусканием» глагола «быть» и т. п. Однако и из сказанного ясно, что «опускание» настоящего времени глагола «быть» и в его реальном, бытийном значении не только возможно без нарушения полноты состава предложения, но при определенных значениях глагола «быть» даже обязательно и в ряде случаев играет и семантическую, и формально-структурную роль[1].

Сказанное позволяет, кроме того, рассматривать как полные такие предложения с отсутствующими глагольными формами, в которых в прошедшем и в будущем времени может быть употреблен глагол «быть» в значениях «существовать, иметь место» и «пребывать, находиться».

В качестве примера проанализируем несколько предложений с глаголом «быть» в прошедшем и будущем времени и посмотрим, в какой мере сохранится основной смысл сообщения при «опускании» глагола «быть» в форме настоящего времени.

«У Казбека с Шат-горою был великий спор» (Лермонтов, «Спор»), «В этой деревне будет своя школа», «На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка» (Лермонтов, «Бэла»), «Передо мною был густой лес» (Лермонтов, «Бэла»), «Направо был утес» (Лермонтов, «Бэла»), «Будет буря», «Была гроза».

Во всех приведенных предложениях формами «был», «будет» утверждается лишь бытие предмета или явления в прошедшем или в будущем, но им самим не принадлежит значение «происходил» «шел» (о споре), «появится» — ни тем более «откроется» (о школе) и т. д. Эти значения выражаются всем содержанием предложения и в настоящем времени могут быть выражены тем же содержанием целого высказывания без всякого глагола: «У нас с ним давний спор», «В этой деревне своя школа», «На нем офицерский сюртук» и т. п. При этом, поскольку для выражения категорий прошед-

[1] Как показало исследование В. И. Борковского «Синтаксис древнерусских грамот», «...нормальными, типичными для древнерусского литературного языка были предложения без форм *есть* и *суть*». Употреблялись же эти формы преимущественно «для нарочитого подчеркивания наличности лица — лиц, предмета — предметов» стр. 118). То же отмечено в исследовании чл.-корр. Академии Наук СССР Е. С. Истриной «Синтаксические явления Синодального списка 1-й Новгородской летописи» Пгр., 1923): «...языку Синодального списка вполне свойственны предложения без сказуемого в форме настоящего времени глагола «быти», и это сказуемое выступает лишь в случаях, где его присутствие связано с особыми условиями речи» (стр. 57).

шего или будущего времени были бы в последних предложениях вполне уместны формы глагола «быть», можно считать, что и в настоящем времени отсутствуют формы именно этого, а не других глаголов, а так как в настоящем времени формы глагола «быть» и в реальном, бытийном значении не обязательны (а в некоторых вариантах значения, как уже говорилось, и невозможны), то нет оснований не только считать подобные предложения (т. е. допускающие формы глагола «быть» в прошедшем и будущем времени) формально неполными, но даже и эллиптическими.

Перейдем к рассмотрению предложений с отсутствующим глаголом бытия в его основных вариантах значения.

Предложения с отсутствующим глаголом «быть» в значении «существовать», «наличествовать», «иметь место»:

«В степи — *только солнце*».
(Горький, «Скуки ради»).

В зависимости от реального значения подлежащего можно предположить опущение какого-либо полнозначного глагола; например, если подлежащее — существительное, обозначающее процесс, явление, действие, то считать опущенным глагол «произойти» и т. д.:

«*В городе провал*, и Крайзельман в тюрьме».
(Фадеев, «Разгром», гл. VI).

Но для этого нет необходимых оснований, так как в предложении констатируется лишь наличие самого факта: «имеет место провал», что выражено с достаточной полнотой самим отглагольным существительным и поэтому нет нужды ни в каких «подразумеваниях» иных, полнозначных глаголов.

Значение «происходить», «совершаться» может быть приписано в таком случае отсутствующему в настоящем времени глаголу «быть», но, как уже об этом говорилось, эти значения принадлежат не ему самому, а определяются подлежащим «субъектом», характеризуют формы его бытия.

Если при этом предложение по своему содержанию не является суждением, т. е. не содержит утверждения, а представляет собою описание отдельного явления, оно приближается к одночленной именной конструкции, констатирующей бытие явления в конкретных пространственно-временных условиях его протекания. Такая синтаксическая структура представляет собою разновидность бытийных предложений, главный член которых — существительное, обозначающее явление природы, или определенное действие, процесс и т. п. Для нее характерна постановка подлежащего после обстоятельственных слов группы сказуемого:

«*А в доме стук, ходьба*, метут и убирают».
(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

Показательно, что в приведенном примере перечисляются как однородные члены сказуемые «метут», «убирают» и главные члены именной конструкции — «стук», «ходьба».

«...*И в шалаше и крик и шум*».
(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. V).

«*В передней толкотня, тревога;*
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмоканье девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей».
(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. V).

«В реке бежит гремучий вал;
В горах безмолвие ночное».
(Пушкин, «Кавказский пленник»).

«Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость».
(Есенин, «Нивы сжаты...»).

«*Заутра казнь*».
(Пушкин, «Полтава», песнь II).

«Но он решил: *заутра бой*».
(Пушкин, «Полтава», песнь III).

Предложения с отсутствующим глаголом бытия в значении «иметься». Отсутствует форма «есть» в значении «имеется», что можно было бы считать эллипсисом, поскольку существуют и даже более обычны параллельные обороты с «есть»:

«— Слушай, Левинсон...— начал Морозка.— *У меня просьба к тебе*».
(Фадеев, «Разгром», гл. VIII).

Однако обороты с «есть» и без «есть» не всегда равнозначны. Оборот с «есть» подчеркивает самый факт наличия чего-то, им, в основном, утверждается, что то, о чем говорится, действительно «есть», «имеется», «наличествует»: «у меня есть время» и т. п. — и в таком значении «есть» не опускается.

Обороты без «есть» представляют собой скорее характеристику лица или предмета, которому приписывается нечто имеющееся у него, как его характеризующее в каком-то отношении; «есть» в таких случаях может опускаться:

«Хорошо *как у тебя три тысячи десятин в Каразинском уезде, да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки*,— а придешь и ты к нам».
(Л. Толстой, «Анна Каренина», ч. I, гл. 5).

«*Большое очарование в русской осени*».
(Эренбург, «Буря», ч. II, гл. 7).

«Перед Онегиным собрался
Заимодавцев жадный полк.
У каждого свой ум и толк».
(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. I).

Наконец, имеются конструкции без «есть», близкие по значению к только что рассмотренным, т. е. тоже представляющие собою характеристику лица или предмета.

Это предложения типа: «у нее (него и т. п.) прекрасный характер», «...прекрасное сердце», «...прекрасный голос», «...хорошая голова» и т. д. — со значением, близким к «характер у нее прекрасный», «голова у него хорошая», т. е. содержащие характеристику свойств лица или предмета и тем самым характеризующие их владельца, но не представляющие собой утверждения о наличии названных свойств у их владельца: (ср.: «у него есть характер», «у нее есть голос», где невозможен пропуск «есть»). Разумеется, что ни о каком эллипсисе в этих случаях нет и речи — предложения должны рассматриваться как полные и по составу. Близко к ним примыкают конструкции типа: «у меня грипп», «у нее малярия» и т. п., «У детей — цынга и малокровие» (Фадеев, «Разгром», гл. VI).

Это — предложения, характеризующие, определяющие состояние лица. «Есть» в них может появиться лишь при наличии ударения на нем, причем все предложение приобретает характер утверждения именно наличия названного состояния: гриппа, цынги и т. п. — как возражение на высказанное противоположное мнение, сомнение и т. п.

В прошедшем и будущем времени и условном наклонении в рассмотренных конструкциях появляются формы глагола «быть» как выразители этих категорий.

Предложения с отсутствующим глаголом бытия в значении «находиться», «пребывать». Предложения с отсутствующими формами настоящего времени глагола «быть» в значении «находиться», «пребывать», т. е. «быть где-то», представляют собою самую обширную и разнообразную по характеру структур группу предложений с отсутствующими формами глагола бытия.

Предложения эти не только нельзя считать относительно неполными[1], но нельзя причислять их к настоящим эллиптическим, поскольку отсутствующие формы настоящего времени глагола «быть» в значении «находиться» невозможно восстанавливать; предполагать же эллипсис других глаголов, например глагола «находиться», нет достаточных оснований, так как в будущем и в прошедшем времени появляются в подобных предложениях (или всегда могут быть в них введены) формы глагола «быть».

Однако рассматриваемая структура предложений ограничивается в своем употреблении языком разговорным и художественно-поэтическим; в научно-деловом языке ей действительно соответствует неэллиптическая

[1] А. А. Шахматов считает «неполными» предложения типа «Отец в городе» (см. «Синтаксис русского языка», § 192); то же утверждается и в стабильном учебнике для средней школы (§ 27), поскольку в них опущен глагол «быть» в его реальном бытийном значении, а не в значении связки; однако восстанавливать в этих предложениях можно было бы по смыслу речи не архаическое «есть», но лишь близкое ему здесь по значению «находится», но это уже иная синтаксическая структура иного, как увидим, стилистического плана — чисто книжного.

структура с глаголом «находиться», «лежать», причастием «расположен» и подобными синонимическими обозначениями, являющаяся нормой.

Таким образом, предложения с отсутствующими формами 3-го лица настоящего времени глагола «быть» в значении «находиться» надо считать полными предложениями современного разговорного и художественно-поэтического литературного языка, аналогичные же предложения с глаголами «находиться» и т. п. — параллельными им структурами книжного научно-делового языка.

Порядок следования подлежащего и сказуемого может быть прямой и обратный.

При прямом порядке сказуемое указывает на местонахождение подлежащего или содержит ряд иных его характеристик — его состояния, положения и т. д. Предложение двучленно и строится по типу суждения, представляя собою — в зависимости от содержания и характера высказывания — большее или меньшее приближение к действительному суждению, если понимать под суждением высказывание, содержащее оценку или сообщающее нечто новое, имеющее активно-познавательное, действенное значение, например:

«— *Место сбора в Рыбачьем.* Идите ускоренным шагом и вышлите ко мне связных».

(Симонов, «Дни и ночи», гл. I).

«*Я с теми,*
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден».

(Маяковский, «Хорошо!», 17).

Предложения, представляющие собой простую констатацию факта, простое описание предмета или лица в его реальном окружении — в его состоянии, пространственном положении и т. п., в той или иной степени приближаются к именным конструкциям, порой граничат с бытийными, поскольку их не только структурным, но и смысловым центром является описываемый предмет.

«Наконец, *карета у крыльца.* Тетеньки вылезают из нее и кланяются отцу».

(Салтыков-Щедрин, «Пошехонская старина», гл. VII).

При обратном порядке главных членов могут иметь место иные, не совпадающие с грамматическими подлежащим и сказуемым, формы выражения субъекта и предиката и несколько иной тип предложения, приближающийся к «одночленному высказыванию» и даже к односоставному — к именной конструкции.

В зависимости от содержания и функциональной направленности высказывания, предложение в большей или меньшей степени приближается к расчлененному суждению.

На первом месте в предложении — характеризуемый предмет речи, «субъект суждения», за ним — предикативное сообщение о нем. Например:

«— *Во Владимиро-Александровском и на Ольге — японский десант.* Весь Сучан разгромлен».

(Фадеев, «Разгром», гл. VI).

Если предложение описательного характера, то при той же формально-синтаксической структуре оно несколько менее расчленено на субъект и предикат: характеризуемый предмет речи, стоящий в начале предложения, и следующее за ним его предметное же описание, сочетаясь друг с другом, в целом рисуют изображаемое явление. При этом никакой необходимости в глагольной части сказуемого нет, так как для характеристики описываемого предмета речи существенно лишь утверждение бытия, наличия тех предметов, которые его определяют; утверждение же бытия не нуждается в глагольных показателях при вневременной констатации фактов или для изображения их в плане настоящего времени. Таким образом, хотя отсутствует не глагол-связка, а реальный бытийный глагол, предложения по существу не являются даже эллиптическими. Вставка любого глагола изменила бы оттенок значения и структуру этих своеобразных «двучленно-именных» конструкций. Например:

«На улицах кабак, нечистота».

(Гоголь, «Ревизор», д. I).

Здесь констатируется наличие «кабака», нечистоты на улицах, что и служит их характеристикой.

Описываемая конструкция особенно широко распространена в художественно-поэтической речи, как прием изображения явления, обрисовки образа:

«В окнах
продукты:
вина,
фрукты».

(Маяковский, «Хорошо!», 19).

«На рейде
транспорты
и транспорточки,
драки,
крики,
ругня,
мотня».

(Маяковский, «Хорошо!», 16).

«По меже на переметке
Реведа и рива кашки».

(Есенин, «Край любимый...»).

«Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою —
Шелуха сырых яиц».

(Есенин, «В хате»).

Близкая к рассмотренной конструкция служит для описания внутреннего состояния или внешнего вида персонажей:

«Словом, большинство настроено враждебно, и *на лицах торжество*, как у победителей».

(Юрьев, «Записки», ч. I).

«...Является Мутовкина. Она гораздо представительнее своей предшественницы; одета в платье из настоящего терно, *на голове тюлевый чепчик с желтыми шелковыми лентами, на плечах новый прадедамовый платок*».

(Салтыков-Щедрин, «Пошехонская старина», гл. XV).

«В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги».

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. I).

Как видим, предложения рассматриваемой конструкции сочиняются как однородные с двучленными субъектно-предикатными предложениями, выполняющими ту же функцию внутренней или внешней характеристики персонажей.

По мере перенесения смыслового центра тяжести на второй компонент сочетания — на существительные в именительном падеже, обозначающие предметы, наличие которых утверждается, конструкция приближается к односоставной именной типа бытийной:

«В каждом поезде толпа разнообразных людей, разнообразно одетых».

(М. Горький, «Скуки ради»).

Предложение может быть отчетливо двучленным в интонационном отношении, может разделяться паузой на две части, и это может не совпадать с членением предложения на субъект и предикат; пауза же и интонация в этом случае служат своеобразными показателями отсутствия глагольной части сказуемого.

Так, при выражении пространственных отношений в первой части может указываться характеризуемое место действия, направление и т. п., а во второй, после выделительной или заместительной паузы, — тот предмет или явление, наличие которого и характеризует названное в начале предложения представление.

И эти предложения не могут быть названы ни неполными, ни в полном смысле слова эллиптическими, поскольку отсутствующие глагольные формы и не являются необходимыми, и в той мере, в какой могут ожидаться, замещены паузой и соответствующей интонацией:

«По их тону и по выражению лиц никак нельзя было предположить, что там, *на правом берегу*, куда они так спешили,— *осажденный город*, на улицах которого каждую минуту рвались снаряды...»

(Симонов, «Дни и ночи», гл. III).

«— Впереди лежит площадь,— развертывая план города, начал объяснять он.— *На этой стороне — дома, уже взятые немцами*».

(Симонов, «Дни и ночи», гл. IV).

Особенно отчетливо членение предложения на части с паузой между ними при сопоставлении членов одного предложения с соответственными членами другого:

«...Ямщик кнутом махнул:
«Эй вы!» и нет уж городка,
Последний дом исчез...
Направо — горы и река,
Налево — темный лес...»
(Некрасов, «Русские женщины», «Княгиня Трубецкая», VI).

«На пути — горючий белый камень
За рекой — поганая орда».
(Блок, «На поле Куликовом»).

Но и наличие паузы не может помешать предложению приближаться к односоставному бытийному, если первая часть не представляет собою характеризуемого предмета, и смысловой центр тяжести перемещается ко второй, предметно-именной части предложения, и логические ударения уже не располагаются симметрично на его обеих частях:

«За городом —
поле.
В полях —
деревеньки.
В деревнях —
крестьяне...»
(Маяковский, «Хорошо!, 19).

«А за деревнею —
дыра
И в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно».
(Маяковский, «Необычайное приключение...»).

«Тяжкий плотный занавес у входа,
За ночным окном — туман».
(Блок, «Шаги командора»).

«И вот уехала она
С избранником своим.
Пред нею чудная страна,
Пред нею — вечный Рим...»
(Некрасов, «Русские женщины», «Княгиня Трубецкая», VI).

«Шли долго, долго... Наконец,
Дверь визгнула,— и вдруг
Пред нею он... живой мертвец.
Пред нею — бедный друг!»
(Там же).

Первая часть приведенных предложений не характеризуется их второй частью, которая и содержит основное сообщение — сообщение о

ИРЯ
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА
им. В. В. ВИНОГРАДОВА

явлении, его наличии, его возникшем бытии. Пауза выполняет отчасти выделительную функцию, отчасти, вместе с интонацией, служит для выражения внезапности возникновения явления. Обычно же, когда нет намерения выразить внезапность, паузы нет, и предложение еще менее расчленено, еще ближе к именной конструкции, и, следовательно, еще меньше оснований говорить о каком-либо эллипсисе. Примеры:

«*Тут же и театральные психопатки*, отличавшиеся своим неистовством во время вызовов артистов».

(Юрьев, «Записки», ч. I).

«— *А тут ваш батюшка с мадамой ва пикетом*».

(«Горе от ума», д. I).

«*Пред ними лес*; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе».

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. V).

«*Пред нею незнакомый двор,*
Конюшня, кухня и забор».

(Там же, гл. VII).

«*Под ухом*
самым
лестница
ступенек на двести».

(Маяковский, «Хорошо!»).

«*За кормой лунища.*
Ну и здорово!»

(Маяковский, «Товарищу Нетте...»).

б) Предложения с отсутствующими вспомогательными (по терминологии Шахматова) или связочными (по Пешковскому) глаголами[1]—«стать», «сделаться» и т. п., а также и отсутствующей связкой «быть» в прошедшем или будущем времени и в условном наклонении.

Поскольку вспомогательный и связочный глаголы, с одной стороны, будучи почти лишены лексического значения, не подсказываются контекстом, а с другой стороны, необходимы как выразители грамматических категорий, они, как правило, не опускаются и могут не называться лишь тогда, когда сам состав предложения достаточен для выражения соответствующих лексико-грамматических значений. Это имеет место в следующих случаях:

1) В сложносочиненном предложении, в котором вспомогательный глагол или связка, так же как и полнозначные глаголы, могут

[1] По Мещанинову — вспомогательный глагол «ослабляется в своем собственном лексическом значении и превращается в связку».— И. И. Мещанинов. Глагол, изд. АН СССР, М.—Л., 1949, гл. III, Вспомогательный глагол и связка, стр. 158.

www.ruslang.ru

не повторяться в одном из сочиненных предложений, если названы в другом (см. § 17).

2) При сравнительной степени, при которой могут отсутствовать глаголы «делаться», «становиться», поскольку сравнительная степень по своему лексико-грамматическому значению достаточна для выражения сказуемого. Поэтому соответствующие конструкции надо считать полными. Они имеют место в речи разговорной и в художественно-поэтической и могут рассматриваться как параллельные аналогичным конструкциям научно-делового языка, для которых типично наличие связочного глагола при сравнительной степени.

При отсутствии связочного глагола категория времени выступает ослабленно, время определяется контекстом, да и самое определение его не существенно, так как сравнительная степень описывает процессуальное состояние, распадающееся на ряд моментов, и по отношению к нему могут быть поэтому употреблены как формы настоящего, так и формы прошедшего времени.

Примеры:

«— Кажется, *дождик полегче*».

(Л. Толстой, «Война и мир»).

«Видимо, на сцене не знали, что делать, что предпринять. *А крики все сильней, все сильней*».

(Юрьев, «Записки», ч. I).

«*Спор громче, громче*: вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский».

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. V).

3) В предложениях с формами условного и сослагательного наклонения может опускаться форма прошедшего времени от «быть» при наличии частицы «бы» или союза «чтобы», т. е. при наличии хотя бы одного из компонентов названных наклонений, что уже достаточно для выражения соответствующих значений.

Примеры:

«*Если бы мелочь*, послать бы на рынок и купить хоть сайку».

(Гоголь, «Ревизор», д. II).

«*Ну, разумеется, к тому б*
И деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он балы...»

(«Горе от ума», д. I).

«А мне
в действительности
единственное надо —
Чтоб больше поэтов
хороших
и разных».

(Маяковский, «Послание пролетарским поэтам»).

Предложения с отсутствующим модально-связочным словом, «надо», «нужно», «необходимо» и т. п. — структуры полные.

1) При неопределенной форме глагола в сказуемом:

в сочетаниях неопределенной формы с частицей «бы» со значением желательно-сослагательного наклонения, например:

«*Не слушать бы ее вовсе*»

(Гоголь, «Ревизор», д. III).

«*Вот вас бы с тетушкою свесть*,
Чтоб всех знакомых перечесть».

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

«*Вам бы давно догадаться, Иван Семенович*».

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

«*Мне бы жить и жить*,
Сквозь годы мчась...»

(Маяковский, «Товарищу Нетте...»);

при инфинитивных сказуемых, выражающих долженствование[1]:

«Бессеменов. Мы свое прожили, *вам — жить*».

(Горький, «Мещане», д. I).

«Артемий Филиппович. Что же, Антон Антонович — *ехать парадом в гостиницу?*

Аммос Федорович. Нет, нет! *Вперед пустить голову, духовенство, купечество...*»

(Гоголь, «Ревизор», д. I).

«Ну, натурально, пошли толки: как, что, *кому занять место?*»

(Гоголь, «Ревизор», д. III).

«Вам,
которые
с Выборгской стороны,
вам
заходить
с моста Литейного».

(Маяковский, «Хорошо!», 5).

2) В именных конструкциях, при сравнительной степени и т. п. (где в параллельных грамматически развернутых структурах можно предполагать в качестве промежуточного звена модально предикативное слово с инфинитивом):

«*Мне бы только рублей двести, или хоть даже и меньше*».

(Гоголь, «Ревизор», д. II).

«Ах! *От господ подалей!*»

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

[1] По мере того как выражение долженствования приближается к выражению приказания, т. е. инфинитив начинает выступать в функции повелительного наклонения, модально-связочное слово делается излишним.

Рассмотренные синтаксические конструкции принадлежат разговорной речи и являются в ней полными.

Предложения с отсутствующими формами инфинитива или опущенными другими глагольными формами при наличии модально-связочных слов: «надо», «нужно» и т. п., слов категории состояния: «пора», «время» и т. п., сравнительной степени глаголов волеизъявления, желания и т. п., требующих инфинитива, в сочетании с именем или наречием.

Хотя формально подобные сочетания нуждаются в дополнении их инфинитивной или другими формами глагола, однако в смысловом отношении они полны, и лексико-грамматическое значение одного из наличествующих компонентов сказуемого (модально-связочного слова и т. д.) достаточно для его выражения.

Подобные конструкции характеризуют разговорную речь и должны считаться в ней полными[1]. Примеры:

«Барыня. Да ведь как же? *Полную дезинфекцию надо*».

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I).

«Дулебов. Да, *в таком случае лучше лаской*».

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

«Бакин. *Однако, пора и за дело*».

(Там же).

«Теперь,
запевай
и домой можно...»

(Маяковский, «Хорошо!», 15).

«Чацкий. «*Велите ж мне в огонь: пойду* как на обед».

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

Отрицательные предложения.

Отрицательные предложения с отсутствующим бытийным (формы «нет», «не было» и т. д.) или другим глаголом в сказуемом при наличии в предложении отрицательных частиц «ни — ни», «ни» в сочетании с именем или отрицательного местоимения «никого», «ничего». Имеют место в языке разговорном и художественно-поэтическом.

Наибольшей смысловой полнотой обладают предложения с отсутствующим «нет» (т. е. со значением настоящего времени или во вневременном плане).

---

[1] Рассматриваемый случай отсутствия возможного инфинитива отличается от ранее рассмотренного на стр. 54—55: там «опускание» вызывалось тем, что инфинитив был назван в предшествующем контексте или выяснялся на основании его, благодаря чему предложение без инфинитива являлось вне контекста неполным в смысловом отношении, а следовательно, и по составу. В рассматриваемом же здесь случае лексический состав предложения достаточен для выражения смысла, так что если и можно говорить, то лишь о чисто формальном эллипсисе, не создающем неполноты.

«А н и с ь я. *Ни работы от тебя, ни радости*».

(Л. Толстой, «Власть тьмы», д. I).

«Ч а ц к и й. *Ни [illegible] волос любви*».

[illegible]едов, «Горе от ума», д. I).

«Весна — она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле;
Бессмертьем взор ее сияет
И ни морщины на челе».

(Тютчев, «Весна»).

«Время —
вещь
необычайно длинная:
были времена —
прошли былинные.
Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей».

(Маяковский, «Хорошо!», 1).

Значение времени выступает в отрицательных предложениях описательного характера несколько ослабленно, благодаря чему равно возможно не только опускание «нет», но и «не было» и часто равно возможно восстановление как той, так и другой формы.

Поскольку в таких случаях время узнается лишь из контекста, предложения с неназванными формами прошедшего или будущего времени глаголов можно было бы отнести к предложениям неполного формального состава. Однако, повидимому, рассматриваемые предложения вернее считать особой разновидностью именных конструкций (во всяком случае — предложения с неназванным бытийным глаголом), конструкций, выражающих отрицание бытия предмета либо безотносительно ко времени, либо относительно времени повествования — и не нуждающихся в обязательном обозначении времени.

«Я вошел в хату: две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель.

На стене ни одного образа — дурной знак!..»

(Лермонтов, «Тамань»).

«Воздух все больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании... *Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка*».

(Чехов, «Степь»).

«С о ф ь я. Забылись музыкой и время шло так плавно,
Судьба нас будто берегла,
Ни беспокойства, ни сомненья...»

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

«Все было просто: пол дубовый,
Два шкафа, стол, диван пуховый,
Нигде ни пятнышка чернил».

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. II).

Возможно отсутствие не бытийного глагола, а иных глаголов, например, глаголов восприятия:

«А кругом все молчало. *Ни звука, кроме вздохов моря*».

(Горький, «Челкаш»).

«Четверть часа спустя, Печорин вернулся с охоты; Бэла бросилась ему на шею, и *ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие*».

(Лермонтов, «Бэла»).

«С о ф ь я. Возьмет он руку, к сердцу жмет,
Из глубины души вздохнет,
Ни слова вольного, и так вся ночь проходит».

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

«Рогдай угрюм, молчит — *ни слова*»...

(Пушкин, «Руслан и Людмила»).

Возможно отсутствие «глагольных сказуемых при местоимениях «никого», «ничего»:

«— Бегал по жаре, как сумасшедший,— *никого!* — говорил Минорный».

(Горький, «Ошибка»).

«Ф а м у с о в. Скромна, *а ничего кроме*
Проказ и ветра на уме».

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

12. ИМЕННЫЕ ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Особую группу тоже формально-эллиптических, а по существу полных именных структур, представляют собою предложения разговорного языка, выражающие требование, приказание, просьбу, пожелание, приветствие и т. п. Выражая волеизъявление говорящего, они характеризуются повелительным тоном речи, обычно сочетающимся с восклицательной интонацией.

Глагольные формы сказуемого в них отсутствуют, однако именная или наречная часть их, произносимая с соответствующей интонацией повеления, просьбы, приветствия и т. п., достаточна для выражения воли или чувства говорящего, что и составляет функцию рассматриваемых предложений. Таким образом, интонация является в этих предложениях заместителем отсутствующих форм глагольного сказуемого и одним из выразителей соответствующих значений.

В основном же характер требуемого, но не называемого действия совершенно ясен из содержания предложения, определяется значением его именной части и, поскольку предложения эти имеют место в разговорном языке, самой обстановкой речи и широким общим социальным опытом говорящих.

Это последнее — широкий социальный опыт говорящих — является решающим из факторов, обусловливающих рассматриваемую структуру. Это не узкий частный опыт группы беседующих, позволяющий им с предельным индивидуальным разнообразием строить свою речь, но тот

коллективный народный опыт, накопленный в процессе общественно-производственной языковой практики, на основе которого вырабатываются или некие общие формулы речевого общения, наполняемые каждый раз сообразно конкретной обстановке соответствующим содержанием, или даже лексически установившиеся, устойчивые фразеологические сочетания — предложения вроде формул приветствия и прощания («Покойной ночи» и т. п.), типических формул приказаний, отдаваемых в определенной обстановке, например, «Руки вверх!», «Ни с места!», «Огонь!» и т. д.

Однако не только эти фразеологические устойчивые сочетания вроде «Покойной ночи!», «Счастливого пути!», «С новым годом!» (называемые Пешковским «стационарными» неполными предложениями) надо безусловно считать полными предложениями именно в силу их типизированности[1] и поэтому совершенной понятности без всяких пополнений, но надо относить к полным и такие формально эллиптические конструкции, которые наполняются каждый раз новым лексическим содержанием, и тем не менее тоже являются типизированными как общие структурные формулы речевого общения в определенной обстановке.

Рассмотрим некоторые из таких структур.

а) Именная конструкция, выражающая категорическое и подлежащее немедленному исполнению требование чего-либо. Главный член этой конструкции — имя в винительном или родительном (если требуется часть целого или некоторое, неопределенное количество вещества) падеже. Интонация — повелительная, повелительно-восклицательная.

«— *Горячей воды!* — говорит он ей на ходу.— *И чистый халат*, а этот сегодня же выстираете».

(Панова, «Спутники», I, гл. 4).

«— *Носилки!* — сказал Данилов, а Лена нагнулась и подняла мальчика, как маленького ребенка».

(Там же).

«В а с и л и й Л е о н и д ы ч. *Воды теплой и чаю*».

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I).

«Е л е ц к и й. *Бутылку шампанского*».

(Тургенев, «Нахлебник», д. II).

«Е л е ц к и й. Сядемте — хотите? Человек, *стулья*».

(Там же, д. I).

---

[1] «Степень осознания неполноты неполного предложения обратно пропорциональна степени его типизации»,— пишет Пешковский и сам отмечает далее, что предложения типа «С новым годом!», «С приездом» — такие неполные предложения, которые в п о л н о м виде употребляются или исключительно редко, или во всяком случае реже, чем в неполном. Понятно, что неполнота их вскрывается лишь грамматическим анализом (А. М. П е ш к о в с к и й, Русский синтаксис, стр. 362). Но если рассматриваемая неполнота только формальна и не только не мешает пониманию смысла предложения, но и не осознается как неполнота, она уже в силу этого не является неполнотой и представляет собой новый живой тип высказывания — предложения.

«Эй! *водки!* Граф, прошу отведать».

(Пушкин, «Граф Нулин»).

«— Делайте, что хотите,— сказал Петр Дмитрич, прерывисто дыша:— только ради бога *скорей доктора или акушерку!*»

(Чехов, «Именины»).

Рассматриваемая конструкция вряд ли может быть признана эллиптической с генетической точки зрения, т. е. возникшей из «полного» глагольного предложения, чему нет и доказательств. Широта ее распространения в разговорном языке свидетельствует о ее первичности как именной структуры. Оформление ее глаголом, возможно, — явление позднейшее, приведшее к образованию параллельных глагольных и безглагольно-именных функционально однородных структур.

б) Предложения, содержащие повеление или приглашение совершить определенное действие, двинуться в определенном направлении и т. п., состоят из имени с предлогом или наречия; интонация — повелительно-восклицательная; обычно налицо эмфаза.

«— *За мной!*—крикнул Сабуров».

(Симонов, «Дни и ночи», гл. IV).

«Мгновенно овладев собой, он громко отозвался: «Свои!— и, круто поворачивая коня, успел шепнуть Аксинье:— *Назад! За мной!*»

(Шолохов, «Тихий Дон»).

«Граждане, *за ружья!*
К оружию, граждане».

(Маяковский, «Революция»).

«Это
партия звала:
«Пролетарий, *на коня!*»

(Маяковский, «Хорошо!», 15).

«*В поля*, друзья! скорей, скорей».

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. VII).

Повелительные предложения могут образовывать своего рода двучленную безглагольно-именную конструкцию, например:

«— *Саперов вперед, автоматчиков вперед.* Поняли?»

(Симонов, «Дни и ночи», гл. IV).

Сюда же относятся устойчивые сочетания типа: «Руки вверх!» и т. п., выработавшиеся в определенной коллективной общественной практике.

в) Предложения повелительные «образа действия», состоящие из сравнительной степени: «Скорей!» «Тише!», «Осторожней!», «Правее!» и т. п.:

«— *Тише!* Здравствуй! — шопотом сказал Григорий».

(Шолохов, «Тихий Дон»).

«Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.— *Громче!*— сказала графиня».

(Пушкин, «Пиковая дама»).

г) Предложения повелительно-отрицательные, имеющие в своем составе отрицательные частицы «ни», «ни-ни» или отрицательные местоимения: «Ни с места!», «Ни шагу назад!» и т. п., представляющие собою в большинстве случаев устойчивые сочетания:

«Никаких разговоров! — Левинсон вразумительно дергал его за пуговицу».
(Фадеев, «Разгром», гл. VI).

д) Предложения, выражающие пожелания, приветствия и тому подобные именные конструкции, состоящие из существительного в родительном падеже с определением, типа: «Покойной ночи!», «Приятного аппетита!» и т. п., реже — в именительном падеже: «Доброе утро», «Счастливый путь!» и т. п. [некоторые из последних — уже архаизмы, вроде «Покойна ночь» (Капнист, «Ябеда», III)[1]]; из существительного с предлогом: «С добрым утром!», «С новым годом!», «На здоровье!» и т. п.

Предложения эти, как тип, характеризуются эмфазой и восклицательной интонацией, но в речевом общении эти интонационные черты могут почти редуцироваться.

Почти все предложения этого вида представляют собой устойчивые фразеологические сочетания, как таковые не нуждаются ни в каких пополнениях и должны рассматриваться как совершенно полные предложения современного русского языка, хотя бы они и являлись эллиптическими в генетическом плане. Примеры:

«Наталья Павловна встает:
«Пора, прощайте: ждут постели.
Приятный сон».
(Пушкин, «Граф Нулин»).

«Чацкий. Вы рады! *В добрый час».*
(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

«(*Астров пьет водку*).
Марина. *На здоровье, батюшка* (*низко кланяется*).
(Чехов, «Дядя Ваня», д. IV).

13. ИМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Особую группу составляют именные предложения качественно-оценочного характера, своеобразной особенностью которых является то, что они представляют собою только предикативную часть высказывания, предикат, субъект которого всегда вне их: в живом, устном языке этот субъект в самой окружающей действительности, в книжно-письменном литературном языке он ясен из контекста, излагающего ситуацию, — и в то же время предложения эти совершенно полны по составу, являясь особым живым типом высказывания.

По своей структуре это односоставные (в традиционном, шахматовском понимании термина) именные предложения, главный член которых по зна-

[1] Пример из Синтаксиса русского языка А. А. Шахматова, § 42.

чению близок к сказуемому и представляет собою обычно экспрессивную характеристику лица или предмета, названного в предшествующей речи или ясного из ситуации, или оценку содержания самой предшествующей речи, или, наконец, оценку самой ситуации: событий и явлений окружающей действительности.

Основную группу — группу эмоционально-оценочных предложений составляют именные конструкции, главный член которых выражен существительным в именительном падеже: «Позор!», «Молодцы!», «Какая прелесть!»

Главный член их может быть также выражен кратким качественным прилагательным или наречием: «Глупо!», «Стыдно!» [и даже глагольной формой — последняя подгруппа может быть уже отнесена как структура к «неполносоставным», например: «Никуда не годится!», «— Певицы обычно все такие полные, а играют все девушек. *Невяжется никак*» (Симонов, «Дни и ночи», гл. X)].

Предложения, состоящие из одного главного члена, выраженного именем существительным и близкого по значению к сказуемому, были впервые описаны и выделены в особую группу, как п о л н ы е односоставные, А. А. Шахматовым, который назвал их «именными сказуемо-бесподлежащными»[1]. До него подобные предложения считались «неполными»[2]. Повидимому, к полным Шахматов склонен относить и предложения с главным членом-наречием, называя их безличными-наречными (см. § 104), но относит к неполным предложения с главным членом — прилагательным, предполагая при нем пропуск указательного местоимения «это» (см. § 106).

Отличительной чертой односоставных «именных сказуемо-бесподлежащных» предложений Шахматов считает особую экспрессивную интонацию, называемую им эмфазой, которая, по его мнению, заменяет неназванное подлежащее и тем позволяет считать эти предложения полными[3].

Хотя эмфаза и не может заменять подлежащее, — в чем кстати и нет нужды, — однако она на самом деле составляет характеристический признак рассматриваемых предложений — как особого типа высказывания.

Но эмфаза — только внешний выразитель сущности исследуемых предложений; сущность же их — в характере отношения к объективной действительности, находящем свое выражение в эмфазе и особенно в лексическом с о с т а в е предложений.

Перейдем к детальному рассмотрению названных предложений, для чего распределим их на подгруппы.

---

[1] См.: А. А. Ш а х м а т о в. Синтаксис русского языка, § 39, 50, 51 и др.

[2] См.: А. М. П е ш к о в с к и й. Русский синтаксис, гл. XVI, XX.

[3] Однако, вступая в противоречие со своим же определением группы полных односоставных именных сказуемо-бесподлежащных предложений, Шахматов относит к ним и предложения совсем другого типа — предложения-ответы, лишенные эмфазы, например: «А это что? — Генерал указывает на покрывало.— «Пятно-с»,— трепещущим голосом говорит сиделка» (Слепцов, «Сцены в больнице»). (А. А. Ш а х м а т о в. Синтаксис русского языка, § 39). Подобные предложения не будем относить к качественно-оценочным.

а) Наиболее ярко выраженными и типичными односоставными качественно-оценочными предложениями являются синтаксические конструкции, главный член которых выражен именительным падежом существительного, которое по своему лексическому значению может быть определено как «качественно-оценочное» (хотя такой рубрики для существительных грамматика и не указывает), как экспрессивное и выражающее категорию субъективной оценки. К таким относятся из существительных, характеризующих лица, слова бранные, уничижительные, ласкательные, хвалебные и т. п., например, мерзавец, невежа и т. п.; ничтожество, девчонка и т. п.; душечка, милашка и т. п.; герой, молодец и т. п.; из существительных, характеризующих предметы, явления, ситуацию или предшествующее высказывание в целом, — слова с отвлеченным значением качества, свойства, состояния, такие, как: прелесть, гадость, пошлость, низость, вздор, пустяки, ерунда, чепуха, глупости, стыд, срам, позор и т. п.

Предложения могут состоять из одного такого существительного, которое само достаточно для выражения соответствующей оценки, или качественно-оценочное существительное может сочетаться с прилагательным, характеризующим степень качества, выраженного лексическим значением существительного: «круглый невежда», «страшный мерзавец» и т. п., или же существительное выступает в сочетании с «восклицательными» местоимениями и частицами: «какой», «экий», «что за», просторечными «ну и», «ай да» и т. п.

Предложения эти представляют собой целую гамму оттенков — от почти рефлекторной эмоционально-речевой реакции, выражающей негодование, возмущение, презрение, восторг, нежность и т. п. — до эмоционально-оценочного суждения об уже известном лице, предмете или явлении. Хотя субъект оценочного высказывания остается неизвестным вне ситуации и контекста, однако предложения совершенно полны как определенные структуры, поскольку подстановка любого подлежащего изменяет и характер высказывания, и построение этих предложений.

Предложения, содержащие экспрессивную качественно-оценочную характеристику лиц, без определения:

«Вершинин. Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город. *Молодцы!*»

(Чехов, «Три сестры», д. III).

«Серебряков. Что ты хочешь от меня? И какое ты имеешь право говорить со мною таким тоном? *Ничтожество!*»

(Чехов, «Дядя Ваня», д. III).

«Негина. ...Но я немножко обиделась, сказала, что коли моя квартира ему не нравится, так никто его не принуждает бывать здесь.

Мелузов. *Молодец*, Саша!»

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

«Марья Антоновна. *Ах, милашка!*»

(Гоголь, «Ревизор», д. III).

В сочетании с восклицательными местоимениями или частицами:

«Вершинин. О если бы вы видели ее сегодня! *Что за ничтожество!*»

(Чехов, «Три сестры», д. II).

«Городничий. Полно вам право, *трещотки какие!*»

(Гоголь, «Ревизор», д. III).

«— А Подколесина все нет как нет. *Экой мерзавец!*»

(Гоголь, «Женитьба»).

«Хлестаков. *Экое дурачье!* Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину».

(Гоголь, «Ревизор», д. IV).

Рассмотрение примеров показывает, что попытка вставить подлежащее резко изменит всю структуру и самый характер высказывания (ср. «Молодцы!» и «Солдаты — молодцы», «Что за ничтожество!» и «Моя жена — ничтожество» и т. д.), превращая его из выразителя отношения в двучленное суждение.

Несколько меньше изменила бы характер высказывания подстановка личного местоимения, особенно постпозитивного: «Молодец ты, Саша!» и т. п. или после восклицательного местоимения или частицы: «Экое они дурачье!» Но дополнение высказывания подстановкой личного местоимения, все же изменив все строение предложения, не обогащает смысла, подстановка же наименования определяемого лица еще более резко изменяет и характер, и структуру предложения: переводит его в совершенно другой качественный тип, почему и недопустима.

Близкой разновидностью только что рассмотренных предложений являются такие, главный член которых выражен не качественно-оценочным существительным, а существительным, служащим обозначением лица или лиц (человек, женщина, девочка, ребенок, люди, народ и т. п.), в сочетании с качественным прилагательным, с которым составляет неразложимое сочетание, выражающее одно понятие («мерзкий человек» — в смысле «мерзавец» и т. п.), в целом относящееся к характеризуемому субъекту:

«Вершинин. Я люблю, люблю, люблю... Люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся... *Великолепная, чудная женщина!*»

(Чехов, «Три сестры», д. II).

«Кулыгин. А затем вечер проведем у директора. Несмотря на свое болезненное состояние, этот человек старается прежде всего быть общественным. *Превосходная, светлая личность. Великолепный человек*».

(Там же, д. I).

«Наташа. Это необыкновенный ребенок.

Соленый. Если бы этот ребенок был мой, то я изжарил бы его на сковородке и съел бы (*идет со стаканом в гостиную и садится в угол*).

Наташа (*закрыв лицо руками*). *Грубый, невоспитанный человек!*»

(Там же, д. II).

«Федор Иваныч. Как давеча Леонид Федорович хотели было вступиться, да увидали, что она в экстазе, захлопнули дверь. *Редкой доброты человек!*»

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I).

«Городничий. Проклятый купчишка Абдулин — видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. *О, лукавый народ!*»

(Гоголь, «Ревизор», д. I).

Вместо качественного определения или в соединении с ним могут выступать в сочетаниях с названными существительными восклицательные местоимения и частицы:

«Наташа. ...В его комнату мы поместим Софочку. *Дивный, чудный ребенок! Что ва девчурка!*»

(Чехов, «Три сестры», д. IV).

«Вершинин. Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город. *Молодцы!* (*Потирает от удовольствия руки*). *Золотой народ! Ах, что ва молодцы!*»

(Там же, «Три сестры», д. III).

Наконец, экспрессивная качественно-оценочная характеристика лица может быть выражена и не только качественно-оценочным существительным или сочетанием существительного с качественными прилагательными и восклицательными местоимениями и частицами, но и любым существительным, употребленным как бранное (т. е. являющееся таким с точки зрения говорящего), уничижительное, хвалебное, ласкательное и т. п. или употребленным в переносном значении, как выражающее определенные свойства, или в ироническом плане и т. д. Например:

«Войницкий. Я, кажется, скоро начну презирать эту женщину! Застенчива, как девчонка, и философствует, как старый, преукрашенный добродетелями дьячок! *Кислота! Простокваша!*»

(Чехов, «Леший», д. III).

«Треплев. ...Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите! Не признаю я вас! Не признаю ни тебя, ни его!

Аркадина. *Декадент!..*

Треплев. Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездарных пьесах!

Аркадина. Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня! Ты и жалкого водевиля написать не в состоянии. *Киевский мещанин! Приживал!*

Треплев. *Скряга!*

Аркадина. *Оборвыш!* (*Треплев садится и тихо плачет*).

Аркадина. *Ничтожество!* (*Пройдясь в волнении*). Не плачь. Не нужно плакать... (*Плачет*). Не надо...»

(Чехов, «Чайка», д. III).

Предложения, выражающие экспрессивную, качественно-оценочную характеристику предмета, явления, предшествующего высказывания или ситуации в целом.

Без определения:

«Чебутыкин (*угрюмо*). ...Чорт знает... третьего дня разговор в клубе; говорят, Шекспир, Вольтер... Я не читал, совсем не читал, а на лице своем показал, будто читал. И другие тоже, как я. *Пошлость! Низость!*»

(Чехов, «Три сестры», д. III).

«Юлия. Куда же это мы идем?

Федор Иванович. На плотину... Пойдем погуляем... Лучшего места во всем уезде нет... *Красота!*»

(Чехов, «Леший», д. IV).

«Чацкий. Вы помните? Вздрогнем, чуть скрипнет столик, дверь...

Софья. *Ребячество!*»

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I)

«— *Позор!* — закричал Лео».

(Эренбург, «Буря»).

В сочетании с восклицательным местоимением:

«Федотик (*вынимает из кармана волчок*). Вот, между прочим, волчок... Удивительный звук...

Ирина. *Какая прелесть!*»

(Чехов, «Три сестры», д. I).

«Ирина. Вы привыкли обращаться со мной как с маленькой, но ведь я уже выросла... (*Берет карандаши и ножичек, радостно*). *Какая прелесть!*»

(Там же, д. II).

«Она забыла стыд и честь,
Она в объятиях злодея.
Какой позор!»

(Пушкин, «Полтава», песнь I).

Выражение сожаления:

«Федотик. *Какая жалость!* Я рассчитывал провести вечерок, но если болен ребеночек, то, конечно...»

(Чехов, «Три сестры», д. II).

Оценка и выражение негодования, возмущения:

«Ревунов. Никаких денег я не получал! Подите прочь! (*Выходит из-за стола*). *Какая гадость! Какая низость! Какая низость!* Оскорбить так старого человека, моряка, заслуженного офицера!..»

(Чехов, «Свадьба»).

Дополнить высказывание словесным выражением субъекта можно только с помощью местоимения «это». Но не говоря уже о том, что таким путем меняется и структурный тип высказывания, никакого пополнения не только смыслового, но, собственно, и формального, не получится, так как местоимение «это» — очень слабый выразитель подлежащего, сохраняющийся в предложении и при введении в него настоящего подлежа-

щего и служащий в таких случаях указательной частицей, вводящей сказуемое[1], например:

«Скрытничать перед ней — это был бы грех».

(Тургенев, «Яков Пасынков»).

В функции подлежащего «это» выступает лишь чисто формальным его заместителем, по существу же его никак не выражая и даже не замещая в том смысле, в каком личное местоимение замещает имя существительное, выражающее подлежащее. Личное местоимение замещает представление, уже нашедшее себе словесное оформление, — в замещаемом существительном, которым всегда может быть в свою очередь замещено. «Это» является лишь своего рода указательным словесным жестом, указывающим непосредственно на лица, предметы, явления, ситуацию и т. п. Вместо «это», когда оно указывает не на определенные лица или предметы, надо, заменяя его, изложить ситуацию, содержание предшествующих высказываний и т. п., т. е. выразить в слове целый комплекс еще не получивших лексического оформления представлений.

Формальной разновидностью рассмотренной подгруппы являются предложения, главный член которых выражен краткой формой качественного прилагательного или наречия. Предложения эти содержат оценку предшествующему высказыванию или ситуации в целом и выступают параллельно с именными. В качестве дополнения их структуры возможна лишь подстановка местоимения «это», не обогащающая их смысла[2]:

«— *Позор!* — закричал Лео.— *Отвратительно!*»

(Эренбург, «Буря»).

«Балабан схватил чучело и принялся проделывать с ним всякие манипуляции.
— Бросайтесь на него! В таком положении можно допустить шестой прием джиуджитсу. Не так! Не так! Теперь он увлекся, поднял автомат, его сердце свободно, прыжок! *Отлично!*»

(Первенцев, «Честь смолоду», ч. II, гл. 3).

«— Какое надо иметь мужество, чтобы, например, делать операции или резать трупы! *Ужасно!*»

(Чехов, «Именины»).

«— *Гадко, гадко, гадко!* — продолжала Ольга Михайловна, начиная дрожать всем телом.— Меня нечего поздравлять! Поздравь ты лучше самого себя! *Стыд! Срам!* Долгался до такой степени, что стыдишься оставаться с женой в одной комнате!»

(Чехов, «Именины»).

«Дулебов. Ну, подойдите же ко мне, мой птенчик!
Негина (*встает*). Вы с ума сошли!
Дулебов. *Грубо*, мой друг, *грубо!*»

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

---

[1] А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка, § 141, 149—152, 202.

[2] См. «это» при кратком прилагательном в роли сказуемого: «Быть молодым и не уметь — это сносно, но состариться и не быть в силах — это тяжело» (Тургенев, «Дворянское гнездо»).— См.: А. А. Шахматов. Указ. соч., § 141.

«— Итак, для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению... *Удивительно, удивительно!..*»

(Пушкин, «Египетские ночи»).

«З е м ф и р а. Слышишь? Хриплый стон
И скрежет ярый!.. Как *ужасно!..*
Я разбужу его...»

(Пушкин, «Цыганы»).

Предложения рассматриваемого типа могут давать и почти лишенную экспрессии, логически взвешенную качественно-оценочную характеристику содержанию предшествующих высказываний, т. е. тем событиям, явлениям, о которых шла речь и которые представляются единственным субъектом заключенного в рассматриваемом предложении предикативного оценочного высказывания. Никакого «подлежащего», кроме чисто формального его заместителя — «это», нельзя ввести в рассматриваемое предложение; подлежащее же «это» может указывать лишь на то же содержание предшествующих высказываний. Например:

«Беспредельная, испепеляющая страсть к Грушеньке. Это не чистая только любовь, это и не плотская только любовь,— это его роковое несчастье. Налетел шквал, буря, и в одно мгновенье Дмитрий погиб. *Страшно, жутко, но неизлечимо, неизбежно*».

(Леонидов, «Из воспоминаний»).

Между выражением логически обобщенного качественно-оценочного суждения и непосредственной речевой эмоционально-оценочной реакцией есть целый ряд переходных случаев:

«— Если гости смилостивятся и уедут в одиннадцать, то и тогда нам остается ждать еще шесть часов. *Весело*, нечего сказать».

(Чехов, «Именины»).

«В о й н и ц к и й. Мне 47 лет, если, положим, я проживу до 60-ти, то мне остается еще тринадцать. *Долго!* Как я проживу эти тринадцать лет?»

(Чехов, «Дядя Ваня», д. IV).

«Л е б е д е в (*живо*). Знаешь что? Тебя, брат, среда заела!
И в а н о в. *Глупо*, Паша, и *старо*. Иди!
Л е б е д е в. Действительно, *глупо*. Теперь и сам вижу, что *глупо*. Иду, иду!..»

(Чехов, «Иванов», д. III).

б) Другую группу экспрессивных качественно-оценочных высказываний составляют именные односоставные предложения, главным членом которых выступает имя существительное, н а з ы в а ю щ е е определяемый предмет или явление — реальный субъект высказывания — и, таким образом, представляющее собою такую качественно-оценочную характеристику этого субъекта, в к о т о р о й н а х о д и т с в о е в ы р а ж е н и е и с а м с у б ъ е к т. Например: «Какой прекрасный вид!», «Какой громадный пожар!», «Какой ветер!»

Имя, называя предмет или явление, — субъект высказывания, — относя его к тому или иному разряду предметов или явлений, определяя его

как «пожар», «ветер», «вид» и т. д., тем самым выступает по отношению к нему как его предикат; по отношению же к своему определению, с которым имя сочетается, — прилагательному, восклицательным местоимениям или частицам, произносимым с определенной интонацией, выражающей экспрессию восхищения, испуга, удивления, ласки, гнева и т. п., — имя является их субъектом, их определяемым предметом речи. Особенность рассматриваемых предложений и их отличие от предшествующей группы качественно-оценочных предложений заключаются в том, что рассматриваемые высказывания потенциально расчленяемы, хотя и представляют собою односоставное предложение. В них о «пожаре» утверждается, что он громаден, о «виде», что он прекрасен, и даже о «ветре», что он «к а к о й - т о», т. е. сильный, страшный и т. п., тогда как именные предложения предшествующей подгруппы «а» представляли собою нерасчлененное понятие, выступавшее в целом только в роли предиката. В них не о «мерзавце» сообщалось, что он «какой-то», не о «ребенке», что он «дивный», «чудный», не о «женщине», что она «великолепная» и т. д., а о каких-то лицах (субъектах высказывания) утверждалось, что они «дивный, чудный ребенок», «великолепная, чудная женщина», «великолепный человек», «мерзавец» и т. д. Поэтому в смысловом отношении предложения предшествующей подгруппы «а» гораздо менее полны, они неразрывно связаны с контекстом и ситуацией. Разумеется, и предложения рассматриваемой подгруппы «б» не совершенно полны вне контекста: они только в нем наполняются конкретным содержанием, т. е. делается известным, о каком именно пожаре утверждается, что он громаден и т. д. Однако все-таки они представляют собою значительно более самостоятельные вне контекста высказывания именно благодаря их внутренней расчлененности, благодаря тому, что и субъект в них выражен, хотя бы и в самом общем виде.

Четким формальным показателем их структурного типа, — как односоставных именных качественно-оценочных предложений экспрессивного характера, — являются интонация и наличие восклицательных местоимений или частиц: «что за», просторечного «айда» и др.[1], определяющих эти высказывания, как экспрессивную оценку некой представившейся реальной действительности. Привожу примеры:

«В е р ш и н и н. Однако, *какой ветер!*»

(Чехов, «Три сестры», д. II).

«А н д р е й. *А какой громадный пожар!*»

(Там же, д. III).

«А н д р е й. Что вы имеете против? Что?

О л ь г а. Оставь, Андрюша. Завтра объяснимся. (*Волнуясь*). *Какая мучительная ночь!*

И р и н а. *Какая беспокойная ночь!*»

(Там же).

[1] При отсутствии названных показателей экспрессии к подобным предложениям (типа «Прекрасный вид!») было бы приложимо двоякое истолкование, применяемое Шахматовым к предложению «Жестокие нравы, сударь...». — См.: А. А. Ш а х м а т о в. Указ. соч., § 41).

«Т у з е н б а х (*всматривается ей в лицо*)... *Какие прелестные, чудные волосы! Какие глаза!*

. . . . . .

Т у з е н б а х. ...Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клены, березы, и все смотрит на меня с любопытством и ждет. *Какие красивые деревья* и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!..»

(Там же, д. IV).

«Н е г и н а (*взглянув в окно*). *Какие лошади, какие лошади!*»

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

«М е л у з о в (*хохочет*). *Ай да, князь!*»

(Там же).

«А г н и я (*у окна*). *Погода-то!* Даже удивительно! А мы сидим».

(Островский, «Не все коту масленица», сц. I).

«—Ах, Настя, милая Настя! *Какая славная выдумка!*»

(Пушкин, «Барышня-крестьянка»).

«Брянский, может быть, благопристойнее вообще, имеет более благородства на сцене..., но *зато какая холодность! Какой однообразный тяжелый напев!*»

(Пушкин, «Мои замечания о русском театре»).

«Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!»

(Пушкин, «Братья разбойники»).

в) Особую подгруппу односоставных именных оценочных предложений составляют такие, главный член которых — имя существительное отвлеченного значения, наполняющееся конкретным содержанием в контексте или в определенной жизненной ситуации, например, «время», «момент», «год», «пора», «идея», «мысль», «задача», «край», «страна» и т. п., и дающее не только экспрессивную и субъективную, но и обобщенно-логическую характеристику предшествующему высказыванию, явлению или ситуации. Предложения эти также представляют собою гамму оттенков — от выражающих, в основном, эмоционально-оценочное отношение к явлениям, что приближает их к только что рассмотренным структурам, до выражающих, главным образом, почти лишенную экспрессии, логически-обобщенную характеристику явления, ситуации или самой предшествующей речи. Последний случай характеризует, в основном, жанры публицистические, литературно-критические, мемуарные и т. п.

Своей отнесенностью в целом, как нерасчлененное представление, к тому или иному явлению, ситуации или высказыванию рассматриваемые предложения сближаются с предложениями подгруппы «а», особенно с сочетаниями качественных прилагательных с существительными «человек», «женщина» и т. п.; наличием же качественного определения (что вообще не обязательно, но типично) и тем самым потенциальной возможностью расчленения — приближаются к предложениям подгруппы «б».

Единственным формальным выразителем субъекта, которым является ситуация или предшествующее высказывание, могло бы выступать лишь местоимение «это», как известно, не дополняющее смысла высказывания.

Рассматриваемые предложения являются, в основном, достоянием книжно-литературного языка, а в своих экспрессивных формах — главным образом языка поэзии, служа средством и приемом выражения авторских эмоционально-оценочных высказываний:

«Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумство ль в вас, надежды ль весть?»

(Блок).

«Роскошной Грузии долины
Ковром раскинулись вдали;
Счастливый, пышный край земли!»

(Лермонтов, «Демон»).

«Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! О славный вид!»

(Пушкин, «Полтава», песнь III).

«Приду на склон приморских гор
Воспоминаний тайных полный.
И вновь Таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край! очей отрада!
Всё живо там...»

(Пушкин, «Бахчисарайский фонтан»).

Приведенные предложения близки к «именительному представления»[1], но отличаются от него своим предикативно-оценочным характером. Чем сильнее выражен оценочный момент и отчетливее предикативная связь с предшествующим контекстом, тем дальше рассматриваемые именные структуры от «именительного представления»; экспрессивности они могут быть при этом почти лишены:

«В конце концов этот вопрос настолько назрел, что, несмотря на противодействие властей, монополия императорских театров была отменена. *Момент исторический в жизни русского театра*, сильно повлиявший на весь дальнейший ход его развития».

(Юрьев, «Записки», ч. 1).

«Наташа. Там, говорят, поскорее нужно составить общество для помощи погорельцам. Что ж? *Прекрасная мысль*».

(Чехов, «Три сестры», д. III).

«Арбенин. А! вы желаете, чтоб счастье вас ловило. *Затея новая*... пустить бы надо в свет».

(Лермонтов, «Маскарад», д. I).

[1] А. М. Пешковский. Русский синтаксис, гл. XXIII.

«Трудов напрасно не губя,
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель!
Предмет достойный: ничего
Любезней верно нет его».

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. IV).

«Всякое слово вольное, всякое сочинение противузаконное приписывают мне... От дурных стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, а от хороших, признаюсь, и силы нет отказаться. *Слабость непозволительная*».

(Пушкин, «Воображаемый разговор с Александром I»).

«К несчастью, мысли не приходили мне в голову — и в целые два дня надумал я только следующее замечание: Человек, не повинующийся законам рассудка и привыкший следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию.

Мысль конечно справедливая, но уже не новая».

(Пушкин, «История села Горюхина»; пример приведен А. М. Пешковским[1]).

Существительное не качественно-оценочное и не употребленное в соответствующем значении, конкретное, не сопровождаемое ни качественным определением, ни восклицательными местоимениями и частицами, ни эмфазой, не образует самостоятельного качественно-оценочного высказывания рассматриваемого типа, т. е. односоставного именного предложения оценочного характера. Такое существительное может выступать в качестве ответа на вопрос[2], может служить для называния окружающих предметов в процессе их узнавания или в плане простого, порой почти автоматического, «регистрирующего» наименования их, представляющего собой своеобразную речевую реакцию на окружающую действительность. Например:

«А с т р о в. Мне как будто бы послышался голос Елены Андреевны.

В о й н и ц к и й. Сейчас она была здесь.

А с т р о в. Роскошная женщина. (*Осматривает склянки на столе*). *Лекарства*. Каких тут только нет рецептов!»

(Чехов, «Дядя Ваня», д. II).

«В е л и к а т о в (*заметив на столе книги*). *Книжки и тетради*.

М е л у з о в. Да, учимся понемножку».

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

Подобные «называния», если они не являются ответом на вопрос, — еще не высказывания, еще не предложения (если же и предложения, то во всяком случае «неразвернутые»), хотя они и могут иметь различные языковые функции, например, побуждать к высказыванию, как в последнем примере.

---

[1] А. М. П е ш к о в с к и й. Русский синтаксис, гл. XX.

[2] Поэтому такие предложения-ответы, не образующие качественно-оценочного высказывания и вполне по своей структуре допускающие введение подлежащего, не будем относить к рассматриваемой группе односоставных именных качественно-оценочных предложений.

По мере того как подобная речевая реакция на окружающую обстановку и особенно на действия других персонажей приобретает черты экспрессивно-волевые и оценочные, она превращается в акт сообщения — в предложение, которое может получить любое синтаксическое оформление — может быть односоставной именной структурой, как, например:

«Негина (*у окна, Мелузов обнимает ее*). *Ах, медвежьи объятия!*.. До смерти не люблю».

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

Может иметь форму сказуемого:

«Федор Иванович. Сегодня в семь с половиною часов вечера вы должны быть за садом около мостика и ждать меня... (*хочет взять ее за руку*).

Елена Андреевна (*дает ему пощечину*).

Федор Иванович. *Сильно сказано*».

(Чехов, «Леший», д. III).

Рассмотрение синтаксических структур, в которых субъектом является уже не представление о лицах, предметах и явлениях, так или иначе нашедшее свое отражение в предшествующем контексте, и не эти предшествующие высказывания, а сами предметы, явления и действия — выходит за рамки данной работы, базирующейся, в основном, на материалах книжно-литературного и отраженного в нем разговорно-литературного языка.

14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Нами были рассмотрены, в основном, предложения связной, монологической речи. Если для анализа и иллюстрации привлекались и предложения диалогической речи, то только такие, структура которых не обусловливалась их принадлежностью к этому виду речи.

Диалогическая речь входит в систему языка и подчиняется его общим законам, в том числе и законам построения предложения. Тем не менее предложения диалогической речи в отношении неполноты их состава отличаются значительным структурным своеобразием, почему и должны быть подвергнуты особому рассмотрению[1].

Речь диалогическая представляет собою основную форму проявления разговорного языка, поскольку последний реализуется главным образом в форме диалога, однако этой формой пользуется и книжно-литературный язык, причем не только для передачи беседы действующих лиц, но и в научно-философских и подобных трактатах в форме диалога.

Но не в этих диалогических по форме произведениях проявляются самые характерные особенности диалогической речи, а в реальном, устном, разговорно-бытовом диалоге. Именно в нем интонация, жест, мимика выступают дополнительными компонентами предложения наряду со словом, хотя и уступая ему в значимости, поскольку не являются элементами

[1] Специфическим особенностям диалога посвящена интересная статья Л. П. Якубинского «О диалогической речи», сборник «Русская речь», Пгр., 1923.

языка; именно в нем такую решающую роль играют ситуация, общая обстановка речи и общий узкий опыт говорящих.

Поэтому именно в диалоге особенно обильно представлены так называемые «неполные предложения», т. е. по существу лишь «словесно неполные», — такие предложения, не все содержание которых передается словом, но находит свое выражение и с помощью иных средств. Кроме того, совершенно особую роль играет в диалоге контекст, вернее, предшествующая речь, и не только ее содержание, но и форма (о чем далее).

Изучение реальной, произносимой диалогической речи в условиях ее протекания, действительный учет этих условий, учет интонации, мимики, жеста как дополнительных компонентов предложения, изучение процесса построения предложения в условиях диалогической речи — еще не начаты.

И в настоящей работе рассмотрение некоторых структурных особенностей предложений диалогической речи проводится, к сожалению, лишь опосредствованно, на материале языка художественных произведений, отражающих лишь словесный остов предложений, лишенных звучания и других средств выражения мысли, воли и чувства, — и тем самым уже по существу неполносоставных.

В диалоге могут иметь место все те случаи неполноты состава предложения, которые уже были рассмотрены, но в диалоге, особенно в вопросо-ответной его форме, имеют место и другие, специфические для него виды неполносоставных предложений, рассмотрение которых и составляет сейчас нашу цель.

В связи с этим мы займемся изучением не диалогической речи как таковой (что составляет особую и очень большую задачу), но тех ее видов, которые характеризуются наличием неполносоставных предложений.

В этом плане мы будем различать прежде всего: а) диалог как смену реплик-монологов, хотя и обусловленных в своем содержании предшествующими репликами, но не представляющих ожидаемого ответа на них, тем самым менее обязательно обусловленных в своей форме этими предшествующими репликами, и б) диалог в вопросо-ответной форме, представляющий собой чередование вопросов и ответов, обусловленных предшествующей репликой не только в их содержании, но и в форме.

Диалог, представляющий собою чередование реплик-монологов, в меньшей степени характеризуется особыми видами неполносоставных предложений, чем диалог в вопросо-ответной форме. Общий характер предложений, их состав и степень их словесной и формально-грамматической полноты зависят от содержания предложений, их эмоционального тона, а поскольку рассматриваемые нами предложения представляют собой не фиксацию реального диалога, а его изображение в художественном произведении, то в какой-то мере — и от стиля этого произведения, от стремления автора или передать основное содержание и общий характер диалога, или с возможно более реалистическими подробностями воспроизвести самый процесс его протекания, со всеми перерывами, недоговоренностями, лишними

или повторяющимися словами, свойственными разговорной речи вообще и ее диалогической форме по преимуществу.

Так, в «Маскараде» Лермонтова неполносоставные предложения представлены, в основном, в вопросо-ответных репликах; для реплик-монологов, не являющихся прямым ответом на вопрос, они менее характерны.

В «Горе от ума» широко представлены предложения неполного грамматического состава, предложения разговорного типа — в монологических репликах действующих лиц, кроме некоторых реплик Фамусова и обличительных монологов Чацкого (в которых преобладают книжные обороты и грамматически-законченные предложения).

Для «Горя от ума» характерен быстрый обмен репликами, состоящими иногда из одних только служебных слов, вопросительных и других местоимений и т. п.:

«Л и з а. Опомнитесь, вы старики...
Ф а м у с о в. *Почти*».

(Д. I, явл. 2).

«Ф а м у с о в. Вот ты задумал...
Ч а ц к и й. Я? *Ничуть!*»

(Д. I, явл. 8).

Однако, несмотря на близкую к разговорной структуру предложений в диалоге «Горе от ума», нельзя считать эти диалоги с их блестящими афоризмами, отточенными формулировками, материалом для изучения живой диалогической литературной речи, нельзя рассматривать их как точное изображение непосредственно протекающей речевой деятельности. В них имеет место обдуманный и строгий отбор выразительных языковых средств, в них включены афористические высказывания, представляющие собою как бы самостоятельные произведения в миниатюре, включены лапидарные и в то же время достаточно полные характеристики персонажей, с которыми читатель знакомится впервые и именно по этим характеристикам (чего обычно нет в ситуативной разговорной речи).

Язык «Горя от ума» по его сжатости, лаконичности, афористичности — и в то же время смысловой полноте, «нагруженности» каждого высказывания — это обобщенное, синтетическое отражение разговорного литературного языка. Это и не книжно-письменный литературный язык, это и не непосредственное отражение живого разговорного языка, но его художественная переработка. Вот почему диалогическая речь «Горя от ума» так богата (гораздо богаче, чем диалогическая речь «Маскарада») живыми разговорными структурами, всегда полными в смысловом отношении и не укладывающимися в рамки традиционной школьной грамматики, грамматики книжно-письменного языка.

Весьма разнообразны виды неполносоставных предложений в «Ревизоре». Они служат в нем приемом речевой характеристики персонажей и их душевного состояния в разные моменты развития действия. Сравните реплики-монологи городничего в 1-м явлении первого действия, где речь

его еще относительно спокойна, обстоятельна и предложения, в основном, полные и законченные, и в 4-м явлении того же первого действия, когда городничий, узнав, что ревизор уже две недели живет в городе, теряется, речь его становится прерывистой, предложения незаконченными и неполными.

В бытовых комедиях Островского в речах персонажей, говорящих просторечным разговорным языком, преобладают различные виды предложений неполного грамматического состава; как правило, отсутствуют подлежащие и дополнения, известные из ситуации или контекста; обильно представлены предложения неразвернутые и разные типы разговорных синтаксических конструкций; диалог носит ярко реалистический характер. Речь таких персонажей, как Домна Пантелевна («Таланты и поклонники»), Зыбкина и Фелицата («Правда — хорошо...»), действующих лиц комедий »Не все коту масленица», «Свои люди — сочтемся» и др., представляя собой яркие образцы бытового просторечия, в синтаксическом отношении ситуативна, состоит, в основном, из предложений неполного грамматического состава, живых разговорных конструкций и оборотов, эмоционально-оценочных высказываний и т. п., благодаря чему является благодарным материалом для исследования разговорной диалогической речи.

Приведу пример одного из диалогов, значительная часть реплики которого — разговорные структуры, не относимые ни к полным, ни к неполным:

«К р у г л о в а. ...Ты его как это подцепила?

А г н и я. *Очень просто.* Шла я как-то из городу, он меня догнал и проводил до дому. Я его поблагодарила.

К р у г л о в а. И позвала?

А г н и я. *С какой стати!*

К р у г л о в а. Как же он у нас объявился?

А г н и я. Позвала я его, да после. Стал он мимо окон ходить раз по десяти в день; ну, что *хорошего, лучше уж в дом пустить, только слава.*

К р у г л о в а. *Само собой.*

. . . . . .

К р у г л о в а. *Только и всего!*

А г н и я. *Только и всего. А то что же еще?*

К р у г л о в а. Много очень воли ты забрала.

А г н и я. *Заприте».*

(Островский, «Не все коту масленица», д. I, явл. 1).

Диалог в драмах Тургенева и Чехова — тончайшее средство изображения не только мыслей и чувств, но и оттенков настроения действующих лиц. Плавная, закругленная речь таких персонажей, как Елецкий (Тургенев, «Нахлебник»), сменяется у него прерывистой, незаконченной в минуты волнения, отрывистой при даче приказаний. Кузовкина характеризуют незаконченные, порой совсем не развернутые, действительно «неполные» предложения и т. д. Форма диалога обусловливается и характером построения драматического конфликта. Вот что говорит об этом Г. П. Бердников в своей интересной статье «Чехов и театр Тургенева»: «Особенность тургеневского психологического анализа сказывается

нагляднее всего в затаенности, «подспудности», развивающейся в его пьесе интриги. ...Такое построение драматического конфликта обусловливает ряд формальных особенностей театра Тургенева. Диалоги в его пьесах полны недоговоренности, прерывисты, многозначительны, темы диалогов изменчивы, без всяких подчас внешних к тому поводов. Здесь Тургенев также оказывается новатором, впервые вводящим в драматургию то, что позже получило наименование «подтекста»[1]. Из сказанного ясно, что нельзя строить исследование диалогической речи по материалам драматических произведений без учета стилистических особенностей его построения у данного автора.

Драматургия Чехова явилась в какой-то степени «стилистическим продолжением» пьес Тургенева, — разумеется, не только их и не столько продолжением, сколько оригинальным развитием, поскольку «художественный метод Чехова является продолжением и развитием лучших традиций русского критического реализма»[2]. В пьесах Чехова мастерство обрисовки в диалоге душевного состояния действующих лиц достигает предельного совершенства.

Сравним перебивающие и дополняющие друг друга реплики сестер («Три сестры», д. I), составляющие вместе как бы одно предложение.

«И р и н а. Мама в Москве погребена.

О л ь г а. *В Ново-Девичьем...*

(*За сценой игра на скрипке*).

М а ш а. Это Андрей играет, наш брат.

И р и н а. Он у нас ученый. Должно быть, будет профессором. Папа был военным, а его сын избрал себе ученую карьеру.

М а ш а. *По желанию папы.*

О л ь г а. Мы сегодня его задразнили. Он, кажется, влюблен немножко.

И р и н а. *В одну вдешнюю барышню*».

С другой стороны — почти не связанные друг с другом реплики-монологи Вершинина и Тузенбаха, когда каждый говорит независимо от другого, следуя ходу своих мыслей, — и закругленные, грамматически совершенно полные предложения Кулыгина, тем не менее почти ничего не сообщающие («К у л ы г и н. Сегодня, господа, воскресный день, день отдыха, будем же отдыхать, будем веселиться каждый сообразно со своим возрастом и положением. Ковры надо будет убрать на лето и спрятать до зимы...»), — и формально полные, как предложения, непроизвольно повторяемые Машей пушкинские строчки: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том», совершенно лишенные коммуникативной функции, рисующие, как и ее насвистывание (в первом акте), только ее душевное состояние.

Наличие или отсутствие неполносоставных предложений, бóльшая или меньшая полнота и завершенность синтаксических конструкций также

[1] «Доклады и сообщения Филологического фак-та Лен. гос. ун-та», вып. 1, 1949, стр. 39 и след.

[2] Г. П. Б е р д н и к о в. «Дядя Ваня» А. П. Чехова, «Ученые записки Лен. гос. ун-та», серия филолог. наук, 1949, вып. 16, стр. 224.

служат приемом речевой характеристики персонажей в определенный момент развития действия.

Так, например, в диалоге Нины и Тригорина («Чайка», д. II), состоящем, в основном, из чередующихся монологических высказываний, причем на отвлеченные темы, неполносоставных предложений относительно мало, и те приходятся на вопросо-ответные предложения.

Реплики Нины, строящей свою речь очень «литературно», в высоком, порой приподнятом стиле, отражающем ее восторженную, высокую настроенность, почти не содержат неполных предложений.

Реплики и монологи Тригорина, говорящего подчеркнуто просто, разговорным языком, включают их, особенно в ответах:

«Нина. А я хотела бы побывать на вашем месте.

Тригорин. *Зачем?*

Нина. Чтобы узнать, как чувствует себя известный талантливый писатель. Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известны?

Тригорин. *Как? Должно быть, никак.*

Нина. А если читаете про себя в газетах?

Тригорин. Когда хвалят, приятно, а когда бранят, то потом два дня чувствуешь себя не в духе.

Нина. Чудный мир! Как я завидую вам, если бы вы знали! Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование, другим же, как, например, вам,— вы один из миллиона,— выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения... Вы счастливы...

Тригорин. Я? (*пожимая плечами*). Гм...

Нина. Ваша жизнь прекрасна!

Тригорин. Что же в ней особенно хорошего?

(Следует известный большой монолог Тригорина о труде писателя.— *И. П.*).

Нина. Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дают вам высоких, счастливых минут?

Тригорин. Да. *Когда пишу, приятно.*

Нина. ...Если бы я была таким писателем, как вы, то я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на колеснице.

Тригорин. Ну, *на колеснице*... Агамемнон я что ли?

(*Оба улыбнулись*)».

В драмах Чехова в функции своеобразных «реплик» выступают и паузы: «Паузы являются... одним из средств реальной мотивировки слов, жестов и поступков действующего лица путем соотнесения их как с внешними, так и с внутренними факторами»[1]. Поэтому и паузы должны учитываться при рассмотрении структуры следующих за ними реплик. Например:

«Соня (*Елене Андреевне*). Да, да... Я скажу, что ты хочешь видеть его чертежи... (*Идет и останавливается возле двери*). Нет, *неизвестность лучше. Все-таки надежда...*»

(«Дядя Ваня», д. III).

Реплики Сони после паузы, структурно неполные и непонятные вне ситуации, относятся к предшествующему разговору ее с Еленой Андреев-

[1] Г. П. Бердников. «Дядя Ваня» А. П. Чехова, «Ученые записки Лен. гос. ун-та», серия филолог. наук, 1949, вып. 16, стр. 251.

ной, считавшей, что лучше узнать правду об отношении Астрова к Соне, — разговору, о котором Соня продолжает думать[1].

Паузы заполнены жестами, движениями персонажей:

«С о н я (*Елене Андреевне*). Ты дрожишь? Ты взволнована? (*Пытливо всматривается в ее лицо*). *Я понимаю...*»

Слова Сони относятся к тому, что она прочла на лице Елены Андреевны.

Как уже говорилось выше, реплики, не являющиеся прямым ответом на вопрос, связаны с предшествующей репликой главным образом по содержанию, но не обусловливаются ею в своей форме.

Такие реплики могут быть предложениями неполного формального состава, эллиптическими, односоставными эмоционально-оценочными, неразвернутыми и т. д., т. е. представлять собой все те виды предложений, которые характеризуют разговорную речь и обусловливаются ситуацией и наличием контекста.

Например, н е п о л н о с о с т а в н ы е — с неназванными подлежащими, дополнениями и сказуемым, ясными из ситуации и контекста:

«Б а к и н. Вот охота людям даром терять красноречие, проповедывать Мигаеву об честности! Уж очень это наивно. Честность он давно считает предрассудком и для него разницы между честным и бесчестным поступком не существует, пока его не побили. А вот плюхи две — три влетит, тогда он задумается.

Т р а г и к. *Да и влетит, и дождется*, уж это я ему давно пророчу».

(Островский, «Таланты и поклонники», д. II).

«Ш и ш к и н. Мне тоже нравится, как Нил Васильевич нотации читает...

П е т р. *А мне — как он ест*».

(Горький, «Мещане», д. I).

Э м о ц и о н а л ь н о - о ц е н о ч н ы е:

«Л о п а х и н. Если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое 25 тысяч в год дохода.

Г а е в. Извините, *какая чепуха!*»

(Чехов, «Вишневый сад», д. I).

Н е р а з в е р н у т ы е:

«Г л у м о в. Надоест любимец, он его прогонит и возьмет другого, и сейчас же завещание перепишет. Вот теперь у него в милости этот Курчаев.

Г л у м о в а. *Вот кабы тебе...*»

(Островский, «На всякого мудреца...», д. I).

Однако в той мере, в какой предшествующая реплика побуждает собеседника к ответу, ею обусловливается та или иная из возможных форм ответных реплик. Так, если первая реплика — побуждение к действию, п р е д л о ж е н и е, п о ж е л а н и е, п р о с ь б а и т. п., то ответная реплика или (а) может представлять собой прямое выражение согласия, либо несогласия — в самой односложной, «одночленной» форме, т. е. выраженное о д н и м каким-либо членом предложения или (б) может

[1] См. Г. П. Б е р д н и к о в. «Дядя Ваня» А. П. Чехова, «Ученые записки Лен. гос. ун-та», серия филолог. наук, 1949, вып. 16, стр. 248.

представлять собою целое высказывание на тему предшествующей реплики, выражающее отношение к ней говорящего. Такое высказывание может быть выражено как полным, так и неполносоставным предложением.

а) Реплика, выражающая согласие или несогласие, может представлять собою:

сказуемое:

«Городничий. Позвольте мне предложить вам переехать на другую квартиру.
Хлестаков. *Нет, не хочу*».

(Гоголь, «Ревизор», д. II).

«Мухояров. Давно я вас приглашаю: пожалуйте в контору.
Барабошев. *Не в расположении*».

(Островский, «Правда хорошо...», д. I).

«Перчихин. Дядя Терентий! Идем пиво пить.
Тетерев. *Не расположен...*»

(Горький, «Мещане», д. I).

«Елена. Ну же, Таня, говори.
Татьяна. *Не хочется...*»

(Там же).

«Игроки. Казарин, Афанасий Павлович, сюда!
Казарин. *Иду!*»

(Лермонтов, «Маскарад», д. I).

обстоятельственное слово или словосочетание:

«Петр. Акуль, поди загони.
Акулина. Лошадей-то?... *Сейчас*».

(Л. Толстой, «Власть тьмы», д. I).

Некоторые из таких сказуемых и обстоятельственных слов и словосочетаний специализировались в выражении согласия и стали соответствующими словами-предложениями, полными, поскольку они не требуют пополнений:

«1-й понтер. Иван Ильич, позвольте мне поставить.
Банкомет. *Извольте*.
1-й понтер. Сто рублей.
Банкомет. *Идет*».

(Лермонтов, «Маскарад», д. I).

«Городничий. ...если на случай попадется жалоба или донесение, то, без всяких рассуждений, задерживайте.
Почтмейстер. *С большим удовольствием*».

(Гоголь, «Ревизор», д. I).

б) Последующая реплика, как уже указывалось, может представлять собою и целое высказывание, выражающее отношение отвечающего к предыдущей реплике; в смысловом отношении оно в большей или меньшей степени самостоятельно; по формально-грамматическому составу оно представляет собой предложение полное или «неполное», состав которого также обусловлен предыдущей репликой:

«Н а р о к о в. Ну, давай на ты, мне это не в диковину.
Д о м н а П а н т е л е в н а. *Да какая диковина; обыкновенное дело*».

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

«Т е т е р е в. Назови меня Свифтом, если тебе не трудно...
Н и л. *Много чести!*»

(Горький, «Мещане», д. I).

«Т а н я. Вон, идите, Василий Леонидыч зовет.
Г р и г о р и й. *Подождет*, он только глаза продрал.,

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I).

Ответная реплика может быть и неразвернутым предложением:

«А р б е н и н. Снимите маску,— и сейчас!
Вы поступаете бесчестно.
М а с к а. *К чему!*»

(Лермонтов, «Маскарад», д. I).

15. ВОПРОСО-ОТВЕТНАЯ ФОРМА ДИАЛОГА

Особый интерес в отношении состава предложения представляет в о п р о с о - о т в е т н а я ф о р м а д и а л о г а. Для нее прежде всего характерна обычная неполнота формально-грамматического состава предложения, которая должна рассматриваться как норма, а не как отступление от нее, поскольку эта неполнота вытекает из специфики вопросо-ответной формы диалога, обусловливается ею и для нее типична.

Несколько различную структуру и различный характер неполноты состава имеют предложения-вопросы и предложения-ответы.

Неполнота состава п р е д л о ж е н и й - в о п р о с о в обусловливается, прежде всего, с и т у а ц и е й в широком смысле слова, включая сюда и обстановку речи, и общий опыт говорящих, знакомство их с темой беседы, с взаимоотношениями персонажей и т. п., и, кроме того, неполнота вопроса определяется самим наличным его составом, наличием определенных вопросительных местоимений и других вопросительных слов, достаточных для выражения вопроса в определенных условиях, в определенной обстановке речи. Очевидно, что неполнота, обусловливаемая составом самого предложения вопроса, не приводит к смысловой неполноте такого предложения, взятого вне данного контекста и ситуации; и даже если неполнота состава предложения определяется обстановкой, то и это не влечет смысловой неполноты типичных вопросительных предложений, поскольку и сама обстановка типична и очевидна, например, для вопроса «куда?», «откуда?» при встрече и т. п.

В основном, неполнота состава вопросительных предложений — это эллипсис глагольных форм сказуемого, ясных из состава предложения и ситуации, как правило, типичной, и, наконец, замещенных интонацией. Таким образом, мы можем характеризовать «неполные» вопросительные предложения, в основном, как «эллиптические», как разновидность последних, т. е. как типичные предложения разговорного языка.

Рассмотрим их несколько детальнее.

I. Отсутствие глагольных форм сказуемого

Вопросительные предложения, имеющие в своем составе вопросительные местоимения и наречия.

Местоименное наречие «где».

«— *Где староста?*— неистовым голосом кричал он».

(Л. Толстой, «Война и мир»).

«Татьяна. *А Нил где?*»

(Горький, «Мещане», д. I).

«Марина. *Где Соня?*»

(Чехов, «Дядя Ваня», д. IV).

«*Где земля,*
и где
закон,
чтобы землю
выдать
к лету?»

(Маяковский, «Хорошо!», 2).

Предложения эти должно считать совершенно полными, так как отсутствуют формы настоящего времени бытийного глагола (в прошедшем времени они имели бы или, во всяком случае, могли бы иметь формы глагола «быть»), что не создает неполноты состава.

Местоимение с предлогом:

«— *А вы на каком факультете?*— спросила она у студента».

(Чехов, «Именины»).

Предложение должно считать полным, исходя из вышеприведенных соображений.

Оборот «что с вами, с тобой» и т. д.:

«— Кускова,
что с тобой?»

(Маяковский, «Хорошо!», 4).

«*Что с ним?* В каком он странном сне!»

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. VIII).

«— *Что, Таня, что с тобой?*»

(Там же, гл. III).

Предложения эти — полные и в силу того, что отсутствуют формы бытийного глагола (ср. «что с Вами было, будет»), и в силу того, что «стационарны» (по терминологии Пешковского), т. е. представляют собою устойчивые фразеологические сочетания.

Местоименное наречие «как» с существительным или наречием:

«— *Как с разгрузкой?*— хмуро, не глядя в лицо Сабурову, спросил он».

(Симонов, «Дни и ночи», гл. I)

«Ну, *как там?*— спросил Сабуров и кивнул по направлению к правому берегу».

(Там же, гл. III).

«Х л е с т а к о в. Ну что, *как у вас в гостинице?*»

(Гоголь, «Ревизор», д. II).

Предложения должно считать полными на том же основании, что и предыдущие.

Местоимение «что» (в значении «как») с существительным в именительном падеже (оборот несколько устаревший):

«Сергей Иванович обратился к брату:
— Очень, рад, что ты приехал. Надолго? *Что хозяйство?*»

(Л. Толстой, «Анна Каренина», ч. I, гл. 8).

«Ч а ц к и й. Ну *что ваш батюшка?*»

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

Предложения эти — полные, поскольку представляют собою фразеологические обороты.

Предложения с местоименным наречием «когда»:

«Е л е ц к и й. *Когда же мы на охоту?*

(Тургенев, «Нахлебник», д. I).

Хотя отсутствуют формы не настоящего, а будущего времени глагола «быть», однако наречие времени само по себе достаточно для выражения временных отношений и само сочетание наречия «когда» с именем типизировалось.

Предложения с местоименным наречием «откуда»:

«— *А вы сами откуда?*»

(Фадеев, «Разгром», гл. IV).

«Т а н я. *Откуда мужики?*»

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I).

«Откуда у тридцатичетырехлетнего человека эта солидная генеральская походка? Откуда тяжелая красивая поступь? Откуда эта начальническая вибрация в голосе? Откуда все эти «что-с», «н-да-с» и «батенька»?»

(Чехов, «Именины»).

«Она спросила
Давно ль он здесь, *откуда он*
И не из их ли уж сторон?»

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. VIII).

Предложения эти — полные: возможно предположить формы глагола «быть»; оборот типизирован.

Предложения с местоименным наречием «куда»:

«Л и з а. Ну, кто придет, *куда мы с вами?*»

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

Предложение — полное, поскольку безглагольные сочетания с «куда» типизировались.

Предложения с вопросительными наречиями цели, причины — «зачем», «отчего» и т. п. или с местоимениями с предлогом и без предлога:

«Городничий. *Зачем же в самом деле к нам ревизор?*»

(Гоголь, «Ревизор», д. I).

«— *Что же ты так поздно?*— набросился Бакланов».

(Фадеев, «Разгром», гл. VIII).

«Старуха на этот раз услышала и стала ворчать: «Вот выдумывают, да еще на убогого! *За что вы его?*»

(Лермонтов, «Тамань»).

«Лиза. *На что вам лучшего пророка?*»

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

«Письмо готово, сложено...
Татьяна! *для кого ж оно?*»

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. III).

В предложениях двух последних групп имеет место эллипсис глаголов реального значения, тем не менее, поскольку вопросительное слово с соответствующей интонацией достаточно для выражения соответствующего смысла и в таком составе подобные предложения стали типичны, их можно считать полными, во всяком случае полными параллельными оборотами разговорной диалогической речи.

Вопросительные предложения, не имеющие в своем составе вопросительных местоименных слов.

Вопросительные предложения, в которых, вместо вопросительных местоимений и наречий, выражающих вопрос в общей форме, соответствующие понятия о времени, месте и т. п., о которых спрашивается, выражены лексически полнозначными словами, не представляют, естественно, устойчивых в лексическом отношении фразеологических сочетаний. Однако они являются устойчивыми в структурном отношении моделями, образцами вопросительных предложений с отсутствующими формами глагольных сказуемых, — предложений, аналогичных имеющим местоименные вопросительные слова.

Такие предложения также должны рассматриваться как полные, свойственные разговорной диалогической речи. Например:

«— *А вы в Сталинград?*— спросила она».

(Симонов, «Дни и ночи», гл .I).

«— *Ты что, опять в отъезд?*— спросил подрывник».

(Фадеев, «Разгром», гл. I).

«Леонид Федорович. *Вы к сыну?*»

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I).

«— *А вы давно из Петербурга?*— спросила Ольга Михайловна студента».

(Чехов, «Именины»).

«Тетерев. *Обедать скоро?*»

(Горький, «Мещане», д. II).

II. Одночленные предложения-вопросы и предложения-ответы

Специфику диалогической речи составляет наличие особого рода предложений, не имеющих места в речи связной, повествовательной, монологической (за исключением опять-таки возможного в ней диалога — в форме внутреннего авторского диалога с самим собой или с воображаемым собеседником); это высказывания, состоящие из одного только члена предложения, составляющего суть вопроса или ответа или вообще ответной реплики. Например: «Куда? — Домой».

От неполносоставных или эллиптических предложений связной монологической речи рассматриваемые структуры отличаются отсутствием состава предложения; относительно их неуместен вопрос, каких членов предложения в них недостает согласно той или другой предполагаемой модели-схеме, но возможно лишь говорить о том, каким членом предложения они сами являются. «Недостающий» состав предложения восстановим только гадательно, произвольно, а главное, его наличие не нужно, так как не отвечает живому структурному типу высказывания — вопросному или ответному предложению разговорной диалогической речи.

От членов предложения такие «члены-предложения» или «слова-предложения», как их можно еще назвать, отличаются по существу, а именно тем, что представляют собой законченные высказывания, характеризующиеся соответствующей интонацией и выражающие, в условиях их употребления, полноту мысли.

Существеннейшим отличием ответных слов-предложений от одноименных, аналогичных по составу членов предложения, является то, что ответные слова-предложения, какими бы членами предложения они формально ни выражались, по существу представляют собою предикаты, поскольку в них заключены отдельные, самостоятельные высказывания, дополняющие и развивающие предшествующее.

Рассмотрим одночленные предложения-вопросы — в их обусловленности предшествующей репликой.

Предложения-вопросы, требующие ответа, продолжающего не оконченную, прерванную речь; состоят обычно из вопросительных местоименных слов.

«Дулебов. Вот мы сейчас с вашей матушкой говорили...
Негина. *Об чем князь?*
Дулебов. Разумеется, о вас, мое сокровище».

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

«Дулебов. Я бы никогда не посмел осуждать вашу квартиру, если бы не имел в виду...
Негина. *Чего, князь?*
Дулебов. Предложить вам другую, лучше гораздо».

(Там же).

Предложения-вопросы, требующие ответа, р а с к р ы в а ю щ е г о, у т о ч н я ю щ е г о содержание предшествующей реплики, точнее — каких-либо членов предложения, выраженных недостаточно ясно, например, местоимениями, описательно и т. п.:

«П о л я. ...а я нет-нет, да и подумаю — какой он? Молодой? Старый? брюнет?..
Т а т ь я н а. *Кто?*
П о л я. Вот этот писатель».

(Горький, «Мещане», д. I).

«Б о б ч и н с к и й. А вот он-то и есть этот чиновник.
Г о р о д н и ч и й. *Кто, какой чиновник?*
Б о б ч и н с к и й. Чиновник-то, о котором изволили получить нотацию,— ревизор».

(Гоголь, «Ревизор», д. I).

«Х л е с т а к о в. Ты ступай туда.
О с и п. *Куда?*
Х л е с т а к о в. Вниз, в буфет...»

(Там же, д. II).

«К у з о в к и н. А я его-таки давненько не видал.
Т р о п а ч е в. *А как?*
К у з о в к и н. Да уже будет с год-с».

(Тургенев, «Нахлебник», д. I).

Предложения-вопросы, требующие ответа, д о п о л н я ю щ е г о, р а з в и в а ю щ е г о предшествующую реплику, или сами продолжающие и дополняющие ее; в первом случае предложение состоит из вопросительных местоименных слов, во втором — из лексически полнозначных:

«Ш п р и х. Он шел и вас бранил.
А р б е н и н. *Кому?*
Ш п р и х. Какой-то маске».

(Лермонтов, «Маскарад», д. I).

«П е т р. ...пили чай, пели... спорили...
Т а т ь я н а. *Кто с кем?*
П е т р. Я с Нилом и Шишкиным».

(Горький, «Мещане», д. I).

«Т а т ь я н а. Вы поругались?
Ш и ш к и н. Собственно говоря... не очень.
Ц в е т а е в а. *Но — из-за чего?*»

(Там же, д. IV).

«П е т р. Иди сюда скорее...
Н и л. *На помощь?..* Сейчас».

(Там же, д. II).

Предложения-вопросы, выражающие о т н о ш е н и е отвечающего лица к предшествующей реплике. Такие предложения близки по функциям вводным словам и состоят из них, вопросительных и других модальных частиц или из знаменательных слов, сопровождаемых частицами.

«К н я з ь. Поговорим и разойдемся.
М а с к а. *Право?*»

(Лермонтов, «Маскарад», д). I).

«Т а т ь я н а. Ведь жизнь всегда была такая, как теперь... мутная, тесная... и всегда будет такая!

Ц в е т а е в а. *Разве?* А, может быть,—нет?»

(Горький, «Мещане», д. IV).

Предложения-вопросы, представляющие собою н е р а з в е р н у т ы й в о п р о с, вызванный содержанием предшествующей реплики:

«Ф а м у с о в. Ведь Софья спит?
Л и з а. Сейчас започивала.
Ф а м у с о в. Сейчас! *А ночь?*

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

«Неужто ты влюблен в меньшую.
— *А что?*»

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. III).

Предложения-вопросы, представляющие собой р е ч е в у ю х а р а к т е р и с т и к у н е п о с р е д с т в е н н о с а м и х я в л е н и й окружающей действительности или требующие ответа, содержащего такую характеристику. Таким образом, один из компонентов — определяемое — находится в самой действительности и его отражение — в сознании, другой же компонент — определяющее высказывание — в данной вопросной реплике или в вызванном ею ответе на нее:

«— *Странник?* — спросил я.
— Путешествую. *Вы?*
— Тоже».

(Горький, «Проходимец»).

Состав п р е д л о ж е н и я - о т в е т а обусловливается главным образом содержанием и формой вопроса. Схематически можно различать три рода вопросов и соответственно — ответов: 1) требующие раскрытия подлежащего, сказуемого, второстепенных членов, т. е. ответа на известные вопросы к членам предложения; 2) требующие утверждения или отрицания высказанной в вопросе мысли, выражения согласия или несогласия с нею[1]; 3) представляющие собой побуждение к высказыванию.

1) На вопросы первого рода может быть дан ответ, как содержащий лишь требуемый член предложения, так и состоящий из предложения

[1] Два первых рода вопросов и ответов, основных в диалогической речи, различал и описал еще Греч. Привожу соответствующий параграф его «Практической грамматики» (1827 г.):

«§ 386. Предложения, служащие ответом.

1. На вопрос, требующий пополнения, отвечают сим пополнением. Кто там был? Мой брат. Каков он? Здоров. Где он живет? На острову.

2. В ответ на вопрос, требующий утверждения или отрицания, отвечают:

а) Повторением слова вопроса. Был ли он дома? Был. б) Наречием, утверждающим или отрицающим. Да. Нет. в) Опущением повторения слова и заменою оного относящимся к нему прилагательным или наречием. Есть ли у него дом? Прекрасный. Богат ли он деньгами? Весьма. И очень. Боишься ли ты грозы? Ни мало».

полного или неполного формального состава, простого, сложного или группы предложений.

В состав предложения-вопроса входят в таком случае местоименные вопросительные слова, представляющие собою известные вопросы к членам предложения: «кто», «что» — для подлежащего, «кто такой», «что такое», «каков» и т. п. — для сказуемого и т. д.

Специфическими, составляющими особенность вопросо-ответной формы диалога являются ответные предложения, состоящие из одного и притом вполне точно определяемого вопросом члена предложения. Будучи по своему синтаксическому положению теми или иными членами предложения, они в плане выражения словом мысли являются тем, что обычно называлось логически ударяемым словом, «психологическим сказуемым» и т. п. и что вернее назвать выразителем предиката, как той логической категории, которая составляет содержание высказывания. Поскольку ответные предложения представляют собой не отрезки предложения, механически рассеченного на его члены, а п р е д л о ж е н и я, т. е. отдельные более или менее самостоятельные сообщения, они не могут быть в то же время только членами предложения, только элементами целого, сами представляя собой некую относительно целостную предикативную синтаксическую единицу. А их единственный член в таком случае не может рассматриваться иначе, как выразитель предиката.

Ответное предложение, синтаксически оформленное как член предложения, может быть выражено одним словом, группой слов, составляющих комплексный член предложения или его группу, или придаточным предложением, эквивалентным члену предложения.

Такое ответное предложение, состоящее из одного члена, может вводиться сочинительными союзами и союзными вводными словами и предложениями, характеризующими его отношение к предшествующей речи, может сопровождаться вводными словами, выражающими модальные оттенки, — все, как у любого самостоятельного предложения.

Рассматриваемые «ответные одночлены» возможны только в диалогической речи (кроме предложений, состоящих из сказуемого с неназванным подлежащим, широко известных в монологической речи) и составляют ее особенность. В связной монологической речи подобные предложения возможны лишь при изображении «внутренней речи», внутреннего диалога с самим собой, ведущегося автором или рассказчиком. На эти предложения внешне похожи, но представляют собой иное синтаксическое образование «одночленные» или «однословные» предложения, о которых будет говориться ниже.

Итак, ответные одночленные предложения могут быть синтаксически оформлены как определенные, требуемые вопросом члены предложения.

Это может быть п о д л е ж а щ е е:

«Кто ж тебя из кучеров разжаловал?
А новая барыня».

(Тургенев, «Льгов»).

«Елецкий. Ну что? *Кто выиграл?*
Тропачев. Разумеется, я».

(Тургенев, «Нахлебник», д. II).

«Поля. А я хочу идти в театр...
Петр. *Что* сегодня?
Поля. «*Вторая молодость*»...

(Горький, «Мещане», д. I);

сказуемое (или его часть):

«— Да кто ж она?— *Жена моя*».

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. VIII).

«Хлестаков. *Как* называлась эта рыба?
Артемий Филиппович. *Лабардан-с*».

(Гоголь, «Ревизор», д. III).

«Анна Андреевна. Расскажите: *каков* он собою? что, стар или молод?
Добчинский. *Молодой, молодой человек, лет двадцати трех, а говорит совсем так, как старик*».

(Там же).

«Кузовкин. Ну, Ваня, скажи теперь сам, *какова* наша Оля?
Иванов. Что ж,— я не говорю,— *хороша*».

(Тургенев, «Нахлебник», д. I.)

«— *Как* фамилия? — спросил Сабуров.
— *Конюков*, — громко отчеканил красноармеец».

(Симонов, «Дни и ночи», гл. I).

«— Ну, *как* там? — спросил Сабуров и кивнул по направлению к правому берегу.
— *Трудно*,— сказал полковник,— *трудно*... И в третий раз шопотом повторил,— *трудно*».

(Там же, гл. III).

(В этом ответном предложении неполнота формального состава создается отсутствием обстоятельства места «там» или другого при безличном сказуемом — случай, как уже отмечалось выше, встречающийся только в диалоге);

дополнение:

«Фамусов. На голос мой спешил, *за чем же?* — говори.
Молчалин. *С бумагами-с*».

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

«Нина. О, боже, но *чего* ж ты хочешь?
Арбенин. *Мести!*»

(Лермонтов, «Маскарад», д. I).

«Маска. *Чего* хотите вы?
Князь. *Вас видеть*».

(Лермонтов, «Маскарад», д. I).

Тропачев. *С кем* у вас тяжба теперь? ...а?
Кузовкин. *С Гангинместеровскими наследниками*, разумеется...»

(Тургенев, «Нахлебник», д. I).

«Поля. *Чем* вы угощаете?
Татьяна. *Дервостями*...
Тетерев. *Правдой*...»

(Горький, «Мещане», д. I).

«— Петр, *о чем* ты думаешь? — спросила она.
— Так, *ни о чем*...— ответил муж».

(Чехов, «Именины»),

определение:

«Мелузов. *Какие* грехи за вами водятся?
Великатов. *Тяжкие*».

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

«— А вы на *каком* факультете? — спросила она у студента.
— На *медицинском*».

(Чехов, «Именины»).

«Бессеменов. Прошение-то, поди-ка, опять не написал.
. . . . . .
Татьяна. *Какое* это прошение?
Петр. *О взыскании с купца Сивова семнадцати рублей пятидесяти копеек за окраску крыши на сарае*...»

(Горький, «Мещане», д. I).

«Прасковья Ивановна (*после небольшого молчания*). Так как же, матушка, *каких* девушек изволите к своей особе приказать определить?

Ольга (*с некоторым нетерпением*). *Каких хочешь*».

(Тургенев, «Нахлебник», д. II);

обстоятельства:

«Осип. *Куда* тут?
Мишка. *Сюда*, дядюшка, *сюда*».

(Гоголь, «Ревизор», д. III)

«Кузовкин. *Куда ты?*
Иванов. *Домой*».

(Тургенев, «Нахлебник», д. I).

«Марина. *Где* Соня?
Телегин. *В саду*».

(Чехов, «Дядя Ваня», д. IV).

«— *Когда же? — Да хоть завтра*».

(Пушкин, «Барышня-крестьянка»).

«Городничий. *Где ж* он там живет?
Добчинский. *В пятом номере под лестницей.*
Бобчинский. *В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры*».

(Гоголь, «Ревизор», д. I).

«Таня. *Откуда* мужики?
Швейцар. *Из Курской*, кажется».

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I).

«Леонид Федорович. А кольцо получено мною оттуда.
Сахаров. Как оттуда? *Откуда?*
Леонид Федорович. *Из того мира*. Да».

(Там же).

«— *А куда же я* с тобою?
— *На юг. На Кубань или дальше*».

(Шолохов, «Тихий Дон», кн. IV).

Чаще, чем другие члены предложения, обстоятельства выражаются придаточными предложениями:

«Софья. *Где* ж лучше?
Чацкий. *Где нас нет*».

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

«Елецкий. ...*когда же мы* на охоту?
Тропачев. *Когда хотите...*»

(Тургенев, «Нахлебник», д. II).

«Елена. А самое интересное и премудрое во всей философии вот что: *зачем* вы, Терентий Хрисанфович, говорите мне о философии?
Тетерев. *Потому, во-первых, что смотреть на вас очень приятно...*»

(Горький, «Мещане», д. IV).

Рассмотрение «одночленных» (или «однокомплексных») вопросных и ответных предложений показывает, что они выполняют свою коммуникативную функцию и вполне достаточны — одни для выражения вопроса, другие для ответа на него, заключая в своем составе самые необходимые для выражаемой мысли слова. В них отсутствует лишь словесный «упаковочный материал», т. е. те слова, которые нужны лишь для полноты предполагаемого как единый образец (или образцы) формально-грамматического состава предложения; однако, как это показывает и само рассмотрение типичных структур вопросо-ответных предложений, таких образцов или моделей предложения, специфических для разных видов речи, значительно больше, чем это предполагается, и они еще не все известны.

Ответ на вопрос, требующий раскрытия какого-либо члена предложения, может быть дан, как уже говорилось выше, и неполным предложением, неполнота состава которого обусловлена наличием предшествующего контекста, например:

«Смельская. *На каких* условиях?
Негина. *Предлагают очень хорошие*, но я еще не решилась, я тебе оттуда напишу».

(Островский, «Таланты и поклонники», д. IV).

«Марья Константиновна. Так *где ж* он?
Бетси. *У Вово сидит*».

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I).

Этот вид неполных предложений уже рассмотрен нами выше.

2) Второй род предложений-вопросов, требующих подтверждения или отрицания выраженной в вопросе мысли, отличается от только что рассмотренных вопросов первого рода как содержанием и характером вопроса, так соответственно и составом предложения, чем обусловливается иное содержание и форма о т в е т о в.

Суть этого различия в том, что только предложения-вопросы второго рода являются построенными в иной, не утвердительной модальности, в модальности «вопросительно-предположительной». Именно в них реальность совершения какого-либо действия, бытия предмета, явления, наличия названного признака и т. п. ставится под вопрос. Иначе говоря, именно в них отношение к действительности действия-состояния или бытия предмета-явления или наличия признака, ему приписываемого и т. д. (полная вопросительная модальность), или отношение к действительности какой-то стороны проявления действия, бытия предмета-явления (частичная вопросительная модальность) — требует утверждения или отрицания.

Эта необходимость в утверждении действия-состояния или бытия предмета-явления в их конкретных проявлениях и лежит в основе вопросительности как м о д а л ь н о й категории. Свое внешнее, формально-грамматическое выражение вопросительная модальность находит прежде всего в вопросительной интонации и ударениях, которые одни уже способны служить ее показателем, и, кроме того, эта модальность может находить выражение и в порядке слов, и в модально-вопросительных частицах и наречиях. Однако последнее не обязательно — и вопросительные предложения второго рода могут по словесному своему составу ничем не отличаться от утвердительных, например: «Поля пришла?» — и т. п. В их составе нет вопросительных местоимений и наречий, требующих раскрытия. Содержание сообщения все выражено лексически полнозначными словами, но оно все или в каких-то сторонах своего проявления нуждается в утверждении.

Предложения-вопросы первого рода не требуют утверждения или отрицания реальности действия-состояния или бытия предметов-явлений, о которых в них идет речь. В этом смысле они или лишены вопросительной м о д а л ь н о с т и (как особой модальной категории в вышеуказанном ее понимании), или их вопросительная модальность — иного плана.

Предложения-вопросы первого рода требуют лишь раскрытия тех известных понятий, которые выражены в них лексически неполнозначными словами — вопросительными местоимениями и наречиями: «*Чего ж* ты хочешь? — *Мести*», «*Какие* грехи за вами водятся? — *Тяжкие*».

Само действие-состояние или наличие предмета-явления и их признаков не ставится под вопрос, не требует своего утверждения или отрицания, но требуется лишь конкретизация понятий, оставшихся неизвестными в

выраженных в общем виде, местоименными словами[1]. Поэтому-то прямым и достаточно полным ответом на эти предложения-вопросы и должны служить слово, группа слов (словосочетание) или предложение, раскрывающее это понятие, причем любой ответ, если им раскрывается исконное понятие, является полным, поскольку выполняет свою функцию.

Ответы на предложения-вопросы второго рода, выражая, в основном, утверждение или отрицание высказанной в вопросе мысли, по своему составу могут различаться следующим образом (как частично это уже описал Греч — см. сноску на стр. 108):

а) Повторение слова-вопроса (в основном, как форма утверждения). Повторяется то слово вопроса, на котором стоит смысловое ударение, выделяющее его как такое, относительно которого ставится вопрос.

Если это сказуемое, то утверждение (или отрицание) относительно его распространяется на все высказывание. Например:

«Осип. Что, там другой *выход есть?*
Мишка. *Есть*».

(Гоголь, «Ревизор», д. III).

«Мишка. Что же это, *больше* или *меньше* настоящего генерала?
Осип. *Больше*».

(Там же).

Если это выделяемое слово — не сказуемое, то утверждение или отрицание имеет частичный характер, относится лишь к выделяемому слову:

«Елецкий. И *давно* это дело завязалось?
Кузовкин. *Давно-с*».

(Тургенев, «Нахлебник», д. I).

«Астров. *Сильно* я изменился с тех пор?
Марина. *Сильно*».

(Чехов, «Дядя Ваня», д. I).

«Казарин. *Делами* занят все?
Арбенин. Любовью... *не делами*».

(Лермонтов, «Маскарад», д. I).

Достаточно и повторения части словосочетания:

«Хлестаков. Как, *только два блюда?*
Слуга. *Только-с*».

(Гоголь, «Ревизор», д. II).

---

[1] И это, как уже говорилось, есть всегда вопрос о логически ударяемом слове, о «предикате», почему и ответ всегда может быть перефразирован так, чтобы «ответное» слово, раскрывающее искомое неизвестное, выраженное вопросительным местоимением, стало сказуемым: «*Чего ты* хочешь?— [То, чего я хочу], это *месть*» и т. д.

Таким образом, можно сказать, что предложения-вопросы первого рода — это вопросы о предикате, о том, «что утверждается» в предложении, а предложения-вопросы второго рода — это вопросы о том, «утверждается ли» содержание высказывания (частично или полностью).

«Городничий. Вы говорите, он *молодой* человек?
Бобчинский. *Молодой*, лет двадцати трех или четырех с небольшим».

(Гоголь, «Ревизор», д. I).

Грамматические формы слова, формы глаголов, личных местоимений, естественно, могут меняться:

«Татьяна. *Налить вам* чаю?
Бессеменов. *Налей*».

(Горький, «Мещане», д. IV).

«Фамусов. Что за оказия! Молчалин, *ты*, брат?
Молчалин. *Я-с*».

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

Вместо повторения выделяемого слова может быть названо заменяющее его, синонимическое в данном контексте, понятие, вносящее в то же время уточнение, дополнение (что уже сближает данный вид ответов со следующим):

«Бетси. Карета *готова?*
Григорий. *Выезжает*».

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. II).

б) Вместо повторения выделяемого слова-вопроса в ответе имеют место характеризующие его слова его группы: обстоятельственные, определительные — как форма утверждения:

«Петрищев. Ну что ж, *добыл?* (денег.— *И. П.*).
Василий Леонидыч. Я тебе скажу, *с трудом*».

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I).

«Сахатов. Дома Леонид Федорович? *Встали?*
Таня. Как же, *давно уж!*»

(Там же).

«Артельщик. *Будет ответ* какой?
Барыня. А, это от Бурдье. (*Горячась*) *Никакого, никакого*, и несите назад».

(Там же).

«Анисья. *Будешь* меня *любить?*
Никита. *Во как!*»

(Л. Толстой, «Власть тьмы», д. I).

«Поля. ...Вот, например, Дон Сезар де Базан, испанский дворянин... удивительно хорошо! Настоящий герой...
Тетерев. Я *похож* на него?
Поля. Ой, что вы! *Совсем ни капли...*»

(Горький, «Мещане», д. I).

Уточняющее, дополняющее высказывание — как форма утверждения или отрицания:

«Тропачев. Что, у нас в Малиннике выводки *есть?*
Карпачов (*из угла басом*). *Два выводка*, а в Каменной Гряде *три*».

(Тургенев, «Нахлебник», д. I).

«Доктор. *Встали?*
Таня. *В спальне*».

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I).

«Домна Пантелевна. Самовар-то *готов* у тебя?
Матрена. *Развела*, гляди *зашумит скоро*».

(Островский, «Таланты и поклонники», д. III).

«Городничий. И *давно* он здесь?
Добчинский. *А недели две уж*».

(Гоголь, «Ревизор», д. I).

«Аксинья. Что ж их, как и те, *в воде* распущать?
Матрена. В *чаю*, говорит, лучше.

(Л. Толстой, «Власть тьмы», д. I).

в) Выражение утверждения или отрицания словом-предложением «да», «нет» и их речевыми эквивалентами — «конечно», «обязательно», «ни в коем случае» и т. п., модальными словами — «вероятно», «возможно» и т. д. Например:

«— А вы в *Сталинград?*— спросила она.
— *Да*, — сказал Сабуров».

(Симонов, «Дни и ночи», гл. I).

Однословные предложения «да», «нет» могут сопровождаться уточняющими их наречиями времени «уже», «еще» и др., частицами «ну», «уж» и т. п.:

«Поля. Вам *не пора ли* принять лекарство?
Татьяна. *Нет еще...*»

(Горький, «Мещане», д IV).

«Софья. Вам *рассказать?*
Фамусов. *Ну да*».

(Грибоедов, «Горе от ума», д. I).

В функции утвердительных и отрицательных слов-предложений выступают и наречные и частичные слова, выражающие соответствующие значения с большей экспрессией:

«Анна Андреевна. Скажите, так это *вы* были Брамбеус?
Хлестаков. *Как же*».

(Гоголь, «Ревизор», д. I).

«Негина... Ведь и в трудовой жизни есть свои удовольствия, Петя? Ведь *бывают?*
Мелузов. *Еще бы*».

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

Кроме описанных разновидностей специфических для диалогической речи «однословных», вернее, «одночленных» утвердительных и отрицательных ответов, всегда возможны ответы полными, неполными, простыми

и сложными предложениями, наконец, целыми связными монологами. Например:

«Н и л. ...ты влюблен, тебя — любят... Неужели и это не дает тебе радости?
П е т р. Ты забываешь кое-что. Во-первых — студентам жениться не позволено, во-вторых — мне придется выдержать баталию с родителями, а в -третьих...»

(Горький, «Мещане», д. IV).

Этот случай рассматривать не будем, поскольку предложения не специфического для диалогической речи вида уже разобраны выше.

К вопросам второго рода близки реплики, лишенные вопросительной интонации, как содержащие утверждение (или отрицание), не имеющее характера вопроса. Ответные реплики могут быть «одночленами», аналогичными ответам на вопросы, требующие утверждения или отрицания. Это может быть повторение слова предыдущей реплики в знак согласия с нею:

«Б е с с е м е н о в. Вот еще Татьяна... эх! бросить бы ей училище...
П е т р. Да, ей *надо* отдохнуть...
А к у л и н а И в а н о в н а. Ох, *надо*!»

(Горький, «Мещане», д. II).

Слова-предложения «да», «нет», «конечно» и их эквиваленты:

«К н я з ь. Но проиграться вы могли.
А р б е н и н. Я... *нет!*»

(Лермонтов, «Маскарад», д. I).

«К н я з ь. Большую жертву вы мне сделали.
А р б е н и н. *Ничуть*».

(Там же).

«А р б е н и н. Как быть. Я жить привык беспечно,
И ревновать смешно...
Н и н а. *Конечно*».

(Там же).

Описанные разновидности утвердительных и отрицательных «одночленных» ответов представляются не единственно возможными, но лишь самыми типическими.

Существуют и различные варианты их, и переходные случаи, обусловленные вариантами предложений-вопросов; кроме того, и названные разновидности ответов постоянно выступают не в чистом виде, а в сочетаниях друг с другом.

Так, утвердительные и отрицательные слова-предложения постоянно сочетаются с раскрывающими, распространяющими их как одночленными же (вида «а» и «б»), так и обычными развернутыми предложениями полного и неполного состава:

« Н и л. ...О чем думать — ведь *любишь?*
П о л я. *Ну да, ну да...* давно уже».

(Горький, «Мещане», д. II).

«Леонид Федорович. *Вы к сыну?*
Петрищев. Я? *Да, я на минуту к Вово*».

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I).

«Городничий. Чш! ...что? что? *спит?*
Осип. *Нет еще, немножко потягивается*».

(Гоголь, «Ревизор», д. III).

«Казарин. Играешь?
Арбенин. *Нет... утих!*»

(Лермонтов, «Маскарад», д. I).

Возможно и сочетание двух родов вопросов в одном предложении или в следующих одно за другим, что может вести к такому же сочетанию двух родов ответа.

Например, после вопроса первого рода, требующего раскрытия выраженного местоимением члена предложения, следует подсказывающее ответ разъяснение смысла вопроса, требующее уже только утверждения или отрицания:

«Анна Андреевна. Ну, да *кто* он такой? *Генерал?*
Добчинский. *Нет, не генерал*, а не уступит генералу».

(Гоголь, «Ревизор», д. III).

«Анна Андреевна. А собой *каков* он: *брюнет* или *блондин?*
Добчинский. *Нет, больше шантрет*».

(Там же).

«Хлестаков. *Где это* мы завтракали? *в больнице, что* ли?
Артемий Филиппович. *Так точно-с, в богоугодном заведении*».

(Там же).

«Хлестаков. Ну что, *как* у вас в гостинице? *Хорошо* ли все идет?
Слуга. *Да, слава богу, все хорошо*».

(Там же, д. II);

или «ступенчатый» вопрос, ведущий к двойному ответу:

«Тропачев. А *что* это за человек, *можно* узнать?
Кузовкин. *По-настоящему нельзя* — ну да уж что! Лычков, *Иван Артемьевич*, изволите знать».

(Тургенев, «Нахлебник», д. I).

3) Третий род предложений-вопросов — это вопросительно-побудительные предложения, представляющие собой: а) побуждение к высказыванию вообще, выражаемое «общевопросительным» местоимением «что», наречием «как» с побудительной частицей «ну», одной этой частицей «ну» с вопросительно-побудительной интонацией, ее сочетаниями: «ну же», «ну-те», «ну-ка», вопросительным междометием «а?» и т. п.; б) побуждение к продолжению высказывания в определенном направлении, выражаемое той же частицей «ну» с ее сочетаниями, а также рядом наречий и их сочетаний с междометиями и местоимениями: «а именно?», «например?», «так что?», и т. п.

Ответы на подобные вопросительно-побудительные предложения могут представлять собою как целые монологи, так и «однословные» и «неразвернутые» предложения.

Привожу примеры:

а) «— А? *Матвей?*— сказал он (Стива Облонский.— *И. П.*), покачивая головой.— *Ничего*, сударь, *образуется*, — сказал Матвей».

(Л. Толстой, «Анна Каренина», ч. I, гл. 2).

Пародийное изображение пустопорожнего обмена подобными репликами дано в известном монологе Хлестакова:

«Х л е с т а к о в. Бывало, часто говорю ему: «*Ну, что*, брат Пушкин?»— «*Да так*, брат», отвечает бывало: «*Так как-то все*». Большой оригинал».

(Гоголь, «Ревизор», д. III).

б) «С о н я. Мало ли дела? Только бы захотела.
Е л е н а А н д р е е в н а. *Например?*
С о н я. Хозяйством занимайся, учи, лечи. Мало ли?»

(Чехов, «Дядя Ваня», д. III).

«— Почему же ты так думаешь?»— «Да *по всему*»—
«Однако ж?»

(Пушкин, «Барышня-крестьянка»).

Рассмотрение предложений диалогической речи, особенно вопросо-ответной ее формы, показывает, что в ней мы имеем дело со специфическими синтаксическими структурами (что обусловлено спецификой их коммуникативных функций), которые не могут и не должны приравниваться в отношении их формально-грамматического состава к иначе построенным предложениям связной, монологической речи.

16. ЭКВИВАЛЕНТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

И вопросы, и ответы могут не иметь в своем составе никаких членов, а состоять из разных служебных слов: вопросительных, восклицательных, побудительных и других модальных частиц, союзов и т. п.: «разве?», «право?», «однако», «ну!» Например:

«Б а к и н. Он завтра или послезавтра уезжает.
Д у л е б о в. Да... *разве?*»

(Островский, «Таланты и поклонники», д. I).

«К а р п. ... Вы что барышню-то тревожите! Какой тут авантаж?
Б у л а н о в. *Все-таки...*»

(Островский, «Лес», д. I).

«— Почему же ты так думаешь?»— «Да по всему»—
«Однако ж?»

(Пушкин, «Барышня-крестьянка»).

Можно ли считать подобные синтаксические структуры, состоящие лишь из служебных слов, предложениями? Являются ли они высказываниями? Представляют ли собой изложение мысли?

Синтаксические функции служебных слов, выступающих самостоятельно, не в составе предложения, еще совсем не изучены и должны быть предметом особого рассмотрения, поэтому предварительный ответ на поставленный вопрос может быть дан лишь в самом общем виде.

Речевые функции подобных самостоятельно выступающих частиц, союзов — очень разнообразны. Ими выражается и отношение говорящего к предшествующему высказыванию: «удивление, недоверие («разве?»), несогласие и т. п., оценка его, подтверждение и уточнение («именно», «исключительно», «подлинно»); они могут представлять собою и возражения («все-таки», «однако») и побуждение к дальнейшему высказыванию («и?», «однако ж?»).

Выполняя названные речевые функции, эти частицы и союзы являются уже высказываниями и тем самым выполняющими функции предложений, но, не выражая дифференцированной, расчлененной мысли, они представляют собою скорее эквиваленты предложений, не получившие соответствующего развития и расчленения, или могут быть отнесены к «неразвернутым», «собственно неполным» предложениям, понимаемым как синтаксические структуры, не являющиеся «вполне предложениями».

То же и с еще бóльшим основанием может быть сказано и относительно предложений, состоящих из междометия. Эмоциональные междометия: «ах», «ох», «ай», «фи» и т. п. в функции предложения могут рассматриваться как эквиваленты предложений, не только не представляющие собою дифференцированной мысли, но выражающие нерасчлененно различные чувства, волю и мысль и являющиеся, в основном, экспрессивно-оценочными, эмоционально-волевыми речевыми реакциями на действительность.

Междометие в функции предложения может сочетаться с частицами, например, частицей «с»:

«Буланов. А у вас много денег-с?

Гурмыжская. Много. Вот посмотри! (*Открывает коробку. Буланов смотрит и вздыхает*). И все эти деньги я отдам тому, кого полюблю.

Буланов (*с глубоким вздохом*). *Ох-с!*»

(Островский, «Лес», д. III).

Эта способность междометия сочетаться с модальной частицей «с» «подтверждает, — как говорит в своей статье А. И. Германович, — положение о том, что в междометии содержится какое-то высказывание, которому частицей «с» придается почтительный характер»[1].

[1] Вопрос о способности междометия образовывать предложение получил широкое освещение в синтаксической литературе, но не имеет единого решения (см. «Синтаксис русского языка» А. А. Шахматова, «Синтаксис» Д. Н. Овсянико-Куликовского, «Русский язык» В. В. Виноградова, где указана и литература вопроса). Статья

Кроме того, в диалоге возможны различные переспросы, повторения и т. п. Функции таких переспросов и повторений весьма разнообразны — от простого переспроса непонятного или плохо расслышанного, когда переспрос имеет назначение побудить собеседника повторить сказанное — до выражения удивления, восхищения или, напротив, недоумения, иронического отношения, возмущения, несогласия, протеста и т. п. Например:

«— Нет, правда, Осип Абрамыч, лучше нам здесь укрепиться...
— *Укрепиться?.. Здесь?* — Левинсон покачал головой, как бы сочувствуя глупости начхоза».

(Фадеев, «Разгром», гл. VI).

«— Я — учащаяся, по немецким понятиям, вроде гимназистки: всеж-таки они культурные люди, что они мне сделают.
— *Вроде гимназистки?!* — воскликнула Майя».

(Фадеев, «Молодая гвардия», ч. I, гл. I).

«Перчихин. Я так полагаю, что всякое дело любовью освещается...
Бессеменов. *Всякое?*»

(Горький, «Мещане», д. I).

«Бессеменов. Ты, Пелагея, вот что... ты —дерзкая...
Перчихин. *Она?* Нет, она... у меня...»

(Горький, «Мещане», д. IV).

«— Ах, боже мой, да я-то тут при чем?— спросила Ольга Михайловна.
— *Как при чем?* Ты его жена».

(Чехов, «Именины»).

Повторение как знак непонимания и удивления:

«Нил. Тебе этот Тетерев не кажется похожим на топор?
Татьяна. *Топор? Какой топор?*»

(Горький, «Мещане», д. I).

Шишкин. Добрый вечер! Здравствуйте, русоволосая дочь короля Дункана.
Поля. *Что? Какого короля?*»

(Там же, д. IV).

«— Что думаете вы о золотых приисках, Дмитрий Федорович?— *О золотых приисках, сударыня?* Я никогда ничего о них не думал».

(Достоевский, «Братья Карамазовы», ч. III).

Переспросы могут быть также вызваны стремлением отделаться от ответа, оттянуть его, выиграть время для его обдумывания.

«— Скажите, пожалуйста,— начала Любочка после некоторого молчания: — правду ли говорят, что вы попали под суд?
— *Я?* Да, попал... К злодеям сопричастен, моя прелесть».

(Чехов, «Именины»).

А. И. Германовича «Синтаксис междометий и их стилистическое значение» — «Изв. Крымского пед. ин-та», т. XIV, 1949, стр. 14. (Пример из «Леса» указан в названной статье.)

Считать ли такие переспросы и повторения предложениями?

В той мере, в какой они являются отчетливым побуждением к высказыванию, вопросами, требующими повторения и разъяснения сказанного, сопровождающимися вопросительной интонацией, особенно, если они при этом включают в свой состав вопросительные слова, как, например, из приведенных: «Топор? *Какой топор*?», «*Какого короля*?», — они являются предложениями-вопросами. В той же мере, в какой эти повторения являются выражением отношения говорящего к предшествующей речи, своеобразной речевой реакцией на нее, не содержащей нового сообщения, высказывания или выражения расчлененной мысли, они могут рассматриваться как «собственно неполные» предложения, как неразвернутое, нерасчлененное, экспрессивное выражение мысли, чувства и волевых побуждений говорящего (побуждений к новому обдумыванию и высказыванию его мысли собеседником). Таким образом, и эти экспрессивные повторения можно рассматривать как своеобразные «эквиваленты предложения» или как особую разновидность «собственно неполных», «неразвернутых» предложений.

Особую группу неполных предложений переходного типа — от члена предложения к неполному предложению — представляют случаи различных добавлений, т. е. последующего, не имевшегося в виду в начале речи присоединения членов предложения — после паузы (на письме — после точки), иногда с помощью союза. Этот случай имеет место главным образом в разговорном языке, где ему способствует характер протекания беседы без предварительного обдумывания, конструирования целого.

Если, устранив паузы и союзы, соединить добавляемые члены, в ряде случаев получилось бы одно полное распространенное предложение:

«Тетерев. А! Нил! Откуда?

Нил. Из депо. *И после сражения, в котором одержал большую победу*».

(Горький, «Мещане», д. IV).

«Федор Иваныч. Кто это прошел?

Таня. Сахаров, Сергей Иваныч, и еще доктор. Они тут постояли, поговорили. *Все о спиритичестве*».

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I).

«Маша. Я все же храбрая. Вот взяла и решила: вырву эту любовь из своего сердца, с корнем вырву.

Тригорин. Каким же образом?

Маша. Замуж выхожу. *За Медведенка*».

(Чехов, «Чайка», д. III).

«Маша. ...Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я, а большинство тайно. Да. *И все водку или коньяк*».

(Там же).

«Елецкий. Да скажи, пожалуйста, что это за господин тут живет — кто он такой?

Е г о р. Кузовкин, Василий Семеныч, дворянин. *На хлебах проживает. Еще со времен старого барина».*

(Тургенев, «Нахлебник», д. I).

«К у з о в к и н. Заварилась каша. Покатили просьбы. *В уездный суд, в губернское, а из губернского опять в уездный с надписью».*

(Там же).

«А р т е м и й Ф и л и п п о в и ч. Как, ревизор?

Г о р о д н и ч и й. Ревизор из Петербурга, инкогнито. *И еще с секретным предписанием».*

(Гоголь, «Ревизор», д. I).

Присоединение членов предложения может иметь место и в книжном языке. В авторской речи это наблюдается, например, при передаче размышлений автора, во внутреннем диалоге, или как особый стилистический прием, с помощью которого выделяются, как особые сообщения, эти последовательно присоединяемые члены предложения, приобретающие тем самым вес и значение самостоятельных предложений.

Рассмотренные добавляемые, присоединяемые члены предложения можно, в зависимости от их грамматической природы и смысловой значимости, т. е. большей или меньшей самостоятельности заключенного в них сообщения, называть «добавочными членами предложения» или «добавочными неполносоставными предложениями», если же они присоединены союзом — «присоединенными». Если добавляемые или присоединяемые члены содержат не только уточнение, но и дают новый поворот мысли, их уместнее именовать добавочными (или присоединенными) неполносоставными или неразвернутыми предложениями. Например:

«Л е о н и д Ф е д о р о в и ч. ...но ведь вот Алексей Владимирович Кругосветлов, кажется, не кто-нибудь, а профессор, и вот признает то же. *Да не он один. А Крукс? А Валлас?»*

(Л. Толстой, «Плоды просвещения», д. I).

В заключение надо отграничить от неполных предложений такие словосочетания и предложения, которые могут быть с ними смешаны. Это прежде всего фразеологические сочетания, которые не должны подвергаться расчленению и не только не нуждаются в пополнениях, но могут быть ими разрушены, а также различные поговорки, крылатые выражения и т. п., установившиеся в языке смысловые и структурные единства. Они могут выступать в качестве членов предложения и предложений.

Например, ф р а з е о л о г и ч е с к о е с о ч е т а н и е в роли с к а з у е м о г о:

«Х л е с т а к о в. Литераторов часто вижу. С Пушкиным *на дружеской ноге».*

(Гоголь, «Ревизор», д. III).

«А впрочем он *за вас горой».*

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. IV);

в роли подлежащего:

«Суньтеся — *кому охота!*»
(Маяковский, «Товарищу Нетте...»);

фразеологическое сочетание, входящее как оборот (в данном примере — как уступительный):

«Серебряков. С нездоровьем еще можно мириться, *куда ни шло*, но чего я не могу переварить, так это строя деревенской жизни».
(Чехов, «Дядя Ваня», д. III);

часть пословицы, вошедшая в состав сложного предложения:

«— Я скажу, что ложь — тот же лес: *чем дальше в лес*, тем труднее выбраться из него».
(Чехов, «Именины»).

Подобные устойчивые сочетания (даже если они и не полны, как сочетания, например, «он за вас горой» при возможном параллельном «стоит горой») не должны подвергаться членению и анализу в отношении полноты их формального состава.

17. НЕПОЛНОТА ФОРМАЛЬНО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мы рассмотрели структуру самостоятельных предложений, смысловая и формально-грамматическая неполнота которых обусловливалась наличием контекста, общей обстановки речи и известной говорящему ситуации, наконец, достаточной лексической и интонационной выразительностью наличных членов предложения. Нам предстоит вкратце остановиться на рассмотрении неполноты формально-грамматического состава предложений, обусловленной тем, что эти предложения входят как часть в синтаксическое целое высшего порядка — сложное предложение[1].

Однако предложения, вошедшие в состав сложного, уже не являются полноценными самостоятельными высказываниями, и только благодаря известному несовершенству грамматической терминологии они также именуются предложениями, как и составленное из них сложное синтаксическое целое. Входя в это целое как его часть, они структурно упрощаются, как бы редуцируются. Слова, названные в одном предложении, не повторяются в другом, возникают строго определенные для каждого из видов предложений типы неполноты формально-грамматического состава его частей. Неполнота подобного рода уже не есть нарушение структуры сложного предложения, но составляет ее характерную черту. Поэтому если взятые изолированно, вырванные из целого составляющие его части и могут в целях анализа называться неполными, точнее — не-

[1] Если среди рассмотренных ранее предложений и встречались входившие в состав сложного, их неполнота обусловливалась не указанным обстоятельством.

полносоставными предложениями, притом с постоянным учетом того, что это, собственно, не предложения, а лишь его части, — то все сложное предложение в целом не может считаться неполным. И если для сложносочиненного предложения с большей относительной самостоятельностью составляющих его предложений наименование сочиненных предложений «неполными» в процессе их анализа еще может быть приемлемо, то для некоторых видов сложноподчиненного предложения, где неполнота составляющих его частей — их типичная структурная черта, подобное наименование бессодержательно и наталкивает на ложную мысль, что мы оперируем с «предложениями», тогда как на самом деле имеем лишь их составные части.

В сложносочиненных предложениях имеют место все перечисленные в классификации неполных предложений виды, в сложноподчиненных — в разных типах придаточного и в главном — определенные виды.

Самым характерным для сочиненных предложений является «опускание», вернее — неповторение одинаковых сказуемых.

Как правило, не повторяется одинаковое сказуемое при сопоставлении предложений, если это сопоставление как раз и основано на различии второстепенных членов групп сказуемых. Например:

«Вася пошел к себе на стройку, *Наташа в университетский городок*».

(Эренбург, «Буря», ч. II, гл. 16).

«Они долго молча рассматривали друг друга — *Кирилл выжидательно и робко, а Кравцов — пытливо и угрюмо*».

(Горький, «Ошибка»).

«— Дед, зачем ты пьешь из лампадки? — удивился Егорушка.— Кто пьет из ведра, *а кто из лампадки*,— ответил уклончиво старик».

(Чехов, «Степь», гл. IV).

«В его юродивости видят оригинальность, *в фамильярном обращении* — добродушие, в полном отсутствии взглядов видят консерватизм» (Петр Дмитриевич о графе Алексее Петровиче.— *И. П.*).

(Чехов, «Именины»).

«Тетерев. В сущности они оба глупы. Но — один глуп красиво, геройски, *другой — тупо, нищенски глупо*».

(Горький, «Мещане», д. II).

«Ермолай стрелял, как всегда, победоносно; я — *довольно плохо*, по обыкновению».

(Тургенев, «Льгов»).

То же имеет место и в научно-деловой книжной речи, составляя ее норму.

«По сибирским тундрам воины ехали на собаках, *а воеводы — на оленях*».

(История СССР, т. I, гл. XVII).

«Такие меры Иван III применял к Новгороду и Вятке, *а его сын Василий — к Пскову*».

(Там же).

Если сказуемое следующего предложения тождественно сказуемому первого, но не имеет при себе пояснительных слов, не образует группы, то оно не может опускаться, не оставив следа и не передав своих функций. В таком случае своеобразным заместителем сказуемого выступают союзы-частицы или союзы-наречия «тоже», «также», одновременно указывающие на тождественность отсутствующего сказуемого предыдущему и присоединяющие данное сообщение к предыдущим. Например:

«Командир полка был убит, *комиссар тоже*».

(Симонов, «Дни и ночи», гл. IV).

«На лугу косят, в саду косят, гостей нет, *суеты тоже*».

(Чехов, «Именины»).

При ином порядке главных членов — не при следовании их парами, а при скоплении подлежащих после сказуемого (см. следующие первые пять примеров) или восстанавливаемых сказуемых после подлежащего, стирается граница между сложносочиненным предложением и предложением с однородными членами, и только наличие возле подлежащих и опущенных сказуемых таких второстепенных членов, которые связаны со сказуемым, решает все же вопрос в пользу сложносочиненного предложения.

«Надоели скучные казенные разъезды, никому не нужные пакеты, *а больше всего — невдешние глаза Левинсона*».

(Фадеев, «Разгром», гл. I).

«Из канавы поднялся человек, *а за ним еще трое*».

(Шолохов, «Тихий Дон», кн. IV, ч. VIII).

«За острогом промелькнули черные закопченные кузницы, *за ними уютное зеленое кладбище*».

(Чехов, «Степь»).

«На сосновом столе стоял потухший самовар, *тут же поднос с чашками, допитая бутылка рому, не совсем допитый штоф водки и объедки пшеничного хлеба*».

(Достоевский, «Братья Карамазовы», ч. III, кн. VIII, гл. 2).

«Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь, *а возле нее Бэла*».

(Лермонтов, «Бэла»).

Не повторяются вместе со сказуемым и одинаковые члены его группы: дополнения, обстоятельства:

«Ярославцев вспомнил, что кто-то определил сумасшествие, как преобладание деятельности какого-нибудь одного из свойств психики над всеми другими, *а еще кто-то* — как поражение памяти каким-либо одним фактом или мыслью».

(Горький, «Ошибка»).

«Отечество
славлю,
которое есть,
Но трижды —
которое будет».

(Маяковский, «Хорошо!», 17).

Не повторяются одинаковые составные части сказуемого:

«На выздоровление Кравцова есть надежда, *на выздоровление его ученика — нет*».

(Горький, «Ошибка»).

Могут отсутствовать, не повторяясь, и составные части сказуемого — глагол-связка, модальное связочное слово или инфинитив:

«Сначала они пошли по глубокому месту, вдоль камыша: тут Дымову было по шею, *а малорослому Кирюхе с головой*».

(Чехов, «Степь»).

«Вы будете помогать бедным, *а те вас благословлять*».

(Достоевский, «Братья Карамазовы», ч. III, кн. VIII, гл. 3).

«Там будет бал, *там детский праздник*».

(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. I).

«— Давно мы с тобой в саду под липками не обедали, и *едва ли еще скоро придется*».

(Симонов, «Дни и ночи», гл. II).

Опускание сказуемого — полнозначного глагола или составных его членов — связки, модальных слов, инфинитива, а также и дополнений к нему, если они повторяли бы собою сказуемое и слова его группы, названные в предшествующем предложении, — не только является характерной структурной чертой сочиняемых, особенно сопоставляемых предложений, но и наблюдается, в основном, только в составе сложносочиненного предложения или в книжно-письменном языке (о чем уже говорилось выше, в § 9).

Для самостоятельных предложений, не связанных отношениями сопоставления, не характерно «опускание» сказуемого — полнозначного глагола, кроме эллипсиса глаголов движения и некоторых других, подсказываемых смыслом наличных членов предложения (см. § 10).

Отсутствие подлежащего не характерно для сочиненных предложений, поскольку подобные случаи, как правило, надо считать предложениями с однородными членами — однородными сказуемыми к одному и тому же подлежащему, а не неполными предложениями (как это полагает Пешковский). Считать словосочетания со сказуемыми при общем для них подлежащем за неполные предложения можно только в том случае, если в них заключены целые отдельные высказывания, что выражается особым порядком слов, формой предложений, их смысловыми взаимоотношениями. Например:

«Хлестаков. Чай такой странный: *воняет рыбой, а не чаем*».

(Гоголь, «Ревизор», д. II).

Второе словосочетание можно считать предложением, так как оно связано с первым не в плане перечисления, а разъясняет его.

«— Нету Михаила, *второй месяц в Вешках, служит в какой-то части*».

(Шолохов, «Тихий Дон», кн. IV, ч. VIII, гл. 17).

Поскольку первое предложение — безличное, нельзя говорить об однородных сказуемых к общему подлежащему, кроме того, и здесь отношения разъяснительные.

Управляемое слово, раз названное, может не повторяться в следующих сочиненных предложениях, и это составляет для них норму:

«Три лодки были уже битком набиты пассажирами, *а две стояли пустые*».

(Чехов, «Именины»).

Управляемое слово может не повторяться и в том случае, если будет названо в последующих сочиненных предложениях:

«В о й н и ц к и й. Отец уплатил только семьдесят и *осталось долгу двадцать пять тысяч*».

(Чехов, «Дядя Ваня»).

«Вот тебе,
к маузеру,
двести бери,
а это —
сто патронов
к винтовкам».

(Маяковский, «Хорошо!», 5).

О п р е д е л я е м о е с л о в о может не повторяться, если оно было или будет названо, хотя бы и не в том же падеже и не в аналогичном словосочетании — и это тоже норма для сложносочиненных предложений во всех стилистических разновидностях языка.

«Вечное несчастье, которое уже не раз на себе испытал Сабуров в эту войну,— все западные берега русских рек были обрывисты, *все восточные отлоги*».

(Симонов, «Дни и ночи», гл. III).

«Глаза смотрели с тем же тоскливым блеском, *и правый — однообразно мигал*».

(Фадеев, «Разгром», гл. II).

«Я ... разостлал бурку на лавке, *казак свою на другой*».

(Лермонтов, «Бэла»).

Самым характерным д л я п о д ч и н е н и я п р е д л о ж е н и й является то, что в роли того или другого главного или второстепенного члена может выступать целое предложение — придаточное. Однако из этого вовсе не следует, что то предложение, в котором какой-то из его членов замещен придаточным предложением, должно считаться неполным, как это полагает Пешковский, выдвигающий даже в качестве фактора, создающего неполноту, «выражение представления, соответствующего недостающему члену, целым соседним предложением или целой группой их». Именно в столь тесном слиянии предложений в одно сложное целое, в котором придаточные предложения по своей синтаксической функции выполняют роль членов предложения, приобретая их свойства, и заключается специфика подчинения. Нельзя считать неполным такое главное предложение, в котором роль подлежащего или дополнения (причем и это

не всегда можно разграничить) играет придаточное, тем более что далеко не всегда можно пополнить подобное «неполное» главное хотя бы соотносительным словом, которое заменило бы отсутствующее в данном предложении и представленное придаточным подлежащее или дополнение. Придаточные могут до такой степени приближаться к членам предложения, что употребляются параллельно им: члены предложения и придаточные соединяются сочинительными союзами, перед теми и другими стоят предлоги, отрицания и т. п.[1] Например:

«Вы можете жить у Мари, у меня, у другого, у третьего, *у кого только есть кусок хлеба поделиться с вами*».

(Писемский, «Люди сороковых годов»).

«Он (механический соловей.— *И. П.*) пел *не когда ему хотелось*, а когда заводили завод».

(Эренбург, «Белые и черные»).

В составе сложноподчиненного целого такие предложения с замещенными членами, именно в силу этого замещения, полны; будучи извлечены из целого, они представят уже некий мертвый препарат для морфологического анализа. То же рассуждение справедливо в отношении типического опускания подлежащего или сказуемого в определенных видах придаточных предложений, а также для менее типического опускания определяемых или управляемых слов, если они были названы в каком-либо из предложений, составляющих сложноподчиненное. Все эти случаи являются нормой и для научно-делового книжного языка.

Приведем примеры различных типических случаев.

О т с у т с т в и е п о д л е ж а щ е г о. Если придаточное предложение следует за главным и имеет с ним общее подлежащее, то, будучи названо в главном, подлежащее может не повторяться в придаточном. В случае препозиции придаточного подлежащее в главном обычно повторяется. Например:

«Она думала, что они поговорят, но он молчал, и она все смотрела и смотрела на него, *будто боялась, что забудет его, когда расстанется, будто хотела запомнить его навсегда вот таким грустным, вихрастым, чуть постаревшим за ночь*».

(Ген. Гор, «Дом на Моховой», гл. I).

«Т е т е р е в. Он переставил мебель и будет жить в сознании, что *долг свой перед живнью и людьми отлично выполнил*».

(Горький, «Мещане»).

То же в научно-деловом языке:

«Через несколько лет он (Иван III.— *И. П.*) сам побывал в Новгороде, *где разбирал жалобы на притеснения со стороны новгородских бояр и посадников...*»

(История СССР, т. I, гл. XVII, стр. 261).

[1] См. об этом в статье В. Н. Мигирина «К вопросу об эволюции придаточного предложения», «Известия Крымского пед. ин-та», т. XIV, 1949 (оттуда взят пример из Эренбурга).

Повторение подлежащего может быть стилистически недопустимым, как излишнее и загромождающее:

«В городе у Старцева была уже большая практика... Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, *так как страдал одышкой*».

(Чехов, «Ионыч»).

Но, разумеется пропуск подлежащего, где оно не то же, что в главном предложении и где это приводит к неясности смысла, надо считать неполнотой, например:

«Хлестаков. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, *что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге*».

(Гоголь, «Ревизор», д. II).

Подлежащее выражено придаточным предложением, чем создается якобы «неполнота» главного:

«— *Мне всегда казалось*, что сначала всех нас и меня могут убить, а его (доктора) уже после всех или вовсе никогда» (слова Ани).

(Симонов, «Дни и ночи», гл. III).

«*И мне все время казалось*, что я не смогу завтра написать статьи о нем, как обещал редакции».

(Н. Никитин, «Калистрат»).

Отсутствие управляемого слова — дополнения, которое может быть выражено придаточным дополнительным:

«*Он даже намекнул*, что наконец-то сможет передать управление крепостью».

(Ив. Кратт, «Остров Баранова», гл. IX).

«Серебряков. *Говорят*, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. *Боюсь*, как бы у меня не было».

(Чехов, «Дядя Ваня», д. II).

В тех случаях, когда подлежащее или дополнение главного предложения выражено придаточным предложением, главное предложение может быть дополнено соотносительным словом — местоимением «то», лишь совершенно формально замещающим подлежащее или дополнение, причем вставка соотносительного слова далеко не всегда возможна (смотри приведенные примеры) и почти всегда излишня. Кроме того, в главном предложении нет и никаких формальных признаков необходимости его пополнения, в смысловом же отношении оно дополняется и может быть дополнено только придаточным предложением, с которым и составляет одно целое. Следовательно, нет никаких оснований считать эти главные предложения неполными.

Отсутствие определяемого слова, названного в предшествующем или последующем предложении:

«И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, *что к старшему ездят адмиралы, ко второму генералы, а к младшему все англичане*».

(Тургенев, «Однодворец Овсяников»).

Отсутствие сказуемого. Сказуемое, как правило, не повторяется в придаточных сравнительных, так как оно почти всегда по сути дела то же самое или подобно действию главного, однако придаточное не превращается в сравнительный оборот, если налицо члены группы сказуемого:

«Чуть что,— и пойдет меня есть, *как ржа железо*».
(Горький, «Бывшие люди»).

«Генерал в санях ревет,
Как медведь в берлоге».
(Некрасов, «Генерал Топтыгин»).

«Смеется солнце красное,
Как девка из снопов».
(Некрасов, «Кому на Руси...»).

«И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, *как пух от уст Эола*».
(Пушкин, «Евгений Онегин», гл. III)[1].

Сказуемое само может быть выражено придаточным, по мере приближения которого к сравнительному обороту, сложное предложение превращается в простое.

«Видно, душа у тебя, что у *ерша*».
(Н. Никитин, «Калистрат»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги и возвращаясь к поставленному в начале работы вопросу о том, что́ такое неполное предложение, мы вынуждены констатировать невозможность дать удовлетворительное, построенное на грамматической основе определение неполных предложений и выдвинуть единый четкий критерий деления предложений на полные и неполные, по крайней мере при настоящем уровне разработки учения о предложении.

Более того, предварительный анализ предложений, именуемых неполными, позволяет предположить, что и после того, как будет разрешена «неотложная задача советского марксистского языкознания»— «всестороннее, исчерпывающее описание и определение сложной и противоречивой структуры предложения на основе принципов диалектического материализма» (В. В. Виноградов), вряд ли окажется возможным распределить все предложения по двум рубрикам «полных» и «неполных», поскольку намечается по крайней мере несколько видов смысловой и структурно-грамматической «неполноты» предложения.

Исследование показало, что наименование «неполные предложения» объединяло самые разнообразные виды синтаксических структур, в том числе и законченные в структурно-грамматическом отношении.

[1] Примеры сообщены чл.-корр. Академии Наук СССР проф. Е. С. Истриной.

Вопрос о термине для ряда рассмотренных типов предложения решается в зависимости от того, что будет пониматься под предложением.

Если под предложением понимать только суждение, притом афористического характера, т. е. представляющее собою законченное в смысловом отношении целое с грамматически отчетливо выраженными в пределах данного предложения субъектом и предикатом, т. е. подлежащим и сказуемым, и другими необходимыми по смыслу высказывания членами, то неполными предложениями будут считаться суждения, не имеющие в своем составе каких-либо из ожидаемых членов.

Все же другие типы высказываний — вопрос, побуждение, пожелание, выражение чувств — окажутся за пределами предложения.

Если же под предложением продолжать понимать реальную единицу речевого общения — форму выражения отдельного акта мысли в том или ином сочетании с выражением воли и чувств — суждение, сообщение о факте, побуждение, вопрос, выражение эмоций и т. п., то почти каждое предложение в условиях его употребления окажется выполняющим свои коммуникативные функции, и с этой точки зрения — полным.

Иначе говоря, каждое предложение, рассматриваемое как форма выражения единичного акта мысли (совместно с выражением воли и чувства) и как единицы речевого общения — в условиях его употребления, выполняющее свои коммуникативные функции, является полным предложением.

Если же рассматривать искусственно изолированное предложение со стороны его грамматического состава в плане сопоставления этого состава с реконструируемым по нормам книжно-литературного языка грамматическим составом предложения аналогичного или близкого типа, которое, будучи употреблено вне контекста и ситуации, могло бы выразить то же основное содержание высказывания, выражавшееся рассматриваемым предложением в условиях его употребления, — то рассматриваемое предложение может быть определено как относительно неполное или неполносоставное.

Подобного рода сопоставления, не имея научного значения, тем не менее могут быть методически оправданы в школьной практике как прием обучения точному и полному изложению мысли в пределах одного предложения, как способ ознакомления с грамматически законченными структурами книжно-литературного языка, тогда как неразвернутые разговорные конструкции усваиваются сами, непосредственно в процессе постоянного речевого общения.

Однако подобные сопоставления не должны приводить к насилиям над языковыми структурами, к подменам одних структур другими, т. е. фактически к заменам одних форм выражения мысли другими, игнорированию грамматических форм, отрыву содержания от формы.

Поэтому подобные операции не должны производиться над чисто разговорными типами структур предложений, которые, будучи перенесены в книжно-литературный язык лишенными интонации и иных речевых средств вы-

ражения, не вполне сопоставимы с книжными структурами и не должны искажаться, пополняясь методом произвольных «подразумеваний». Их форма должна изучаться со стороны ее специфических особенностей. В школьной же практике такие живые разговорные структуры предложений не должны непременно распределяться по рубрикам «полных» и «неполных».

Приведу для иллюстрации сказанного небольшой отрывок из «Анны Карениной», в котором представлены и полные конструкции предложений авторской речи (первые два предложения и авторская речь, сопровождающая прямую речь), и разговорные структуры диалогической речи персонажей.

«После детей вышли из лесу и Сергей Иванович с Варенькой. Кити не нужно было спрашивать Вареньку: она по спокойным и несколько пристыженным выражениям обоих лиц поняла, что планы ее не сбылись.

— *Ну что?* — спросил ее муж, когда они опять возвращались домой.

— *Не берет*,— сказала Кити...

— *Как не берет?*

— *Вот так*, — сказала, она, взяв руку мужа поднося ее ко рту и дотрагиваясь до нее нераскрытыми губами.— *Как у архиерея руку целуют.*

— *У кого же не берет?* — сказал он смеясь.

— У обоих. *А надо чтобы вот так...*

— *Мужики едут...*

— *Нет, они не видали*».

(Л. Толстой, «Анна Каренина», ч. VI, гл. 5).

Кити и Левин говорят на хорошо обоим известную тему, не называя ее, — о том, сделал ли Сергей Иванович ожидаемое предложение Вареньке.

Два последних предложения их диалога, формально полные, по существу неполны, так как выражают совсем не то, что можно понять, если взять их изолированно. Однако вряд ли можно считать такую неполноту неполнотой их грамматического состава. Остальные предложения их диалога в еще меньшей степени поддаются делению на «полные» и «неполные», как представляющие собой типические разговорные структуры, попытка пополнить которые изменит их форму.

Представляется целесообразным не распространять термина «неполное предложение», в основном выработанного применительно к законченным книжным структурам, на чисто разговорные синтаксические образования живой разговорной речи, пока они не будут изучены со стороны особенностей их формы.

Какую же окончательную оценку дадим мы выделенным в процессе исследованиям материала разным видам «относительно неполных» и полных предложений?

1. Основную группу предложений составляют такие, которые мы охарактеризовали как относительно неполные или неполносоставные. Это, следовательно, такие предложения, в которых отсутствует какой-либо член их, ясный из контекста и ситуации (даже обычно названный в контексте книжной речи, т. е. получивший словесное

оформление), — такой член, который при данной структуре предложения и данном его содержании должен был иметь место, и его о т с у т с т в и е н е с о с т а в л я е т н о р м ы для данного вида речи.

Из рассмотренных нами таковы в основном предложения книжно-литературной авторской речи, в которых — как индивидуальный, стилистический прием — «опущен» тот или иной член предложения, в основном — подлежащее, совершенно очевидное из контекста и «восстанавливаемое» без нарушения грамматической структуры предложения, лишь с искажением эстетико-стилистических намерений автора.

Мы назвали предложения связной монологической речи, в которых отсутствует член предложения, подсказываемый смыслом и структурой синтаксического целого, н е п о л н о с о с т а в н ы м и или о т н о с и т е л ь н о н е п о л н ы м и по отношению к возможным в аналогичных условиях конструкциям книжного типа, в которых все ожидаемые члены налицо. Однако мы должны помнить, что такое наименование чисто условно, поскольку предложения эти полностью передают в условиях их употребления вложенное в них содержание, и, следовательно, их с о с т а в д о с т а т о ч е н для его выражения.

Предлагаемое наименование продиктовано отчасти стремлением иметь термин для соответствующей структуры предложений, отчасти — практическими, учебно-педагогическими соображениями: помочь отличить конструкции разной степени структурно-грамматической полноты и научить пользоваться более развернутыми, полносоставными конструкциями книжно-литературного типа (разговорные структуры усваиваются непосредственно).

2. Вопросо-ответные предложения диалогической речи, которые могут состоять из одного слова или группы слов, т. е. из одного члена предложения, единственно необходимого для передачи сообщения, — «одночленные», «однокомплексные» предложения диалогической речи, составляющие для нее норму и достаточно полные в условиях их употребления:

«Н е с ч а с т л и в ц е в. *Куда и откуда?*
С ч а с т л и в ц е в. Из Вологды в Керчь-с... А вы-с?
Н е с ч а с т л и в ц е в. Из Керчи в Вологду».

(Островский, «Лес», д. II).

Дополнение их состава до состава возможной параллельной полной структуры вопроса или ответа может быть допускаемо из методических соображений — с целью научить пользоваться «полными ответами», но не имеет никакого научного значения.

3. Именные конструкции структурно совершенно законченные, представляющие собой или экспрессивную, качественно-оценочную, или обобщенно-логическую характеристику лица, предмета, явления, ясного из ситуации или контекста: «Какая прелесть!», «Прекрасная мысль» и т. п. Предложения эти, как не допускающие пополнений, не должны относиться к неполным.

4. Предложения, достаточно полные в смысловом отношении и вне контекста, но имеющие такие члены, которые якобы свидетельствуют об эллипсисе глагольной формы, на самом деле излишней для предложений данной структуры, названные нами э л л и п т и ч е с к и м и: «Татьяна в лес», «В горах безмолвие ночное» и т. п.

5. Предложения, ставшие общеупотребительными и общепонятными формулами речевого общения: «Покойной ночи!», «Что с вами?» и т. п., не требующие никаких пополнений.

6. Высказывания, не представляющие собой выражения расчлененной мысли, еще не оформившиеся как предложения, н е р а з в е р н у т ы е и с о б с т в е н н о н е п о л н ы е предложения.

7. Разнообразные эквиваленты предложений: высказывания, состоящие из частичных слов и т. п., наконец, повторы, добавления и т. д.

Перечисленные виды предложений не могут быть объединены никаким общим признаком, характеризующим их в смысловом или структурном отношении и противопоставляющим их как н е п о л н ы е в этих отношениях всем другим предложениям, определяемым как п о л н ы е.

Из перечисленных групп только две последние не представляют собой полноценных высказываний, выражающих вполне развитую мысль, и только они могут быть названы н е п о л н ы м и как предложения, т. е. не являются вполне предложениями. Первые же пять групп синтаксических структур представляют собой речевые единицы, которые в контексте или при наличии соответствующей ситуации, т. е. в конкретных реальных условиях своего употребления, выражают всю полноту заключенного в них содержания, т. е. представляют собой законченные высказывания и тем самым полные предложения.

При этом только к первым двум группам — и то условно и относительно, в порядке их анализа, — применимо наименование н е п о л н о с о с т а в н ы х (в целях, указанных выше); три же последующие группы представляют собой совершенно законченные определенные живые структуры языка, для которых та или иная степень смысловой или структурной неполноты, например, наличие «субъекта» не в предложении, а вне его — для односоставных качественно-оценочных, или так называемый (чаще лишь условно предполагаемый) эллипсис глагольной формы — для эллиптических, — их характерная и неотъемлемая структурная черта.

При такой постановке вопроса, т. е. при учете всех средств выражения и, главное, ситуации и контекста (обусловливающих нужную степень полноты словесного оформления мысли), а также при учете структурно-грамматических особенностей предложений, — почти каждое предложение окажется выражающим относительно законченное высказывание и тем выполняющим свои коммуникативные функции, т. е. п о л н ы м предложением.

Н е п о л н ы м и же предложениями можно будет считать только те относительно редкие и нетипичные для развитого речевого общения

синтаксические структуры, в которых отражается недифференцированная мысль, не оформившаяся в приведенные друг с другом в связь словесные образы.

Такое соотношение между п о л н ы м и и н е п о л н ы м и предложениями в языке представляется гораздо более естественным, чем отнесение почти всех предложений разговорного языка и значительной части предложений языка книжно-литературного к н е п о л н ы м.

Наш обзор видов предложений, обнаруживающих в словесном составе свою зависимость от контекста или ситуации, далеко не полон. Не только перечисленные, но и все другие, еще не изученные виды структур, особенно структуры живых типов высказывания — разговорного языка, которыми в соответствующей форме выражается вполне расчлененная, развитая мысль, не должны подводиться под нивелирующую их формальную категорию н е п о л н ы х. Они должны изучаться в отношении специфических особенностей их построения и функций, степени их смысловой и структурной полноты, зависимости ее от целевой установки высказывания и условий употребления.

Иначе говоря, вместо формального распределения предложений живого языка по рубрикам «полных» и «неполных», схоластической, односторонней, недиалектической их трактовки, — углубленный конкретный анализ каждого вида предложения в условиях его реального и типического бытия, с учетом прежде всего степени выполнения им его коммуникативных функций — функций орудия общения и выражения мысли, его всесторонняя диалектическая характеристика.

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

Том II 1953

А. Д. Григорьева

К ИСТОРИИ МЕСТОИМЕНИЙ *СЕЙ* И *ОНЫЙ* В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА XIX в.

(*Сей* и *оный* у Пушкина)

В неопубликованной статье «Проблемы исследования русского языка XVIII в.» академик В. В. Виноградов, указывая на обилие неразрешенных проблем в истории литературного языка, отмечает в числе прочих и проблему, связанную с исторической трансформацией местоимений, с отражением этой трансформации в истории русского литературного языка. «Не изучен,— пишет В. В. Виноградов,— общий процесс исторических трансформаций и изменений в сфере категории местоимений или местоименных слов (ср. статьи проф. П. Я. Черных об употреблении «ты» и «вы», об истории местоимения «этот» и его вариантов[1]). Даже взаимодействие книжно-славянских и народных русских элементов в этой области еще совсем не было предметом рассмотрения в русском языкознании. Между тем достойны специальных исследований и те специфические процессы в истории русского литературного языка XVIII—XIX вв., которые связаны с употреблением местоимений личных, указательных, отрицательных и других. Достаточно сослаться на сложные синонимические соответствия местоимений в системе трех стилей (ср. *сей*, нейтральное *тот* и простонародное *этот*), на борьбу Карамзина и его школы с перегрузкой речи местоимениями и частицами, на ту полемику, которая развернулась вокруг слов *сей* и *оный* в 20—30-х годах XIX в., на те своеобразные и сложные явления, которые были связаны в русском литературном языке XIX в. с вытеснением *оный* через *тот* и в известных условиях — через косвенные падежи местоимения 3-го лица *его*, *ее* и т. п.»

Задачей настоящей работы является частичное разрешение намеченной академиком В. В. Виноградовым проблемы, а именно анализ употребления указательных местоимений-синонимов *сей* — *этот* — *оный* в произведениях Пушкина и отчасти его литературного окружения. Этот период, связанный по времени с первой третью XIX в., интересен тем, что представляет собой переломный этап в истории употребления указательных местоимений-синонимов.

Разбирая вопрос о стилистической роли синонимических средств выражения, идет ли речь о лексике, морфологии или синтаксисе, необходимо

[1] П. Я. Черных. Местоименные формы «эвтот», «энтот» и т. п., «Доклады и сообщения филолог. факультета, Моск. гос. ун-та», 1949, кн. 8.

постоянно иметь в виду, что выводы по этому вопросу имеют временный характер. Каждый период в истории литературного языка представляет в области языкового употребления систему соотносительных синонимических языковых средств, соответствующим образом стилистически окрашенных. Эта система может при переходе от одного периода к другому подвергаться более или менее существенным перегруппировкам как в границах языковых средств каждого стилистического ряда, так и в области взаимоотношений между отдельными стилистическими пластами языка с точки зрения их использования в литературном языке. То, что является стилистически окрашенным для одного времени, может в другое историческое время рассматриваться как стилистически нейтральное. Сами понятия «стилистически окрашенное» и «стилистически нейтральное» являются понятиями историческими.

Рассматриваемые нами местоимения интересны тем, что сама их синонимичность — явление сравнительно недавнего прошлого (XVII—XVIII вв.). Зафиксированное древнейшими русскими памятниками письменности как факт живого русского языка, входящий в состав его основного словарного фонда, указательное местоимение *сь* или его членная форма *сей* выступали как форма, противопоставленная по значению местоимению *тъ* (или *тътъ*), лишь в очень ограниченном количестве случаев, а именно при указании на ближе расположенный предмет в противоположность более отдаленному. Постепенно круг употребления местоимения *сей* расширился, оно сделалось функционально более богатым. Необходимо заметить, однако, что это функциональное обогащение местоимения *сей* было (если судить по произведению Котошихина «Россия в царствование Алексея Михайловича» или по запискам кн. Долгорукой) скорее фактом книжной, чем разговорной речи. Приблизительно в XVII в. в литературном языке появляется местоимение *этот* как разговорный синоним местоимения *сей*, постепенно вытесняющий *сей* из книжной речи.

Определившись как принадлежность книжного и разговорного языка, местоимения *сей* и *этот* тем самым уже приобрели в литературном языке очень широкую стилистическую окраску. История их взаимодействия — это история взаимодействия книжной и разговорной речи. В связи с усиливающимся проникновением элементов разговорной речи в речь книжную происходят нейтрализация в литературном языке местоимения *этот* и усиление стилистической специализации местоимения *сей*.

Стилистическая дифференциация этих местоимений определяется в конце XVIII — начале XIX в. Возможность использования широкого слоя разговорно-просторечных элементов в книжной речи была узаконена для низших жанров литературного языка еще М. В. Ломоносовым. И если в произведениях Ломоносова в силу их специфики используется только указательное местоимение *сей*, то к концу XVIII в. в книжную речь, представленную произведениями «низших» жанров, начинает проникать и его синоним — местоимение *этот*, как ярко выраженное средство, характеризующее разговорное просторечие. К концу XVIII в., в результате

опыта ряда писателей того времени (во главе с Фонвизиным), уже сложилась определенная традиция преимущественного употребления разговорного местоимения *этот* прежде всего в произведениях драматических — в комедиях, в «низших» литературных жанрах. Нарушение этой традиции вызывало осуждение за несоответствие языка персонажей комедии живому разговорному языку[1].

Карамзин считал, что язык драмы вообще должен опираться на стихию разговорной речи. А. Старчевский, характеризуя отношение Карамзина к местоимениям *сей* и *оный*, пишет: «Уже Карамзин чувствовал отвращение к этим двум близнецам и высказывал его в разборе комедии «Граф Ольсбах»: «Перевод достоин похвалы, — замечает Карамзин, — только жаль, что господин переводчик употребляет *сей* и *оный*, что на театре всегда бывает противно слуху. Употребляем ли мы сии слова в разговорах? Если нет, то и в комедии, которая есть представление общежития, употреблять их не должно»[2]. Местоимение *этот* рано начало проникать в письма, не предназначенные для опубликования. Это было отмечено Я. К. Гротом, который писал: «Чрезвычайно любопытно сравнить его (Фонвизина.— *А. Г.*) рассказы об одних и тех же предметах в двояком виде; в беседах с сестрою более свободы и живости, нежели в других; тут он даже предупреждал современных нам гонителей *сего — онаго*, часто употребляя местоимение *этот* и почти никогда не прибегая к *оному*: «кажется, довольно познакомился я с Парижем, и узнал *его* столько, что в другой раз охотою, конечно, в *него* не поеду, мне обещали показать *этого* урода (Руссо), Вольтер также здесь: *этого* чудотворца на той неделе увижу». Впрочем не избегает он и местоимения *сей*»[3].

Местоимение *этот*, наряду с местоимением *сей*, встречается и в сатирической литературе конца XVIII в. Так, они есть у Крылова в его «Почте духов», правда, при преобладании *сей*. Чаще всего *этот* употребляется в прямой речи того или иного действующего лица, что, впрочем, не исключает параллельного использования в этих же условиях и местоимения *сей*. Например, в «Почте духов» мы встречаем: «Вот, душа моя! — говорит она ему,— ...это не вино, а премудрость, заключенная в бутылках, и мне нередко случалось видеть секретарей, идущих в приказы с таким тяжелым грузом *сей* премудрости...»; «любезный супруг, — сказала она ему, — ты уже довольно потрудился и попотел; оставь пожалуй *этот* скучный стул и

[1] Все герои комедии Фонвизина «Недоросль» пользуются исключительно местоимением *этот*. Местоимение *сей* встретилось на протяжении всей пьесы только 3 раза: в речи Софьи—на *сих днях* (д. I), в письме Стародума, где *сей* представляет собой факт книжного стиля речи (д. I), и в речи Кутейкина, где мы сталкиваемся скорее с диалектизмом: «По-*сесь*-час кроме задов новой строки не разберет» (д. III). Преобладающее использование местоимения *этот* характерно для большей части комедийной литературы этого времени.

[2] А. Старчевский. Жизнь Николая Михайловича Карамзина. «Библиотека для чтения», 1849, т. XCIII, ч. 1, стр. 30.

[3] См.: Я. К. Грот. «Фонвизин». Разбор сочинений князя Вяземского 1848 г.— «Очерки по истории русской литературы», СПб., 1901, т. III.

пойдем лучше на мою половину»[1]. Параллельное употребление местоимений *сей* и *этот* мы наблюдаем в жанре ирои-комической поэмы, опять-таки при преобладании местоимения *сей*. Таким образом, использование местоимения *этот* в литературе XVIII в. определялось его яркими стилистическими свойствами, которые особенно выделялись на фоне книжного местоимения *сей*. По этому поводу Я. К. Грот писал: «Реформа письменного языка начата была у нас сатирическими писателями (Кантемир, Фонвизин, Крылов)... Но язык, который бессознательно угадали наши три сатирика, должен был окончательно развиться и приобрести всеобщее одобрение в повести, как в таком роде литературы, в котором по связи его с жизнью дарование и искусство автора могут действовать на самый обширный круг читателей»[2].

Карамзин и явился таким писателем, который сумел положить начало творческому оформлению тенденции, направленной на разрушение рамок старых трех стилей и выработку единого литературного языка. Осуществляя практически эту выработку норм литературного языка, Карамзин, основываясь на отборе языковых средств, закрепленных ранее как специфические за тем или иным стилем речи (высоким, низким), естественно, сталкивался с такими языковыми фактами, которые, обозначая одно понятие или явление, по-разному его выражали, т. е. с синонимами, закрепленными за различным стилем речи. Выработка единой литературной нормы, средней для всех жанров, основанная на усилении в книжном языке разговорных элементов, определила и отношение Карамзина к местоимениям-синонимам. О том, как Карамзин ставил этот вопрос и разрешал его, свидетельствует материал, предоставленный нам академиком В. В. Виноградовым. Этот материал позволяет проследить расширение Карамзиным употребительности местоимения *этот* и *он* за счет сокращения местоимений *сей* и *оный* при последующем переиздании некоторых его произведений. Ниже мы приводим образцы правки Карамзина при переиздании «Писем русского путешественника» (см. на стр. 141).

О замене Карамзиным книжного синонима местоимения разговорным В. В. Сиповский пишет следующее: «Интересна также та борьба, в которую вступил Карамзин с архаизмами и варваризмами, вкравшимися в первое издание «Писем». Так, нами замечены 35 случаев замены слова *сей* словом *этот*; 23 случая изменения оборота с исчезновением слова *сей*; 18 случаев уничтожения слова *оный*»[3]. Количественно сокращая употребление местоимений *сей* и *оный*, Карамзин стремился к замене книжных синонимов широко употребительными разговорными, проводя тем самым, как уже говорилось выше, более или менее последовательно сближение книжного и разговорного стилей речи. Вполне возможно предположить, что на фоне

[1] И. А. Крылов. Соч., т. I, М., 1945, стр. 124—125.

[2] Я. К. Грот. Указ. соч., т. III, стр. 84.

[3] В. В. Сиповский. Н. М. Карамзин — автор «Писем русского путешественника», СПб., 1899, стр. 173.

Более ранний текст	Более поздний текст
1. „Скорыми шагами приближался к *сему феномену*“ („Московский журнал“, V, стр. 39).	1. „Скорыми шагами приближался к *этому феномену*“ (Соч. Карамзина, 1803, т. III, стр. 175; 1820, т. III, стр. 115).
2. „После *сего легкого и вдоровового обеда* сижу теперь на бугре горы“ („Московский журнал“ V, стр. 50).	2. „После *такого легкого и здоровового обеда* сижу теперь на бугре горы“ (Соч. Карамзина, 1803, т. III, стр. 187; 1820, т. III, стр. 124).
3. „Альпийские охотники еще для них страшнее. *Сии люди*, презирая все опасности, с удивительным проворством взбираются на крутизны“ („Московский журнал“, V, стр. 51).	3. „Альпийские охотники еще для них страшнее. Презирая все опасности, с удивительным проворством вабираются они на крутизны“ (Соч. Карамзина, 1803, т. III, стр. 189; 1820, т. III, стр. 125).
4. „Многие в память того, что они посещали *сей гроб*, берут из него кости“ („Московский журнал“, V, стр 378).	4. „Многие в память того, что они посещали *этот гроб*, берут из него кости“ (Соч. Карамзина, 1803, т. III, стр. 225; 1820, т. III, стр. 148).
5. „Не знаю, кто первый уподобил *сии ледники* бурному морю, которого валы от внезапного мороза в один миг в лед превратились; но могу сказать, что *сие сравнение* прекрасно и справедливо, и что *сей путешественник* или писатель имел пиитическое воображение“ („Московский журнал“, V, стр. 47).	5 „ . . . . . но могу сказать, что *это сравнение* прекрасно и справедливо, и что сей путешественник или писатель...“ (Соч. Карамзина, 1803, т. III, стр. 183; 1820, т. III, стр. 121).

Ту же работу проделывает Карамзин, сокращая употребление местоимения *оный*:

1. „...волна за волной несется в неизмеримую глубину сего водоема и опять вверьх подымается, будучи отвержена вечнокипящей пучиною *оного*“ („Московский журнал“, V, стр. 353—354).	1. „...волна за волной несется в неизмеримую глубину сего водоема и опять вверьх подымается, будучи отвержена *его* вечнокипящею пучиною“ (Соч. Карамзина, 1803, т. III, стр. 197; 1820, т. III, стр. 130).
2. „Когда молодой пастух почувствует нежную страсть, которую прекрасные очи легко воспаляют в веселом сердце, то уста его не таят *оной*“ („Московский журнал“, I, стр. 361).	2. „Когда молодой пастух почувствует нежную страсть, которую прекрасные очи легко воспаляют в веселом сердце, то уста его не таят *ее*“ (Соч. Карамзина, 1803, т. III, стр. 206; 1820, т. III, стр. 135).
3. „Галлер сочинил к памятнику следующую надпись (включая *оную* в уста воскрешающей)...“ (Московский журнал, V, стр. 368).	3. „Галлер сочинил к памятнику следующую надпись (заставляя говорить воскресающую)...“ (Соч. Карамзина, 1803, т. III, стр. 214; 1820, т. III, стр. 141).

часто употребляемого *сей*, как синонима, принятого в книжной речи, местоимение *этот* выполняло задачу интимизации письменной речи[1].

Художественная проза Карамзина, в частности «Бедная Лиза», представляет следующее соотношение *сей* и *этот*: в речи автора используется только *сей* (23 раза), тогда как в речи персонажей — только местоимение *этот* (8 раз).

Использование Карамзиным местоимения *этот* в художественной прозе в авторской речи наряду с *сей* оказало огромное влияние на дальнейшую историю этих местоимений-синонимов. Местоимение *этот*, получив возможность выступать в качестве синонима указательного местоимения *сей* в равных с ним условиях, стало шире местоимения *сей* по употреблению (и в книжной, и в разговорной речи) и постепенно освободилось от стилистической окраски синонима, свойственного исключительно разговорной речи.

Употребление местоимения *этот* в качестве возможного в книжном языке синонима местоимения *сей* было подхвачено, как пишет Н. Греч в своей брошюре «Литературные пояснения»[2], широкими кругами сторонников Карамзина. «Гонение на местоимения *сей* и *оный*, поднятое в 30-х годах XIX в., — говорит он, — не является новостью для тех, кто знаком с историей литературного языка в недавнем прошлом. Лет за сорок пред сим, воздвигалось оно на бедные местоимения тогдашними слепыми поклонниками Карамзина. «Fi donc! — говорил один из них (в Аглае ли, в Талии, в Амуре, в Журнале для милых, не помню), как может этот человек иметь претензии на вкус? Он пишет *сей* и *оный*». В моих школьных тетрадках учители немилосердно вымарывали *сей, сия, сие*». Это свидетельство Греча, если сделать скидку на возможную утрировку фактов, очень показательно для истории местоимений *сей*, *этот*, *оный* в литературном языке начала XIX в.

Нововведения Карамзина вызвали ряд возражений. Противники Карамзина расценивали эти нововведения как угрожающие не только нормальному развитию русского литературного языка, но и всему общественному порядку. Наиболее активным антикарамзинистом был А. С. Шишков.

---

[1] Как указывалось выше, употребление разговорных *этот*, *он* было обычным в письмах, не предназначенных для опубликования. В частной переписке Карамзин (см., например, письма Н. М. Карамзина к П. А. Вяземскому 1810—1822 гг.) предпочитает пользоваться местоимением *этот*, которое употребляется им в 65 случаях (из них 40 раз субстантивированное местоимение в форме среднего рода — *это*). Местоимение *сей* встречается 25 раз в следующих сочетаниях: *на сих днях*, *на сей раз*, *до сей минуты*, *в сию минуту*, *по сие время*, *до сего времени*, *до сего месяца*, *при сем*, большая часть которых, что подтверждается и наблюдениями над произведениями Пушкина, может считаться сочетаниями устойчивыми, принятыми в разговорном языке. Вытеснение *сей* в некоторых из этих сочетаний могло быть делом последующего времени.

[2] Н. Греч. Литературные пояснения (брошюра в качестве приложения к «Северной пчеле»), 1838, стр. 4.

А. С. Шишков, подвергнув меткой критике чрезмерное увлечение эпигонов Карамзина иностранными словами и конструкциями, указывал на то, что следовало бы больше внимания обратить на богатство родного языка, в частности языка церковнославянского, который он считал разновидностью русского языка. Шишков выступал против введения в книжную речь просторечных слов и выражений за счет вытеснения церковнославянизмов. В частности, он возражал и против замены литературно-книжного местоимения *сей* просторечно-разговорным *этот*.

В «Письме II» по поводу «Рассуждения о старом и новом слоге Российского языка»[1] А. С. Шишков имитирует слог писателей карамзинского направления, нарочито нагромождая «нелепости», допускаемые его представителями. Одной из таких нелепостей, недопустимых в языке книжном, по мнению Шишкова, является употребление местоимений *этот* и *он* вместо *сей* и *оный*.

В то время, как сам Шишков пользуется обычно местоимениями *сей* и *оный* (в тексте «Рассуждения» со стр. 1 по 214 Шишков употребляет *оный* 78 раз, *сей* — 175 раз, тогда как *этот* — только 17), в этом письме он употребляет исключительно местоимение *этот* (18 раз); *сей* встречается только 3 раза в примечаниях. Местоимение *этот* рассматривается Шишковым как низкое, разговорное слово и ставится в один ряд со словами: *онучи*, *зипун*, *сходбище* и др. Пародируя стиль писателей-карамзинистов, Шишков соединяет в одном тексте слова иностранные типа: *вербияж*, *кортеж* и т. п., употребленные без надобности, с разговорными *этот*, *потеть*, желая подчеркнуть этим совершенное отсутствие чувства меры и хорошего вкуса у своих противников. Приведем несколько выдержек из этого письма.

«Я читал рассуждение ваше о старом и новом слоге. Какую странность взяли вы себе за предмет? Видно, что вы человек без всякого вкуса. Как можно хвалить грубое и порочить тонкое? Заставлять нас идти по следам предков наших с бородами, и хотеть, чтоб просвещенныя нации не имели никакова над нами влияния? Знаете ли вы, что вы вздор говорите, и что на сцене прекрасных букв (belles lettres) никто не сочтет вас прекрасным духом (belle esprit)? Вы этак захотите нас обуть в онучи и одеть в зипуны! Вы смешны! (приводится цитата из произведения Ломоносова.— *А. Г.*). Как можно *эту галиматию* хвалить? К чему весь *этот вербияж*?»

«Например: весь *этот кортеж* слов, над которым бедной Ломоносов столько потел,, не пришел бы никому из нас в голову».

«Также *на этих днях* попалась мне каким-то образом в руки Русская книга. Я развернул ее и прочитал в заглавии: «*Трудолюбивая Пчела, печатана в 1759 году*». Я хотел было ее бросить, зная, что *в это время* писали без вкусу и набивали слог свой Словенщизною... И так я начал *эту книгу* перелистывать» и т. д. (Здесь и далее выделено мною.— *А. Г.*).

---

[1] «Письмо II» напечатано в качестве приложения к «Рассуждению о старом и новом слоге Российского языка», СПб., 1803, стр. 439—453.

Точно так же, как и по отношению к местоимению *этот*, Шишков считает неправильным с точки зрения грамматики употребление местоимения *он* при указании на неодушевленный предмет. Так, в своем «Рассуждении» он приводит цитату, подвергая ее соответствующему лингвистическому анализу. Шишков пишет: «*Слог его, как зеркало или картина вещей, делается необходимым слогом; он впечатлевает все свои описания, и всякая черта жива, плодотворна*» и добавляет: «Ето с лишком высоко для моего простаго понятия. Я не могу себе представить, каким образом зеркало или картина делается *слогом*, и еще картина *вещей*, почему думать должно, что есть также и картины *душ* или *духов*. Местоимение *он* относится здесь к слогу: как же слог впечатлевает свои описания и во что впечатлевает?»[1]

Подобное высказывание Шишкова позволяет судить о его взгляде на место местоимений *этот* и *он* (в применении к предметам неодушевленным) в лексическом составе литературного языка. Производя отбор одного из двух вариантов местоимений, Шишков, в противоположность Карамзину, отдает предпочтение книжным синонимам, местоимениям *сей*, *оный*.

Общественно-политические события начала XIX в., рост народно-освободительного движения, развитие революционных идей в среде дворянской интеллигенции пробуждают интерес к живому народному языку и делают злободневной проблему норм и границ русского литературного языка. В 30-х годах практическое и теоретическое разрешение этих вопросов завершается полемикой о составе русского литературного языка, об использовании в нем просторечных и церковно-книжных элементов. Отправным пунктом этой полемики были споры о месте указательных местоимений-синонимов в русском литературном языке. Начатая Сенковским в журнале «Библиотека для чтения», эта полемика со временем охватила ряд журналов и продолжалась еще долго после того, как сам Сенковский перестал в ней участвовать.

Специфика журнальной работы ставила перед Сенковским как журналистом вопрос о создании языка доходчивого, как он говорил, «легкого», который был бы максимально сближен с разговорным языком «образованных слоев населения». «Дайте нашему *хорошему* обществу собственный его русский язык, обработанный, отполированный... и общество будет говорить им предпочтительно... Вы же его не даете, — вы подчиваете общество слогом мертвым, языком с того света; пишете на каком-то постороннем диалекте, коего самые употребительные речения, каковы местоимения и союзы, все почти чужды диалекту беседы, в котором период имеет совершенно другую архитектуру»[2].

Сенковский считал, что резкое разграничение лексики и синтаксиса изящной словесности и разговорного языка тормозит развитие первой. Он ратовал за такой язык, который обеспечивал бы максимальную доходчи-

[1] А. С. Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка, СПб., 1803, стр. 192.

[2] «Библиотека для чтения», т. VIII, СПб., 1835, раздел VI — Литературная летопись, стр. 26, «Резолюция на челобитную *сего*, *онаго* и т. д.»

вость мыслей автора до читателя. В статье, посвященной «Герою нашего времени», он пишет: «Рассказ его превосходен; язык легок, прост и весьма приметен. Господин Лермонтов понял важную истину, что для достижения образованной прозы писать надобно таким языком, каким образованные люди говорят, а не каким они пишут»[1].

По мнению Сенковского, литературный язык должен совершенно освободиться от церковнославянской лексики, которая употребляется только в книжном языке, засоряет язык и затрудняет его понимание. Необходимо если не абсолютное вытеснение этой лексики, то ограничение ее употребления сферами языка церковного, ученого и канцелярского. Из этих установок Сенковского вытекают и его взгляды на выбор в качестве литературной нормы тех или других синонимических местоимений. Широкая употребительность их в речи, их роль в синтаксисе, где они часто выступают в качестве союзов, придают вопросу о выборе того или другого синонима для литературного языка особую значимость. Местоимения *сей, оный* и пр. являются, как пишет Сенковский, «пружинами периода», они участвуют в создании тяжелой конструкции, чуждой фразе разговорного языка. «Выкиньте только *сей, оный, кой, таковой, упомянутый, поелику, ибо* и вы вместе с ними ниспровергнете прежний период; на месте их являются вам *этот, он, его, который, потому что*, совсем иначе рассекающие фразу и делающие ее так похожей на разговор, что можно тотчас перенести ее в беседу»[2].

В качестве довода за необходимость устранения местоимений, связанных со специфическим книжным употреблением, Сенковский выдвигает следующее положение: наличие синонимических средств, которыми располагают писатели, позволяет им использовать эти средства для избежания повторов, для разнообразия своей речи, что достигается употреблением того или иного синонима (*сей — этот, оный — он, каковой — какой — кой, таковой — такой, глава — голова, младой — молодой*). С ликвидацией устаревшего церковнославянского синонима писателям пришлось бы больше работать над языком: «...для избежания какофонии, или неприятного стечения частых *этот, эта, который, потому что*, принуждены вы беспрестанно изыскивать новые обороты, разнообразить движение фразы...»[3] Сенковский полагает, что сказанное о синонимических местоимениях может быть распространено вообще на все параллельные образования типа *золото — злато* и т. д. Он предлагает «покончить с использованием неполногласных форм, перестать украшать живой язык мертвыми словами и выражениями», отбросить «натянутое пристрастие к тому, что весь народ отверг единодушно, как запоздалый остаток прежних ложных понятий об изящном в языке — к славянщизне»[4].

[1] «Библиотека для чтения», 1840, т. 39, Литературная летопись.

[2] «Резолюция на челобитную *сего, онаго* и т. д.»

[3] Там же.

[4] «Письмо тверских помещиков к барону Брамбеусу», Собр. соч. Сенковского 1859, т. VIII.

Призывая писателей писать языком разговорным, Сенковский резко отделял его от языка широких народных масс, имея в виду только разговорный язык «лучших» людей, общественной верхушки. Поэтому, выступая против «славянщизны» в литературном языке, Сенковский выступал и против просторечия, которое, по его мнению, стало неумеренно вводиться в литературный язык. «Он борется против внесения в книжный язык простонародных элементов и новых оборотов, которыми Даль и Вельтман пытались оживить застоявшийся книжный язык»[1].

Позиции Сенковского в вопросе о путях развития русского литературного языка были в корне порочны. Настаивая на изъятии из литературного языка 30-х годов стилистически окрашенных славянизмов, богатство которых он недооценивал, и на прекращении доступа в него просторечных и народных элементов, на создании нивелированного литературного языка, близкого к разговорному языку «хорошего» общества, он ограничивал литературный язык узкими рамками сословного языка, выключал живой источник его непрерывного обогащения.

Чем объясняется возникновение такого рода требований к русскому литературному языку в то время, когда ряд писателей во главе с Пушкиным показал, какие богатые возможности для развития русского литературного языка таятся в умелом использовании церковнославянской лексики, с одной стороны, и живого разговорного русского языка — с другой? На этот вопрос с исчерпывающей полнотой отвечает Н. Г. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (статья II), где он с большой убедительностью и предельной научной объективностью рисует Сенковского как человека, чуждого русской культуре, незнакомого со спецификой многовекового развития русского литературного языка. Заканчивая свою характеристику, Чернышевский отмечает все же, что заслуга Сенковского состоит в «изгнании из русского литературного языка в самом деле вредных его легкости местоимений *«сей»* и *«оный»*»[2].

Взгляды противников Сенковского можно в целом сформулировать следующим образом: все они отрицают необходимость для литературного языка полного слияния языка книжного и разговорного, указывая, что как тот, так и другой обладают рядом специфических особенностей, вытекающих из условий их применения. По вопросу об использовании книжных местоимений *сей, оный* и др. мнения расходятся и определяются взглядом того или иного автора на состав русского литературного языка. Остановимся на отдельных высказываниях, касающихся интересующих нас местоимений.

В 1836 г. Н. В. Гоголь в статье «О движении журнальной литературы» («Современник», кн. I), характеризуя деятельность Сенковского как журналиста и останавливаясь на вопросе о местоимениях, поднятом Сенковским, писал, что этот последний: «...даже завязал целое дело о двух

[1] В. А. Каверин. «Барон Брамбеус», Изд-во писателей, Л., 1929.

[2] Н. Г. Чернышевский. Полное собр. соч., т. III, Гослитиздат, М., 1947.

местоимениях *сей* и *оный*, которые показались ему, неизвестно почему, неуместными в русском слоге. Об этих местоимениях им были писаны целые трактаты, и статьи его, рассуждавшие о каком бы то ни было предмете, всегда оканчивались тем, что местоимения *сей* и *оный* совершенно неприличны...» «До какой степени критика занялась пустяками и ничтожными спорами, читатели уже видели из знаменитого процесса о двух бедных местоимениях: *сей* и *оный*. Вот до чего дошла, наконец, русская критика». Гоголь считает подобную полемику вздорной и бессмысленной в такой же мере, как «старый процесс Тредьяковского за букву ижицу и десятеричное і».

В следующем номере «Современника» (№ 3, 1836) этот же вопрос был поднят А. С. Пушкиным в «Письме к издателю», представляющем, как известно, высказывание Пушкина по поводу статьи Гоголя «О движении журнальной литературы». А. С. Пушкин в этом письме писал по интересующему нас вопросу следующее: «Шутки г. Сенковского на счет невинных местоимений *сей, сия, сие, оный, оная, оное* — не что иное как шутки. Вольно же было публике и даже некоторым писателям принять их за чистую монету. Может ли письменный язык быть совершенно подобным языку разговорному? Нет, так же, как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному. Не одни местоимения *сей и оный* (внизу в сноске Пушкин замечает: «Впрочем, мы говорим: *в сию минуту, сей час, по сию пору* и проч.»), но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: карета, скачущая по мосту, слуга, метущий комнату; мы говорим: которая скачет, который метёт и пр., — заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом. Из того еще не следует, что в русском языке причастие должно быть уничтожено. Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должно отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит, не знать языка»[1].

Таким образом, мнения Пушкина и Гоголя по затронутому вопросу в общем совпали. Прежде всего как тот, так и другой считали, что проблемы, которой Сенковский придавал очень большое значение при решении вопроса о русском литературном языке, по существу, не было. Гоголь полагал, что, ставя вопрос об этих местоимениях, а иногда даже сводя дело только к ним, Сенковский «занимался ничтожными спорами». Пушкин же расценивал выступления Сенковского как журнальную шутку. Но совершенно правильно считая, что вопрос об абсолютном совпадении письменного и разговорного языков вообще исключается, Пушкин допускал, однако, ошибку, ставя местоимения *сей, оный* как факт книжной речи в один ряд с причастиями, соединяя, таким образом, явления непродуктивные и продуктивные.

[1] А. С. Пушкин. Полное собр. соч., изд. АН СССР, т. 12, стр. 94—96.

Несколько особую позицию в вопросе использования местоимений *сей*, *оный* в литературном языке занимал С. П. Шевырев, изложивший свои взгляды на литературный язык в статье «Взгляд на современную русскую литературу»[1]. Шевырев считал, что то обстоятельство, что местоимения *сей*, *оный* не употребляются в языке разговорном, не дает еще оснований для изгнания их из некоторых литературных жанров, например из языка поэзии, «в котором они всегда будут иметь права гражданства», в силу своего благозвучия [«нельзя же заменить его (*сей*), например в мужеском роде посредством неблагозвучного *этот*, тем более, что у поэта наличие 2-х синонимических конструкций обогащает язык»[2].]

Характеризуя литературные идеалы и языковые взгляды Шевырева, А. Г. Дементьев в статье «Борьба Шевырева с Белинским» пишет: «После Ломоносова Шевырев больше всего говорит о Карамзине, Карамзин, соответствующим образом истолкованный, — его программа по части языковых норм. Заслуги Карамзина в области языка и прозы он сравнивает с ролью Пушкина в поэзии. Карамзин сближал литературный язык с разговорным (не будучи поклонником народных вульгаризмов). На Карамзина следует ориентироваться в языковом отношении, после него всякое новаторство вредно, — но на Карамзина последнего периода, когда он освободился от крайностей европеизма; когда, познакомившись со стариною, стал оттуда черпать языковые богатства языка церковнославянского, на которые указывал Шишков»[3].

Защищая употребление местоименний *сей*, *оный* в русском литературном языке, Шевырев предлагает не изгонять ни одного слова из языка письменного, подкрепляя это тем, что взаимовлияние письменного и разговорного языка предполагает и влияние письменного языка на разговорный. «В распре о словах, которые до сих пор употребляются в языке письменном, а не введены в язык разговорный, — пишет он, — дело еще не решено: может быть и они будут приняты, может быть и *сей* введется со временем в язык разговора».

С защитой местоимений *сей* и *оный* выступает Н. Греч в своей брошюре «Литературные пояснения», направленной против Сенковского. Он очень подробно останавливается на вопросе об этих местоимениях, указывая, что гонения на них не представляют для русской литературы новости. Греч признает, что «*сей* не употребляется в языке разговорном, и потому не может ему быть места в комедиях, повестях, подражающих изустному рассказу, в разговорах, в дружеских письмах и т. п.; но в книгах содержания исторического, дидактического, в бумагах деловых, в самой поэзии слово это терпимо и хорошо»[4]. В заключение Греч выражает твердую

[1] «Москвитянин», 1842, ч. II, № 3, стр. 153—154.

[2] Там же, стр. 170.

[3] «Ученые записки Ленингр. гос. ун-та», серия филолог. наук, 1939, вып. 4.

[4] Н. Греч. Литературные пояснения (брошюра в качестве приложения к «Северной пчеле»), 1838.

уверенность, что ««Библиотеке для чтения» никогда не удастся вытеснить эти слова на зло Русской грамоте».

Немало высказываний в защиту местоимений *сей* и *оный* появилось на страницах «Северной пчелы»[1].

В статье «Образчик разговорного языка», помещенной на страницах этой газеты, автор[2] пишет: «требуют сближения книжного языка и языка разговорного. Но на какой же разговорный язык прикажете опираться? Язык ученых — технический, язык общества — наполовину французский». Далее приводится разговор в искаженно просторечной манере — и спрашивается: «не на этот ли?» «Но мне скажут, что все дело состоит в исключении слов: *сей, сии, оный, таковые, кои* — кои не употребляются в разговоре. Пусть не употребляются в разговоре, но в книжном языке они облегчают способ выражения»[3].

Впоследствии, учитывая факт вытеснения местоимений *сей, оный* и т. п. из языка художественной литературы, а затем и публицистики, «Северная пчела» начинает обосновывать необходимость их сохранения в литературном языке свойственной им особой стилистической окраской, сообщающей речи торжественность и в связи с этим способствующей выражению пиетета.

В. Г. Белинский в статье «Современные заметки»[4], иронически оценивая это стремление закрепить искусственным путем то, что сделалось в литературном языке явно пережиточным, выражает свое отношение к этой позиции «Северной пчелы» многочисленными замечаниями, помещенными в скобках. Статью из № 87 «Северной пчелы» Белинский цитирует таким образом: «...в письменном языке, в предметах важных, мы *непременно должны* (неужто?..) удерживать выражения нашего старинного, или церковного языка. Ни один знаток не скажет и не напишет, говоря об иконе, *лице* святого, но скажет и напишет *лик*. Знаток языка не написал бы: *рука* всевышнего отечество спасла, но *десница* вышнего отечество спасла. Мы должны радоваться богатству нашего языка и употреблять все представляемые им сокровища, а не лишать его драгоценностей... Как в музыке *тоны* дают характер сочинению, так в словесности *слова* сообщают характер речи. Говоря о храме божием, приличнее сказать *сей* храм (неужели?). *Ни за что в мире мы не дерзнули бы* (вот как!..) написать *этот* гроб, говоря о гробе господнем. Точно также, говоря в истории о государе, в начале мы не скажем *этот* государь, а *сей* государь; не скажем *возжи* правления, а *бразды* правления».

Считая местоимения *сей, оный* явлением пережиточным, Белинский пишет по поводу статьи Гоголя «О движении журнальной литературы»

[1] Статьи, в которых в большей или меньшей степени рассматривался вопрос о местоимениях, были опубликованы в следующих номерах «Северной пчелы»: 1835 — № 217; 1836 — № 155, 270; 1838 — № 88, 227, 247, 272; 1839—№ 31, 43, 44, 152, 178.

[2] Подписано В. Ушаковым.

[3] «Северная пчела», 1836, № 270, раздел «Словесность».

[4] В. Г. Белинский. Полное собр. соч., Гослитиздат, 1948, т. XIII, стр. 216.

следующее: «Мы не согласны еще с тем, что будто бы жалкое состояние нашей журнальной литературы д о к а з ы в а е т с я особенно тяжебным делом о местоимениях *сей* и *оный*... Мы, напротив, осмеливаемся думать, что жалкое состояние нашей литературы и вообще нашей умственной деятельности гораздо более доказывается защищением и употреблением *сих* и *оных*, нежели нападками на *сии* и *оные*. Спрашиваем почтенного издателя «Современника», почему он, употребляя *сии* и *оныя*, не употребляет *сиречь*, *понеже*, *поелику*, *аще*, *сице*?.. Он, верно, сказал бы, потому, что эти слова вышли из употребления, что они не употребляются в разговоре?.. Но чем же счастливее их *сии* и *оные*, которые тоже вышли из употребления и не употребляются в разговоре?.. Воля ваша, а, право, в нашей умственной деятельности, как и в нашей общественной жизни, очень мало видно владычества здравого смысла, даже в мелочах; у нас всякий сам хочет давать законы, забывая, что если что-нибудь найдено или замечено справедливо другим, о том уже нечего говорить»[1].

Выступая в 1847 г. против Булгарина, редактора «Северной пчелы», Белинский коротко останавливается на месте указательных местоимений-синонимов в русском литературном языке начала XIX в. Слово *сей* является сейчас словом «обветшалым и смешным», тогда как во времена Карамзина оно было только «обветшалым», говорит он, подчеркивая историческую изменчивость оценок отдельных языковых явлений, определяющихся непрерывным развитием языка. По отношению к языку своего времени Белинский считает, что вытеснение местоимений *сей*, *оный*, *кой*, *поелику* и других обветшалых слов, начатое Карамзиным, пришло к своему завершению. «Мы крепко убеждены в том, — пишет он в той же статье, — что слово *сей* никогда не должно употреблять, кроме тех немногих речений, в которых оно сохранилось употреблением, каковы: *сейчас*, *сегодня*, *сию минуту*, *до сих пор*, *по сию пору*»[2].

В грамматических трудах этого времени интересующее нас явление освещается крайне скупо. Мы находим здесь несколько общих, чаще всего из грамматики в грамматику повторяющихся положений, ограничивающихся отнесением этих местоимений в определенную группу и далеко не полным определением их функций. Но даже этот скупой материал позволяет сделать некоторые выводы об изменении исторической роли указательных местоимений в русском литературном языке.

М. В. Ломоносов в «Российской грамматике», в главе «О вспомогательных и служебных частях речи», указывает лишь на наличие местоимений *тот*, *сей*, *оный* в ряду других (местоимение *этот* в перечне отсутствует), а также на то, что вышеназванные местоимения относятся к разряду местоимений первообразных, которых «суть четырнадцать: *я*, *ты*, *он*, *сам*, *...тот*, *сей*, *чей*; *который*, *кой*, *оный*».

[1] В. Г. Б е л и н с к и й. Несколько слов о «Современнике», Собр. соч. в трех томах, Гослитиздат, 1948, т. XIII, стр. 211, т. I, 1948, стр. 284.

[2] В. Г. Б е л и н с к и й. Современные заметки. Полн. собр. соч. Гослитиздат. 1948, т. XIII, стр. 217.

М. И. Сухомлинов в «Истории Российской Академии»[1], перечисляя труды, представленные за время ее существования, приводит замечания Барсова, сделанные им к грамматике русского языка, в которых наряду с *сей* упоминается и местоимение *этот: «сей* и *этот* обыкновенно указывают на ближайшее предыдущее существительное; *тот* — на отдаленнейшее, а *оный* — на самое дальнее, например: ныне память святых Кирика и Улиты: из них тот сын, а сия мать». Здесь Барсов пытается осмыслить отношения данных указательных местоимений, их функции, устанавливая одновременно синонимизм местоимений *сей* и *этот*.

В «Российской грамматике»[2] местомение *этот* уже упоминается в числе указательных местоимений. В § 184 (стр. 146—147) указывается: «Местоимения разделяются на первообразные и производные. К первому отделению относятся следующие местоимения: *я, ты, он, сам, себя, кто, что, тот, сей, чей, который, кой*; ко второму же причисляются: *мой, твой, свой, оный, наш, ваш*» и в § 187: «Указательные местоимения показывают предмет, о котором говорится, суть: *сей, тот, оный, этот*».

Н. Греч в 1830 г. в своей «Пространной русской грамматике» (т. I, гл. 3-я), перечисляя указательные местоимения (*сей, этот, тот, оный*), пытается определить и их функции. В § 320 (стр. 234) он пишет: «Сие указание на предметы третьего лица производится посредством местоимений указательных: *оный, сей, этот, тот, такой, таковой, толикий*, выражающих близость или отдаление предмета, сходство или подобие, и заменяющих личные местоимения третьего лица в наименовании предметов вещественных».

Вопрос о функциях синонимичных местоимений разрешался в лингвистической литературе того времени очень суммарно. Ратуя за сохранение местоимений *сей* наряду с *этот* в письменном языке, Н. Греч пытается установить наличие у этих местоимений самостоятельных функций, которые оправдывали бы их независимое друг от друга существование и делали бы их незаменимыми.

«Совершенно ли оно (местоимение *сей.* — *А. Г.*) равно значением со словом *этот*? Нет. Словом *этот* означается указание на предмет с намерением отличить его от другого, например: *этот* человек глуп, а *тот* зол, и сверх того оно употребляется отдельно, как французские *cela, celui-ci, celui-la*: *это* дурно. *Сей* есть просто указание: *сия* книга продается у Смирдина. Это как бы член определительный»[3].

Это высказывание Греча интересно тем, что он отмечает преимущественное использование местоимения *этот* в случаях противопоставления определяемого предмета другому, более отдаленному, а также в случаях

---

[1] Сб. Отделения русского языка и словесности ИАН, т. 19, СПб., 1838.

[2] «Российская грамматика», сочиненная императорской Российской Академией» 1802, 2-е изд., 1809.

[3] Н. Греч. Литературные пояснения, стр. 9.

употребления субстантивированного местоимения в среднем роде, например *это* дурно. Правильность этого наблюдения подтверждается анализом употребления местоимений *сей* и *этот* у Пушкина.

И. И. Давыдов в «Опыте общесравнительной грамматики русского языка», отмечая синонимичность местоимений *сей* и *этот*, функционально противопоставляет им местоимение *тот*. «Они обозначают близость и дальность определяемых ими предметов». «Указательные местоимения, — говорит он, — могут обозначать и отношение к понятию: *сей* и *этот* — только отношение к говорящему, другие, например, *тот*, кроме этого отношения, показывают отношение к понятию. (*Здесь был тот, кого ты ищешь*)». В § 285 (стр. 233) он пишет: «Местоимение *етот* или *этот* составлено из личного местоимения ср. р. *е* и *тот*, и потому имеет значение указания более ощутительного»[1].

К сожалению, отсутствие или очень ограниченное количество примеров не дает возможности ясно представить себе разграничение функций даже таких местоимений, как *этот* и *тот*. Следует отметить замечание Давыдова (§ 286) относительно взаимозаменяемости ряда местоимений: «происхождение местоимений указательных, вопросительных и относительных непосредственно от личных объясняет общее всем языкам свойство, по которому указательные переходят в личные, а относительные в указательные, и одни вместо других употребляются».

Местоимение *оный*, как указывал еще М. В. Ломоносов, относится к разряду местоимений указательных. Как указательное, оно становится в ряд с указательными местоимениями *сей* и *тот*, и позднее — с местоимением *этот*, выражая в различных случаях употребления отношения, свойственные то тому, то другому синониму.

«Слово *оный*, — пишет Н. Греч, — родилось в русском языке по необходимости. Местоимения всякого языка должны выражать заменяемые ими имена предметов пола мужеского и женского, и еще предметов неодушевленных. Это особенно хорошо выражается в языке английском: *he* мужчина, *she* женщина, *it* все прочее. Во французском языке имена предметов неодушевленных бывают рода мужеского или женского. В немецком и в русском — они бывают рода мужеского, женского и среднего. И от этого в последнем случае происходит сбивчивость. Наше местоимение 3-го лица среднего рода отличается от местоимения мужеского рода только в именительном падеже: *он, оно*; во всех прочих нет различия. Как тут различать имена предметов одушевленных и неодушевленных? Например, в одной из предыдущих фраз сей самой статьи я написал: «В русском языке находим *оное* (слово) в древнейших памятниках». Можно ли здесь поставить *его*? Нет! Это значило бы, что мы находим не вещь, не неодушевленный предмет, а человека»[2].

---

[1] И. И. Давыдов. Опыт общесравнительной грамматики русского языка, Академия Наук, 3-е изд., СПб., 1854.

[2] Н. Греч. Литературные пояснения, стр. 13—14.

Ф. И. Буслаев также отмечает это распределение функций между местоимениями *оный* и *он*, которое было принято в книжном языке в противовес языку разговорному. «В книжном языке принято было отличать последние (неодушевленные предметы) косвенными падежами полной формы *оный, оное, оная...*, а первые (одушевленные) косвенными падежами местоимения *и, я, е: его, ему, его* и проч.»[1] Следовательно, как одна из особенностей употребления местоимения *оный* отмечается его синонимичность в определенных случаях местоимению *он*. «Местоимение *оный*, — пишет Буслаев, — употребляется... в собственном значении, как указательное, и тогда стоит при имени, например: *оный день, оный свет* и пр.»[2]

Более полную характеристику функций этого местоимения как местоимения указательного находим в «Словаре Академии Российской»[3] и в Словаре Даля[4]. В первом по поводу этого местоимения говорится следующее: «*оный, ная, ное*, местоим. прил. указательное. Тот, Сей, В о д н и о н ы и з л і ю о т ъ д у х а м о е г о. Дѣян. 2. 18. В ъ о н о е в р е м я». Словарь Даля, отмечая *оный* как синоним местоимений *тот* и *сей*, содержит следующее указание: «*оный, оная, оное*, мест. указат. *тот, вон который*; обще с местоимением *сей* изгоняется из обиходу; но Дмитриева стих: *То сей, то оный на бок гнется*, и Пушкина: *Мы к оной* (грамоте) *руку приложили*, доказывают, что словечко это нелишнее».

Шевырев в указанной выше статье определяет функцию местоимения *оный* следующим образом: «Это местоимение относилось у нас всегда из двух предметов к тому, который является более отдаленным в речи».

Приведенные нами замечания лингвистов показывают, что отношения, существующие между местоимениями *этот* и *сей*, с одной стороны, и *оный* и *тот* — с другой, выяснены в грамматической литературе того времени очень приблизительно. Мы имеем дело с отдельными высказываниями, и лишь суммирование их позволяет установить отношения этих местоимений в предложенном ниже виде:

1. Местоимения *сей* и *оный* признавались свойственными книжной речи (Греч, Буслаев и др.).

2. Местоимение *сей*, учитывая реликты, сохранившиеся в сочетаниях, рассматривали в историческом плане как факт живого разговорного языка, постепенно вытесненный местоимением *этот*.

3. Стремление доказать необходимость сохранения местоимения *сей* в языке письменном, кроме ссылки на то значение, какое имеют в книжном языке синонимы, подкрепляется попыткой доказать наличие у этого местоимения особых функций.

---

[1] Ф. И. Буслаев. Историческая грамматика русского языка, 1869, § 204, стр. 169.

[2] Там же.

[3] Словарь Академии Российской, СПб., 1822.

[4] В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, СПб., 1905, т. II, под словом *онъ*.

4. Что касается местоимения *оный*, то изложенные высказывания позволяют установить следующее:

а) местоимение *оный* выступает в функции местоимения *он* по отношению к именам существительным неодушевленным (Шишков, Греч, Буслаев);

б) выступая в качестве определения, оно может быть синонимично то местоимению *сей* (*этот*), то местоимению *тот* («Словарь Академии Российской», Словарь Даля);

в) при наличии противопоставления двух предметов как ближайшего и более отдаленного местоимение *оный* синонимично местоимению *тот* («*То сей, то оный*; *Сей человек был добр, оный зол*»; —Словарь Даля, Барсов).

Насколько верно отразилась языковая практика эпохи в области использования этих местоимений, позволит судить конкретный анализ употребления *сей*, *этот*, *оный* в произведениях писателей данного времени.

Ниже приводятся результаты наблюдения над употреблением этих местоимений в произведениях А. С. Пушкина. Материал, имеющийся в нашем распоряжении, располагаем следующим образом: 1) употребление местоимения *сей*, 2) употребление местоимения *этот*, 3) употребление местоимения *оный*[1].

1. УПОТРЕБЛЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЯ *СЕЙ*

Местоимение *сей* в произведениях Пушкина встречается в следующих случаях:

I. Когда это местоимение, определяя предмет или явление, выделяет данный предмет или явление как находящиеся ближе к говорящему по сравнению с другими, имеющимися налицо предметом или явлением. Местоимение *сей* противостоит в этом случае местоимению *тот*, как указывающему на предмет более отдаленный. У Пушкина местоимение *сей* встретилось нам лишь в случаях, предполагающих противопоставление другому парному предмету и представляющих собой закрепившиеся в речи устойчивые соединения слов.

Сюда относится *сей* со словами *мир*, *жизнь*, *свет*, которые в подобном соединении означают «земное существование», в противоположность «загробному существованию» (*тот мир*, *та жизнь*, *тот свет*):

«Тебя зову на томной лире,
[Но] где найду мой идеал?
И кто поймет меня *в сем мире*...»
(«Тебя зову на томной лире...»).

«Так, не ошиблись вы: три клада
В сей жизни были мне отрада».
(«Полтава», песнь II).

[1] Наблюдения производились по академическому изданию собрания сочинений А. С. Пушкина.

В эту же функциональную группу нужно отнести и употребление местоимения *сь*(*сьсь*), представляющего собой нечленную форму местоимения *сей* в устойчивом соединении со словом «сторона»[1]:

«Он встретил полк, отдыхавший уже *по сю сторону* Волги».

(«Капитанская дочка», Пропущенная глава).

К этой же группе относится употребление местоимения *сей* в сочетаниях: а) *о том, о сем* и б) *тому, сему,* широкоупотребительных до настоящего времени:

а) *О том, о сем*:

«Проказница младая,
Насмешливый, потупя взор
И губки алые кусая,
Заводит скромно разговор
О том, о сем».

(«Граф Нулин»).

«Я угостила его чем бог послал, разговорились *о том, о сем*, наконец и о Дубровском».

(«Дубровский», гл. IX);

б) *тому, сему*:

«И вот теперь я брат
Бестолкову пустому,
Тому, сему, другому,
Да я ж и виноват!».

(«К Дельвигу»).

II. Местоимение *сей* может употребляться при отсутствии противопоставления одного, ближнего предмета другому, дальнему. Подобные случаи употребления местоимения могут быть двух типов: 1) местоимение *сей* может, определяя, указывать на предмет как на данный, наличествующий; 2) местоимение *сей* может определять предмет или явление, как такое, о котором уже говорилось перед этим, подчеркивая, что речь идет о только что названном.

1. Местоимение *сей* определяет предмет, имеющийся непосредственно перед глазами читателя или слушателя, указывает на этот предмет:

«Прими *сей череп*, Дельвиг, он
Принадлежит тебе по праву.
Тебе поведаю, барон,
Его готическую славу».

(«Послание Дельвигу»).

«Вдали, в стране, людьми забвенной,
Истлел мой прах непогребенный;
Но злобный карла перенес
Меня *в сей край* уединенный,

[1] Употребление этой формы винительного падежа местоимения *сьсь* сохранилось в живой разговорной речи и до настоящего времени.

Где вечно должен был стеречь
Тобой сегодня взятый меч».
(«Руслан и Людмила», песнь III).

«Кирила Петрович... с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул и *о виждителе храма сего*».
(«Дубровский», гл. IX).

В качестве субстантивированного местоимения *сей* встречается в устойчивом сочетании: *при сем* («Посылаю *при сем* к нему дружеское письмо». — Письмо № 130 от 28 января 1825 г.) и других подобных.

а) Широко употребительно местоимение *сей* в этой функции при словах, обозначающих различные временны́е отрезки: *миг, минута, час, вечер, день, месяц, год*:

«Дон Карлос.
И любишь и теперь?

Лаура.
В сию минуту?
Нет, не люблю».
(«Каменный гость», сцена II).

О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал!»
(«Евгений Онегин», гл. VIII).

«Ты целый день пировал у немца — воротился пьян, завалился в постелю, да и спал *до сего часа*, как уж к обедне отблаговестили».
(«Гробовщик»).

«Она ... никогда о нем не слыхала ... до самого *сего вечера*».
(«Пиковая дама», гл. IV).

«Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, всё ли им предполагаемое *на сей день* исполнено».
(«Арап Петра Великого», гл. II).

«Душа моя, вот тебе план жизни моей: я женюсь *в сем месяце*, полгода проживу в Москве, летом приеду к Вам».
(Письмо № 563, 13 января 1831 г.).

«*На сей год* денег мне более не нужно».
(Письмо № 572, 31 января 1831 г.).

Широкая общеязыковая употребительность местоимения *сей* с этими существительными (не со всеми в равной степени) вызвала появление ряда наречий и устойчивых сочетаний:

«Для вашей глупости и злобы
Имели вы *до сей поры*
Бичи, темницы, топоры...».
(«Поэт и толпа»).

«Бабушка *до сих пор* любит его без памяти»,
(«Пиковая дама», гл. I).

«— Скоро ли? — раздался у дверей голос Кирила Петровича.—
Сию минуту,— отвечала дама».

(«Дубровский», гл. XVIII)[1].

К этой же подгруппе можно отнести сочетание *на сей раз*, в значении «в данное время», «в данном случае»:

«Гости в путь, а князь Гвидон
Дома *на сей раз* остался
И с женою не расстался».

(«Сказка о царе Салтане», 845).

«Милую тебя *на сей раз*», — сказал он Швабрину;— «но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта».

(«Капитанская дочка», гл. XII).

б) Местоимение *сей*, определяя существительное, может указывать на предмет, отсутствующий перед глазами автора в действительности, но представляемый им как имеющийся налицо. В целом ряде подобных случаев в поэтическом употреблении указательность данного местоимения приобретает добавочный оттенок — выделение, усиление, акцентировку того предмета, который автором представляется как видимый:

«Друзья мои, вы все слыхали,
Как бесу в древни дни злодей
Предал сперва себя с печали,
А там и души дочерей...
. . . . . .
И нас пленили, ужаснули
Картины тайных *сих ночей*,
Сии чудесные виденья,
Сей мрачный бес, сей божий гнев».

(«Руслан и Людмила», песнь IV).

«Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья *сих знамен* победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою».

(«Медный всадник», Вступление).

«Лишь только первая позеленеет липа,
К тебе, приветливый потомок Аристиппа,
К тебе явлюся я; увижу *сей дворец*,

[1] В последнем примере сочетание *сию минуту* выступает как синонимическое сочетанию *сей час* в значении «очень скоро, немедленно» (*я сию минуту приду, сейчас приду*), что и определяет их взаимозаменяемость. Как синонимы, данные сочетания разграничили свое употребление: *сейчас* (*сей час*) более нейтрально по употреблению, тогда как *сию минуту* связано с оттенком почтительности.

Где циркуль зодчего, палитра и резец
Ученой прихоти твоей повиновались
И вдохновенные в волшебстве состязались».

(«К вельможе»).

в) У Пушкина мы встречаем такие случаи употребления местоимений *сей*, о которых мы могли бы говорить как о синонимичных местоимению *тот*, в одной из его функций, когда это последнее, определяя предмет, указывает на его непосредственно следующую в придаточном предложении характеристику (например, «та книга, которая была особенно занимательна»). По употреблению местоимения *сей* и по отношению этого местоимения к предшествующему контексту мы можем разбить эти, впрочем весьма немногочисленные случаи, на две подгруппы:

1) Когда предмет, определяемый этим местоимением, не упоминается в предшествующем контексте и получает уточняющую его характеристику в последующем придаточном предложении или обособленном приложении:

«Чуть веял ветерок под вечер холодея;
Едва прозрачный лед над озером тускнея,
Кристаллом покрывал недвижные струи.
Я вспомнил опыты несмелые твои,
Сей день, замеченный крылатым вдохновеньем,
Когда ты в первый раз вверял с недоуменьем
Шаги свои волнам, окованным зимой...»

(«К Овидию»).

«Друг.

Из сих избранных кто всех боле
Твоею властвует душой?

Поэт.

Всё он, всё он — *пришлец сей бранный*,
Пред кем смирилися цари,
Сей ратник, вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари».

(«Герой»).

«Раздался бой полночи —
И се внезапный гость в чертог царя предстал.
То был *сей чудный муж*, посланник провиденья,
Свершитель роковой безвестного веленья,
Сей всадник, перед кем склонилися цари,
Мятежной Вольности наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца,
Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари».

(«Недвижный страж дремал...»).

2) Когда предмет, определяемый местоимением *сей*, упоминался в предшествующем контексте, но без обстоятельной его характеристики, которая и дается в последующем придаточном предложении или в обособленном приложении:

«О, сколько б мук себе готовил
Красавиц ветреный зоил,
Когда б предательски злословил
Сей пол, которому служил!»

(«Ответ А. И. Готовцевой»).

Местоимение *сей* в рассмотренной нами функции встречается у Пушкина довольно часто и как субстантивированное, главным образом в форме среднего рода, хотя имеются случаи употребления форм мужского и женского рода единственного и множественного числа. В подобных случаях *сей* синонимично местоимению *он*:

«Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил,
Что, коль судьбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но в Тита *сей* вонзил —
Нерон же без него правдиву смерть узрит».

(«К портрету Дельвига»).

«Мы, люди, живущие в степях,— писал Нурали к губернатору,— не знаем, кто *сей* разъезжающий по берегу: обманщик ли или настоящий государь?»

(«История Пугачева», гл. II).

«*Кто сей* в толпе придворных молодых
С нее очей не сводит голубых?»

(«Гавриилиада»).

«Кто там? Чей конь во весь опор
По грозной площади несется?
Чей свист, чей громкий разговор
Во мраке ночи раздается?
Кто *сей*? — Кромешник удалой.
Спешит, летит он на свиданье»,

(«Какая ночь! Мороз трескучий...»).

Местоимение *сей* может выступать в качестве синонима выражения «этот последний», указывая, что речь идет о том предмете, который в предшествующем предложении упоминается последним:

«В Италии Dante и Petrarca предшествовали Тассу и Ариосту, *сии* предшествовали Alfieri и Foscolo».

(Письмо № 175, май — июнь 1825 г.).

«...он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что *сии* платили ему добровольную дань».

(«История села Горюхина»).

г) Местоимение *сей* может употребляться в качестве синонима местоимения «такой» или прилагательного «следующий». В этих случаях обычно после слова, определяемого данным местоимением, следует текст, раскрывающий и уточняющий индивидуальные особенности существительного, определяемого этим местоимением:

«Твое рассуждение о пословице русской не пропадет. К числу благороднейших принадлежит и *сия*: за тычком не угонишься...»

(Письмо № 672, 3 сентября 1831 г.).

Чаще всего местоимение *сей* выступает как субстантивированное в форме среднего рода:

«С получением *сего*, приказывают тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье,...»

(«Капитанская дочка», гл. V).

«*Сим* извещаю вас, что... Емельян Пугачев... собрал злодейскую шайку».

(«Капитанская дочка», т. VI).

«— А это то значит,— отвечал замысловатый чиновник,— что мы приехали вводить во владение *сего* Кирила Петровича Троекурова».

(«Дубровский», гл. V).

«Он взглянул и в окошко, где за минуту *перед сим* сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было».

(«Дубровский», гл. IV).

Местоимение *сие* встретилось в наречном сочетании *за сим*, синонимичном наречию «затем»:

«*За сим* обнимаю Вас от сердца».

(Письмо № 381, 1 июля 1828 г.).

«*За сим* остаюсь покорным ко услугам».

(«Дубровский», гл. I).

Имеющиеся примеры на употребление субстантивированного местоимения *сей* в среднем роде позволяют сделать вывод об определенном стилистическом использовании его как принадлежности делового стиля речи (основная масса примеров — в переписке, в бумагах).

2. Местоимение *сей* употребляется в качестве определения в том случае, когда определяемый предмет (или явление) был только что перед этим упомянут, о нем только что сообщалось в предшествующем контексте:

«Наш век — торгаш; в *сей век* железный
Без денег и свободы нет».

(«Разговор книгопродавца с поэтом»).

«Смирдин меня в беду поверг;
У *торгаша сего* семь пятниц на неделе».

(Из письма к Яковлеву).

«При ней варилась гречневая каша
(*Сей важный труд* ей помогала несть
Стряпуха Фекла, добрая старуха...»

(«Домик в Коломне»).

«Движенья нет, сказал мудрец брадатый..
Другой смолчал и стал пред ним ходить.

Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, *забавный случай сей*
Другой пример на память мне приводит».

(«Движение»).

III. По своему характеру местоимение *сей* рассматриваемой нами группы напоминает группу 2, но если в этой последней местоимение, определяя предмет, обозначает его как уже известный читателю из предшествующего контекста, то в данном случае оно входит в состав приложения, подчеркивая и выделяя ту или иную сторону определяемого. Подобное употребление местоимения является особым риторическим приемом, встречающимся у Пушкина главным образом в стихотворных жанрах:

«И день настал. Встает с одра
Мазепа, *сей страдалец хилый*,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой».

(«Полтава», песнь III).

«Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, *змеи сокрытой сей*,
И празднословия не дай душе моей...»

(«Отцы пустынники и жены непорочны...»).

«К у р б с к и й.
Блеснул опять наследственный наш меч,
Сей славный меч, гроза Казани темной,
Сей добрый меч, слуга царей московских!»

(«Борис Годунов», Граница литовская).

Имеющийся материал дает нам только 3 примера употребления случаев этого типа в прозе (на 25 в стихах), из которых два — в ироническом употреблении:

«Яицкой городок, *сие первое гнездо бунта*, долго не выходил из повиновения, устрашенный войском Симонова».

(«История Пугачева», гл. IV).

«...утешь меня, это священный долг дружбы (*сего священного чувства*)».

(Письмо № 177, июнь 1825 г.).

«Дорогою бранил тебя немилосердно; но в доказательства дружбы (*сего священного чувства*) посылаю тебе мой Itinéraire от Москвы до Новагорода».

(Письмо № 291, 9 ноября 1826 г.).

2. УПОТРЕБЛЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЯ *ЭТОТ*

Местоимение *этот* в произведениях Пушкина встречается в следующих случаях.

I. Местоимение *этот*, определяя предмет или явление, выделяет его как находящийся ближе к говорящему по сравнению с другим, имеющимся налицо предметом или явлением (см. аналогичное употребление местоимения *сей*, группа I). В данном случае предмет, определяемый

местоимением *этот*, противопоставляется предмету, определяемому местоимением *тот*:

«Черноокая Россети
В самовластной красоте
Все сердца пленила *эти*,
Те, те, те и те, те, те».

(«Полюбуйтесь же вы, дети...»).

Этот в данной функции может выступать и в значении существительного:

«Лишь только Анджело вступил во управленье,
И всё тотчас другим порядком потекло,
. . . . . .
И ухо стал себе почесывать народ
И говорить: «Эхе! да *этот* уж не тот».

(«Анджело», ч. I).

Особо нужно выделить случаи, в которых местоимение *этот*, определяя предмет, противопоставляет его не определенному предмету, как более близкий более отдаленному, но как предмет, близкий говорящему, в противоположность любому другому предмету. Наличие противопоставления заставляет отнести этот пример в данную функциональную группу:

«Он силится вообразить,
Что вензеля в сей роще дикой
Начертаны все — может быть —
Другой, не *этой Анджеликой*».

(Из Ариостова «Orlando furioso»).

Так же, как и местоимение *сей*, местоимение *этот* в соединении с некоторыми словами (*жизнь*, *мир* и др.) может представлять единое сочетание с определенным лексическим значением (*этот мир* — в значении «земное существование», в противоположность *тот мир* — в значении «мир загробный»):

«Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны,—
Клянусь! Давно бы я оставил *этот мир*...»

(«Надеждой сладостной младенчески дыша...»).

Местоимение *этот* встретилось в следующих сочетаниях: а) *то эти, то другие*, б) *то тот, то этот*, в которых противопоставление одного, ближайшего предмета, другому, отдаленному, отходит на второй план, и выступает лишь указание на чередование, смену определенных предметов или явлений:

«Но можно ль цензору по совести судить?
Я должен *то того, то этого* щадить».

(«Послание цензору»).

«А каждый ведает, что в эти времена
И даже самая степенная [жена]

Имеет прихоти *то эти*, <то> другие,
И, боже упаси, какие!»
(«Недавно бедный музульман...»).

II. Если в предшествующей группе I местоимение *этот* выделяло предмет как ближайший и противопоставляло его другому, более отдаленному в пределах одного синтаксического целого (предложения), то в группе II местоимение *этот*, определяя предмет, соотносит его с предметом или 1) представленным реально как данное или 2) упомянутым в предшествующем синтаксическом целом.

1. Местоимение *этот* может определять предмет как находящийся перед глазами или представляемый как таковой говорящим (ср. местоимение *сей*, группа II, раздел 1):

«Как *эта лампада* бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума».
(«Вакхическая песня»).

«— Сегодня бал у Сатаны —
На имянины мы званы —
[Смотри как эти два бесенка
Усердно жарят поросенка],
А *этот бес* — как важен он...»
«Наброски к замыслу о Фаусте».

«Григорий (*хозяйке*). Куда ведет *эта дорога?*»
(«Борис Годунов», Корчма на литовской границе).

«Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился? — как зовут *этот мост?*»
(«Пиковая дама», гл. III).

а) В той же функции встретилось местоимение *этот* при существительных, обозначающих различные временны́е отрезки: *время*, *день*, *неделя*, *ночь* и существительных *пора*, *раз*. Определяя данное существительное, местоимение *этот* указывает, что речь идет о временно́м отрезке, имеющемся налицо в момент протекания действия:

«Поэма моя на исходе — думаю кончить последнюю песнь *на этих днях*».
(Письмо № 12, 28 марта 1820 г.).

«...принужден был *в эти две недели* истратить 2,000 рублей и потому приостановился».
(Письмо № 602, 1 июня 1831 г.).

«Мы разошлись; *до этих пор*
Всё хорошо, благопристойно,
Могли б мы жить без дальних ссор.
Опять и дружно и спокойно...»
(«Кокетке»).

Субстантивированное местоимение *этот* встретилось в данной функции в следующих случаях:

«П л е н н и к.
Наш брат русак без сабли обойдется:
Не хочешь ли вот *этого* (показывая кулак), безмозглый!»
(«Борис Годунов», Севск).

«Тут есть дублон старинный... вот он. Нынче
Вдова мне отдала его...
. . . . . .
А *этот? этот* мне принес Тибо —
Где было взять ему, ленивцу, плуту?»
(«Скупой рыцарь», сцена II).

б) К рассматриваемой группе относятся примеры, которые входят в круг широкого определения, данного выше всей этой подгруппе в целом (указывают на предмет, раньше в речи не упоминавшийся, но находящийся перед глазами говорящего реально или в воображении). Но, кроме основного значения, местоимение *этот* может в отдельных случаях, определяя предмет, способствовать его особому выделению, если автор, вызывая образ, представляет его как бы реально ощущаемый в момент речи. Сравним следующие случаи:

«Тут садик был с забором — неужели
Разросся он кудрявой *этой рощей*».
(«Русалка», Днепр. Ночь);

или

«Палашка, отнеси *эти шпаги* в чулан»
(«Капитанская дочка», гл. IV);

со следующим примером:

«Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок *этих медных*,
Насквозь простреленных в бою».
(«Медный всадник». Вступление).

«Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б — наслажденье
Вкушать в неведомой тиши:
Забыл бы всех желаний трепет,
Мечтою б целый мир назвал —
И все бы слушал *этот лепет*,
Все б *эти ножки* целовал...»
(«Когда б не смутное влеченье...»).

«И нынче — боже! — стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И *эту проповедь*...»
(«Евгений Онегин», гл. VIII).

Выступая при существительных, имеющих при себе определения, местоимение *этот* почти совершенно теряет элемент указательности и употребляется в качестве выделительного элемента, усиливающего качественные особенности определяемого этим местоимением предмета. Оно здесь синонимично определению «такой» (например, в предложении: он *такой красивый*), «очень»:

«Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, *эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование*, всё это было не любовь».

(«Пиковая дама», гл. IV).

«Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли...; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ими; справа огромный Аю-даг... и кругом *это синее, чистое небо*, и светлое море, и блеск и воздух полуденный».

(«Отрывок из письма к Д.)

«Исчезла ревность и досада
Пред *этой ясностию взгляда*,
Пред *этой нежной простотой*,
Пред *этой реввою душой!..*»

(«Евгений Онегин», гл. VI).

«Кто такой этот В., который..., говорит, что характеры[1] моей поэмы писаны мрачными красками *этого нежного, чувствительного Корреджио* и смелою кистию Орловского, который кисти в руки не берет, а рисует только почтовые тройки да киргизских лошадей?»

(Письмо № 18, 4 декабря 1820 г.).

Уменьшение указательности, характерное для данного употребления местоимения, приводит к тому, что оттенок выделительности, который в данных случаях выступает на первый план, легко приобретает эмоциональную окраску, вытекающую из отношения говорящего к предмету или явлению, им подчеркиваемому. Это особенно ярко проявляется при определении местоимением *этот* собственных имен:

«Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки *в этой варварской России*».

(«Барышня-крестьянка»).

«Как я рад»,— продолжал Корсаков,—«что ты еще не умер со скуки в *этом варварском Петербурге!*»

(«Арап Петра Великого», гл. III).

«Что делать? Дал я промах важный:
Ошибся *в этом Карле я*».

(«Полтава», песнь III).

«Итак русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу! жаль — но чего смотрел и Дельвиг? охота ему было печатать конфектный билетец *этого несносного Лавиньи*».

(Письмо № 546, 9 декабря 1830 г.).

[1] Здесь и дальше напечатанное в разрядку выделено Пушкиным.

Подобного рода употребление местоимений, повышающее эмоциональный характер высказывания, свойственно по преимуществу разговорной речи; в этой функции они используются и Пушкиным.

в) Местоимение *этот*, так же как местоимение *сей* (см. *сей*, группа II, подгруппа 1, в), может выступать в качестве синонима местоимения *тот*, в наиболее распространенной функции этого последнего, когда предмет, определяемый этим местоимением, не упоминается в предшествующем контексте и получает в последующем придаточном предложении или причастном обороте обстоятельную характеристику. В данном случае мы имеем в виду конструкцию «этот..., который», которой соответствует более широко употребительная конструкция «тот..., который»:

«Итак, для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни *этого беспокойства*, которое предшествует вдохновению?.. Удивительно, удивительно!..»

(«Египетские ночи», гл. II)

«— Характер Пленника не удачен; ...Я в нем хотел изобразить *это равнодушие* к жизни и к ее наслаждениям, *эту преждевременную старость души*, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века».

(Письмо № 44, октябрь — ноябрь, 1822 г.).

«Наши дамы соединяют просвещение с любезностию и строгую чистоту нравов *с этою восточною прелестию*, столь пленившей г-жу Сталь».

(«Евгений Онегин», Примечание 7).

В том случае, если в предыдущем предложении упоминаются два однотипных предмета, то местоимение *этот*, употребленное в качестве субстантивированного, указывает, что речь идет о том предмете, который был упомянут последним:

«Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Славу богу»,— сказала *эта*, — «насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили».

(«Мятель»).

«Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. *Этот* был настоящий русский барин».

(«Барышня-крестьянка»).

«Дельвигу поклон, Баратынскому также. *Этот* ничего не печатает [оч<ень> <?>], а я читать разучусь».

(Письмо № 46, 1—10 января 1823 г.).

г) Местоимение *этот* может употребляться в качестве синонима местоимения «такой» или прилагательного «следующий». В этих случаях обычно после слова, определяемого данным местоимением, следует текст, раскрывающий и уточняющий индивидуальные особенности существительного, определяемого этим местоимением:

«Скажи мне, бога ради:
Соблюл ли *заповедь* хоть *эту*: не укради?»

(«Исповедь бедного стихотворца»).

«Когда бывало в старину
Являлся дух иль привиденье,
То прогоняло сатану
Простое это изреченье:
«Аминь, аминь, рассыпься!»

⟨Ек. Н. Ушаковой⟩.

«Дети! седла чините, лошадей проводите,
Да точите мечи с бердышами.
Справедлива *весть эта*: на три стороны света
Три замышлены в Вильне похода».

(«Будрыс и его сыновья»).

2. Местоимение *этот*, определяя предмет или явление, указывает, что определяемый предмет (или явление) был только что перед этим упомянут, о нем только что сообщалось в предшествующем изложении:

«Наталья Павловна раздета;
Стоит Параша перед ней.
Друзья мои, *Параша эта*
Наперсница ее затей...»

(«Граф Нулин»).

«...мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев, и ее самую привести на очную с ними ставку — *эта ужасная мысль* так меня поразила, что я замялся и спутался».

(«Капитанская дочка», гл. XIV).

«Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outschitel, не очень понимая значения *этого слова*».

(«Капитанская дочка», гл. I).

«И первый клад мой честь была,
Клад этот пытка отняла...»

(«Полтава», песнь II).

«Он говорил языком истинной страсти, и *в эту минуту* был точно влюблен».

(«Барышня-крестьянка»).

В следующих случаях местоимение *этот* употребляется в значении существительного:

«Стариков когда-нибудь
(Жаль, теперь нам ⟨не⟩ досужно)
Надо будет помянуть —
Помянуть и *этих* нужно...»

(«Сват Иван, как пить мы станем...»).

«...не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! *Этот* был не промах, не разиня».

(«Дубровский», гл. IX).

Рассматривая группу II, 2, необходимо отметить употребление местоимения *этот* при именах собственных. Как уже отмечалось выше (ср. *сей*, II, 1), подобного типа употребление способствует выделению, подчеркиванию определяемого существительного. Возможно, что наличие этого выделения, которое ослаблено при существительных нарицательных, объясняется тем, что каждое имя собственное чаще всего предполагает только один определенный предмет. Поэтому если в случае: «...тетрадь. *Эта тетрадь*...» указательность логически оправдана, так как она определяет выбор уже упомянутого предмета из подобных, то в случае: «... Дубровский. *Этот Дубровский*...» подобное выделение не нужно ввиду наличия только одного предмета и в первом, и во втором случае, что, естественно, ведет к сдвигу в употреблении этого местоимения:

«Читал я в газетах, что Lancelot в П. ⟨етер⟩ Б. ⟨урге⟩, чорт ли в нем? читал я также, что 30 словесников давали ему обед. Кто эти бессмертные?.. Когда приедешь в П.⟨етер⟩Б.⟨ург⟩, овладей *этим Lancelot* (которого я ни стишка не помню) и не пускай его по кабакам отечественной словесности».

(Письмо № 266 от 27 мая 1826 г.).

«...я было хотел прислать вам несколько строф моего Онегина, да лень. Не знаю, пустят ли *этого бедного Онегина* в небесное царствие печати...»

(Письмо № 92, 14 июля 1824 г.).

«..., напрасно батюшка ваш пошел на Кирила Петровича, плетью обуха не перешибешь.— Так видно *этот Кирила Петрович* у вас делает что хочет?»

(«Дубровский», гл. III).

Подобные случаи часто встречаются в вопросительных и в восклицательных предложениях:

«Пр.⟨асковья⟩ Ал.⟨ександровна⟩ уехала в Тверь, сей час пишу к ней и отсылаю Эду — что за прелесть *эта Эда!*»

(Письмо № 246, 20 февраля 1826 г.).

«...вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть *эти сказки!*»

(Письмо № 115, ноябрь 1824 г.).

Заканчивая перечень случаев употребления местоимения *этот*, нужно остановиться на одном обороте, в котором данное местоимение занимает промежуточное положение между усилительно-указательным местоимением и частицей. Мы говорим об обороте: «*уж этот* (эта, эти и т. д.) *мне*»:

«Врите, врите, бесенята,—
Заворчал на них отец: —
Ох, *уж эти мне ребята!*»

(«Утопленник»).

«Куда? *Уж эти мне поэты!*»

(«Евгений Онегин», гл. III).

«Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!
Уж эти мне друзья, друзья!»

(«Евгений Онегин», гл. IV).

«— Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею; ...Ох, *уж эти мне ассамблеи!* наказал нас ими господь за прегрешения наши».

(«Арап Петра Великого», гл. IV).

Местоимение *этот* употребляется очень широко Пушкиным в значении существительного в форме среднего рода. Функционально подобное употребление, указывая на предмет, событие, явление, обстоятельство, о которых говорится в данном предложении, не представляет по сравнению со случаями, отмечаемыми в группе 2, ничего нового:

«Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли *это* дело?»

(«Капитанская дочка», гл. XI).

«Видишь ты кровавую ранку?
Это зуб вурдалака, поверь мне».

(«Песни западных славян, Марко Якубович»).

«Я вас люблю,— хоть я бешусь,
Хоть *это* труд и стыд напрасный...»

(«Признание»).

«Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь *это* наконец и жителю берлоги,
Медведю надоест».

(«Осень»).

Как и в случаях, когда это местоимение выступает в роли определения, предмет, явление, событие, на которые указывает данное местоимение, могут быть представлены как нечто, находящееся перед глазами говорящего [«А *это* что такое узором здесь вается?» («Борис Годунов», Царские палаты); «А *это* что? мошонка! уж не деньги ль?» («Русалка», Берег Днепра и Мельница)], но могут быть упомянуты или изложены и в предшествующем данному предложению контексте[1].

[1] Рассматриваемое нами местоимение употребляется у Пушкина во всех падежах. При употреблении его в именительном падеже, что представляет значительную часть всех случаев этого рода, обращают на себя внимание следующие конструкции, не свойственные современному литературному языку: обычно местоимение *это* в качестве подлежащего выступает в предложениях с именным сказуемым («это благородно» «это бунт» и т. п.) при отсутствии в настоящем времени связки (связка в настоящем времени встретилась нам у Пушкина всего 1 раз: «не надобно все высказывать — *это* есть тайна занимательности». Письмо № 49). В современном литературном языке связка в форме прошедшего времени согласуется с именной частью сказуемого, если последняя представлена именем существительным («это была гроза», «это был ураган», «это было затишье»). С этим же явлением в подавляющем большинстве случаев мы встречаемся и у Пушкина: например: «...*Это* был Самсон Вырин» («Станционный смотри-

Местоимение *это*, употребляясь в вопросительных предложениях, начинает играть роль усилительной частицы, что, как мы видели выше, естественно для этого местоимения в том случае, когда оно теряет указательные функции. С подобным употреблением местоимения мы встречаемся в следующих вопросительных предложениях:

«— *Чей это* дом? — спросил он у углового будочника».

(«Пиковая дама», гл. II).

« — Можно в таком случае положиться на честное слово. — *Как это?*»

(«Мы проводили вечер на даче...»).

«*Который это* Горецкий?»

(«На углу маленькой площади», гл. I).

«— Дураки! *что* вы *это?* Вы губите и себя и меня».

(«Дубровский», гл. V).

«— Помилуй, братец Гименей!
Что это? Я стыжусь, любезный,
И нашей ссоры бесполезной,
И вечной трусости твоей...»

(«Амур и Гименей»).

«...сколько раз меня хвалили поделом и понапрасно — а об нашем приятеле ни гугу, как будто на свете его не было. *Почему это?*»

(Письмо № 210, июнь — август 1825 г.)

III. Местоимение *этот*, употребляясь в составе приложения, усиливает оценочную сторону данного приложения (ср. аналогичные случаи с *сей*):

«Можно краше быть Мери,
Краше Мери моей,
Этой маленькой пери...»

(«Пью за здравие Мери...»).

тель»); «*Это* были бани» («Путешествие в Арзрум», гл. IV); «*это* был брат мой, дервиш» («Арап Петра Великого», гл. III); «если б *это* была правда», «*это* была моя цель» (письмо № 48, 30 января 1823 г.).

На фоне этих типичных случаев согласования связки с предикативным членом мы встречаемся и со случаями согласования связки с подлежащим («это»), независимо от рода существительного в качестве предикативного члена:

«Я не прошу от правительства полу-милостей; *это было бы полумера*, и самая жалкая».

(Письмо № 115, ноябрь 1824 г.).

«*Это было б* лишь времени *трата*.
Обгони-ка сперва моего брата».

(«Сказка о попе и о работнике его Балде»).

[«*Все это было* только] *скука*,
Безделье молодых умов».

(«Евгений Онегин», гл. X).

«*Это было бы победа* над университетом».

(Письмо № 585, 26 марта 1831 г.).

«Иль скажет сын,
Что сердце у меня обросло мохом,
Что я не знал желаний, что меня
И совесть никогда не грызла, совесть,
Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть,
Незванный гость, докучный собеседник,
Заимодавец грубый, *эта ведьма*,
От коей меркнет месяц...»

(«Скупой рыцарь», сцена II).

«Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, *эту глупую несносную улыбку*,— когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном».

(«Путешествие в Арзрум», гл. II).

* * *

Сопоставляя функциональное употребление местоимений *сей* и *этот*, мы можем сделать следующий вывод:

1. Местоимения *сей* и *этот* функционально тождественны, однако в употреблении этих местоимений в пределах каждой функции есть специфические особенности:

а) Во-первых, нужно отметить наличие случаев, когда из двух имеющихся в распоряжении автора синонимических местоимений им предпочитается *сей*. Сюда прежде всего надо отнести такие случаи, в которых у Пушкина не имеется параллельных конструкций с местоимением *этот*. Это языковые штампы, характерные для письменной или разговорной речи: *сего месяца*, *сего года* и др.; субстантивированное употребление *сей*, типа: с получением *сего*, *сим* извещаю, *за сим*, свойственные канцелярскому стилю; употребление местоимения *сей* в устойчивых сочетаниях *до сих пор*, *сейчас*, *сию минуту*, *на сей раз*, типичных для разговорной речи. (Ср.: Пушкин. Соч., т. XII, стр. 96: «Не одни местоимения *сей* и *оный*, но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре...», и в сноске: «Впрочем, мы говорим: *в сию минуту*, *сей час*, *по сию пору* и проч.»). В отдельных случаях некоторые из этих сочетаний, чаще всего те, которые связаны с живым разговорным языком, имеют параллельные образования с *этот*: так, наряду с *до сих пор* (30 раз) мы имеем в произведениях Пушкина *до этих пор* (2 раза). Наличие подобных параллельных образований в языке Пушкина определяется характером данных сочетаний: случаи с местоимением *сей* являются фразеологизмами, выступающими как устойчивое неразложимое целое; употребление в том же сочетании местоимения *этот* отмечает бóльшую самостоятельность и независимость существительного:

«Но если б не страдали нравы,
Я балы б *до сих пор* любил».

(«Евгений Онегин», гл. I).

«Мы разошлись; *до этих пор*
Все хорошо, благопристойно,
Могли б мы жить без дальних ссор...»

(«Кокетке»).

«Как тальи носят?»— Очень низко,
Почти до... вот, *по этих пор*».
(«Граф Нулин»).

К перечисленным выше случаям, в которых местоимение *сей* вошло в состав живой разговорной речи, можно отнести следующие: а) *по сю сторону*, б) в конструкции: поговорить, говорить и т. п. *о том*, *о сем*, в) *тому*, *сему*.

б) Материал представляет нам и такие случаи, которые можно считать противоположными предыдущему типу, а именно, когда Пушкин в определенных функциях предпочитает употреблять только местоимение *этот*:

1) При наличии противопоставления предмета более близкого более отдаленному в пределах одного предложения (*этот — тот*).

2) Нужно особо подчеркнуть почти совершенное вытеснение субстантивированного местоимения *сей* в среднем роде во всех жанрах местоимением *это*. Имеющиеся случаи, которые мы можем рассматривать как синонимические местоимению *это* (например, с получением *сего*, *за сим*, *сим* удостоверяю), ограничены очень узким кругом употребления.

3) Преимущественное употребление *этот* встречаем в случаях, связанных в большинстве своем с воспроизведением разговорной речи. Так, *этот* может употребляться в группе II, 1 в значении существительного, чего нет в аналогичном употреблении местоимения *сей*:

Пленник.
Не хочешь ли вот *этого* (*показывая кулак*), безмозглый!»
(«Борис Годунов», Севск).

4) *Этот* предпочтительно употребляется при собственных именах в случаях типа:

«Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки *в этой варварской России*».
(«Барышня-крестьянка»).

5) Только местоимение *этот* встретилось в конструкции: «*Уж эти мне...*»

в) Если перечисленные выше типы исключительного употребления или местоимения *сей* (группа «а»), или местоимения *этот* (группа «б») позволяют нам лишь констатировать это употребление без всякой возможности делать какие-либо выводы, то группа, к рассмотрению которой мы подходим, дает нам основание для заключения о синонимическом употреблении этих местоимений. Сюда относятся случаи, отмеченные нами в группе II (раздел 1) типа: «возьми *сию книгу — эту книгу*», где мы сталкиваемся со следующим числовым соотношением в употреблении *сей* и *этот* у Пушкина: *сей*, стихи — 58 случаев, проза — 21 случай; *этот*, стихи — 58 случаев, проза — 78 случаев.

В данной группе необходимо выделить специфически риторическое употребление этих синонимов, к которому прибегает автор, чтобы сделать описываемый предмет или явление близкими читателю в той же мере, в какой они близки самому поэту. Эта выделительно-усилительная функция имеется как у местоимения *сей*, так и у местоимения *этот*:

«Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно выблемом строю
Лоскутья *сих знамен* победных,
Сиянье *шапок этих* медных,
Насквозь простреленных в бою».
(«Медный всадник», Вступление).

Сюда же относятся случаи (сгруппированные нами в раздел II, 2) следующего типа: «...книгу. *Сия книга*...», «...книгу. *Эта книга*...». В данной функции мы имеем такое соотношение в употреблении синонимичных местоимений: *сей*, стихи — 124 случая; проза — 314 случаев; *этот*, стихи — 75 случаев, проза — 363 случая.

При изучении употребления параллельных форм особый интерес представляют не те случаи, где тот или иной синоним получает абсолютное право на употребление, а те, в которых автор имеет возможность выбрать ту или другую форму или лексему. Поэтому, чтобы выяснить, каким образом Пушкин подходит к выбору того или другого синонима и чем этот выбор определяется, необходимо сопоставить их употребление в произведениях Пушкина. Так как немалое значение для выяснения отношения автора к синонимическим средствам, находящимся в его распоряжении, имеет знакомство с его черновыми материалами, мы позволим себе обратиться и к ним.

Ввиду того, что каждый литературный жанр имеет свои специфические особенности, мы считаем необходимым познакомиться с использованием местоимений *сей* и *этот* по следующим разделам:

1) стихотворные произведения,
2) драматические произведения,
3) художественная проза,
4) публицистическая проза,
5) письма.

1. Стихотворные произведения. а) В стихотворениях, помещенных в 1, 2 и 3-м томах академического полного собрания сочинений А. С. Пушкина, местоимение *этот* употреблено 117 раз, местоимение *сей* — 130 раз. Количественное преобладание *сей* делается еще более значительным, если учесть, что из 117 случаев употребления местоимения *этот* 50 раз встретилось *это* (конструкция типа: «*это* ясно», «*это* мой брат»), т. е. в функции, в которой местоимение *сей* уже почти перестало употребляться. Использование местоимений *этот* и *сей* не

связано у Пушкина с темой стихотворения. Так, местоимение *сей* встречается и в торжественных произведениях с общественной тематикой («На возвращение государя императора в 1815 г.», «Наполеон», «Недвижный страж дремал», «Лицинию», «Вольность», «К Овидию» и др.), где мы сталкиваемся с обилием архаизированной лексики, с которой — с нашей современной точки зрения — местоимение *сей* стоит в одном ряду; в произведениях интимного характера (см. послания: «Великопольскому», «Мечтателю», «Прелестнице», «Юрьеву», «Если с нежной красотой...»), в подписи («К портрету Дельвига»), в стихотворных подражаниях (перевод из Данте — «И дале мы пошли»), в стихотворениях легкого, фривольного жанра («Вишня»), в эпиграммах.

Создается впечатление, что Пушкин не связывал с местоимением *сей* никаких особых стилистических оценок. Это был для него обычный книжный вариант местоимения *этот*, одинаково возможного в книжной речи.

О таком безразличии Пушкина к употреблению того или иного местоимения в стихах говорят многочисленные примеры, где *сей* и *этот* встречаются в пределах одного стихотворения:

«Но вскоре, витязь, молвил ты:
«Однако ж *эти* мне *черты*
Знакомы очень... разумею,
Медор сей выдуман лишь ею,
Под *этим проввищем* меня
Царевна славила, быть может».

(Из Ариостова «Orlando Furioso»).

«Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубровы,
На берега *сих молчаливых вод*.
. . . . . .
Дыханья нет из уст ее, но сколь
Пронзительно *сих влажных синих уст*
Прохладное лобзанье без дыханья.
. . . . . .
Мгновенный хлад, как ужас, пробегает
Мне голову, и сердце громко бьется,
Томительно любовью замирая.
И *в этот миг* я рад оставить жизнь».

(«Как счастлив я, когда могу покинуть...»).

«Почтенный *череп сей* не раз
Парами Вакха нагревался:
Литовский меч в недобрый час
По нем со звоном ударялся;
Сквозь *эту кость* не проходил
Луч животворный Аполлона;
Ну словом, *череп сей* хранил
Тяжеловесный мозг барона...»

(«Послание Дельвигу»).

«Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор *этих уст* улыбку,
А гнев на хладный лоск чела.
Недаром *лик сей* двуязычен.
Таков и был *сей властелин*...»

(«К бюсту завоевателя»).

Уже давно между собою
Враждуют *эти племена*...
. . . . . .
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда...»

(«Клеветникам России»).

Однако, считая *сей* и *этот* вариантами, в равной мере возможными в авторской речи, Пушкин в том случае, когда он передает в своих стихотворениях прямую речь определенного персонажа, учитывает стилистическую окраску этих местоимений. Так, с местоимением *этот* встречаемся в прямой речи героев: в стихотворении «Фиал Анакреона» — в речи малютки Амура («Нет, — отвечал малютка, — Резвясь, я в *это море* Колчан и лук, и стрелы Все бросил ненарочно, А плавать не умею...»), в речи одной из кумушек [«А сват Трофим, который у тебя И день и ночь (Весь город *это знает*)»; стихотворение «От всенощной вечор идя домой...»] в «Набросках к замыслу о Фаусте», где все построено на живом диалоге («Смотри, как *эти два бесенка* Усердно жарят поросенка, А *этот бес*, как важен он... *Об этом* думают двояко... Но впрочем *это* ничего»), в притче «Сапожник» — в речи сапожника («А *эта грудь* не слишком ли нага?»), в стихотворении «Утопленник», в стихотворении «О бедности», где сам контекст определяет естественность выбора местоимения *этот* («Но нечего *об этом* толковать»). Подобное употребление местоимения, связанное со стремлением усилить разговорные элементы, сообщить речи больше простоты и естественности, встречается и в речи самого автора.

Значит ли это, что местоимение *сей* никогда не встречается в речи персонажей стихотворных произведений? Нет. Но наличие местоимения *сей* в подобных случаях чаще всего мотивировано образом говорящего: мы встречаем *сей* в речи Эскала — в стихотворении «Вам объяснять правления начала...» («Если в целой Вене *Сей почести* достоин кто-нибудь, Так это Анджело»), в речи сатрапа — в стихотворении «Когда владыка ассирийский...» («Кто *сей народ*? и что их сила, И кто им вождь, и отчего Сердца их дерзость воспалила, И их надежда на кого?..»), в переложении молитвы — в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны...» («Владыко дней моих! дух праздности унылой, Любоначалия, *змеи сокрытой сей*, И празднословия не дай душе моей»). Во всех этих случаях употребление *сей* определяется совокупностью обстоятельств, характером действующего лица (в широком смысле слова), обстановкой, в которой

находится говорящий. Специфической обстановкой может объясняться употребление местоимения *сей* в стихотворении «Глухой глухого звал на суд судьи глухого», где *сей* встречается в прямой речи («*Сей* пустошью владел еще покойный дед»).

Значительное влияние на выбор местоимения-синонима оказывал, повидимому, размер стиха. В ряде стихов наличие того или иного местоимения определялось рифмой. Например: в стихотворении «Второе послание к цензору» («Но, подразнив тебя, я переменой *сею* Приятно изумлен, гордиться *не посмею*»); в стихотворении Н. Н. «Пришлите «Невский альманах»; «К⟨няжевич⟩, дальный ваш родня, Украсил также книжку *эту*; Но не найдете вы меня: Мои стихи скользнули *в Лету*»). В стихотворении «Сцена из Фауста» выбор местоимения *этот* можно объяснить стремлением к благозвучию («Потом *из этого всего* Одно ты вывел заключенье...»; могло бы быть «*изо всего сего*»), но в ряде стихотворений вполне допустимо и то, и другое.

На основании изложенного можно сделать следующий вывод. Пушкин, в общем предпочитая в стихах в авторской речи употребление местоимения *сей*, не связывает, однако, с ним никаких специфических представлений, кроме тех, которые отличают эти местоимения как факт разговорного и книжного стиля речи. Этим объясняется и преимущественный выбор местоимения *этот* в тех случаях, когда Пушкин передает прямую речь. Как мы видели выше, в этом последнем случае использование местоимения *сей* или *этот* определяется характером говорящего лица. В выборе того или другого местоимения немалую роль играли у Пушкина структурные особенности этих местоимений.

б) В поэмах Пушкина мы встречаемся с такими количественными отношениями местоимений *сей* и *этот*:

Название поэмы	Местоимения	
	сей	*этот*
«Руслан и Людмила»	19	5
«Кавказский пленник»	5	3
«Гавриилиада»	1	2
«Братья разбойники»	—	2
«Бахчисарайский фонтан» . .	1	1
«Цыганы»	1	3
«Граф Нулин»	1	5
«Полтава»	13	13
«Тазит»	1	1
«Домик в Коломне»	1	7
«Анджело»	8	9
«Езерский»	1	5
«Медный всадник»	3	4
Всего . . .	55	60

Остановимся на каждой поэме в отдельности. В поэме «Руслан и Людмила» местоимение *этот* встретилось 5 раз, из них 2 раза употреблено субстантивированное местоимение *это*; из остальных один случай определяется рифмой (песнь I: «Одну я помню: *сказку эту* Поведаю теперь я *свету*...») и один — в прямой речи (песнь I: «Так мы расстались. *С этих пор* Живу в моем уединенье»). Из 19 случаев употребления *сей* 11 встречаются в речи автора и 8 — в прямой речи действующих лиц поэмы (Голова—песнь III, строки 68, 380, 454, 464; Черномор—песнь III, строки 339, 404, 432; Руслан — песнь V, строка 76).

В «Братьях разбойниках», представляющих рассказ от лица разбойника, мы встречаем только местоимение *этот* (строка 52: «Наскучила нам *эта доля*»; строка 107: «Зачем мой брат меня оставил Средь *этой смрадной темноты*?»); в «Цыганах» — 4 случая *этот* в речи действующих лиц (цыгана — строки 287, 297, 404; Алеко — строка 464) и 1 случай *сей* в речи автора; «Граф Нулин» — 5 случаев, из которых *этот* употреблен 4 раза в речи действующих лиц (3 — графа: строки 161, 164, 223) и 1 — в речи автора, — случай, определяющийся рифмой («Наталья Павловна *раздета*; Стоит Параша перед ней. Друзья мои: Параша *эта* Наперсница ее затей»). Один случай употребления *сей* в сочетании *о том, о сем* («заводит скромный разговор *О том, о сем*») тоже характерен для разговорной речи. Специфически сниженный реалистический характер «Графа Нулина» определяет преимущественное употребление разговорного варианта местоимения. «Домик в Коломне» дает следующее соотношение: 7 раз *этот* (причем в речи автора) и 1 — *сей*. Употребление этого последнего случая не нейтрально, а используется автором иронически[1]:

«При ней варилась гречневая каша
(*Сей важный труд* ей помогала несть
Стряпуха Фекла, добрая старуха,
Давно лишенная чутья и слуха)».

(«Домик в Коломне»).

Примерно с подобным же соотношением вариантных местоимений сталкиваемся мы в поэме «Езерский» (5 раз *этот* в речи автора, 1 раз — *сей*).

Поэмы «Полтава» и «Анджело» ставят нас перед иными соотношениями: местоимение *сей* употребляется в основном в речи автора («Полтава» — песнь III, строки 29, 30, 208, 254, 268, 341, 342, 426, в примечаниях 10, 17, 32; «Анджело» — I, строка 49, III, строки 3, 29, 30 бис) при единичных случаях употребления *этот* («Полтава» — песнь III, строка 335, и «Анджело» — I, строка 10), тогда как бóльшая часть случаев употребления *этот* связана с речью действующих лиц поэм («Полтава»: Мария — песнь II, строки 45, 46, 361, 363, песнь III, строка 380; Мазепа — песнь III, строки 93, 367; Кочубей — песнь II, строки 205, 209, 312; в примечании 30),

[1] Иронический характер в данном случае определяется не местоимением, а всем риторическим оборотом в целом. Местоимение *сей* здесь — показатель «книжности» этого оборота.

при трех случаях *сей* (Мазепа — песнь I, строка 453, песнь II, строка 76; Кочубей — песнь II, строка 203: «Так, не ошиблись вы, три клада *В сей жизни* были мне отрада»). В последнем случае это может быть вызвано приподнятостью, торжественностью речи Кочубея. В «Анджело» *этот* в прямой речи употребляется в следующих случаях: в речи Изабеллы — I, строки 150, 181; Клавдио — II, строка 143; Изабеллы — II, строки 51, 175 и, в другом плане, *сей*: в речи Изабеллы — I, строки 150, 181; Анджело — II, строки 4, 58, 85, 106, 174 и один раз *сей*: III, строка 91.

В «Медном всаднике» находим 4 случая употребления *этот* (3 — в основном тексте и 1—во вступлении), 3 — *сей* (1 — в примечаниях, 1 — во вступлении и 1 — в основном тексте: «Какая сила в нем сокрыта. А *в сем коне* какой огонь!», ч. II).

Не останавливаясь на «Евгении Онегине», где имеется примерно то же соотношение, что и в стихах, впрочем со значительным преобладанием в сторону местоимения *этот* (*этот* — 70 раз, *сей* — 33), рассмотрим употребление их в сказках и драматических произведениях. В сказках Пушкин употребляет *этот* в 19 случаях и *сей* — в 2 случаях, причем оба раза в сочетании *на сей раз*:

«...И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись *на сей раз*,
Дал гонцу такой приказ...»

(«Сказка о царе Салтане»).

«Гости в путь, а князь Гвидон
Дома *на сей раз* остался
И с женою не расстался».

(Там же).

Таким образом, мы видим, что книжный вариант местоимения в сказках Пушкиным не используется. Употребление его в сочетании *на сей раз* характерно для разговорного стиля речи.

2. Драматические произведения. В драматических произведениях Пушкина выбор того или другого варианта еще более показателен. Естественно,что особенности жанра определили и отбор лексических вариантов и соответствующее их использование в произведениях, так как от этого отбора зависело реалистическое правдоподобие персонажей его драматических произведений.

Приведем количественные соотношения:

Местоимения	Драматические произведения					
	«Борис Годунов»	«Скупой рыцарь»	«Моцарт и Сальери»	«Каменный гость»	«Пир во время чумы»	«Русалка»
этот	40	15	7	14	5	11
сей	19	1	—	2	1	—

Как видно из приведенных цифр, соотношение в использовании местоимений резко выражено в пользу местоимения *этот*. Это становится особенно ясным, если обратить внимание на немногочисленные случаи употребления *сей* в маленьких трагедиях, где *сей* встречается только в сочетаниях *в сию минуту*, *до сих пор*:

«Дон Карлос.
И любишь и теперь?
Лаура.
В сию минуту? Нет, не люблю».
(«Каменный гость», сцена II).

«Дон Жуан.
До сих пор
Чинились мы друг с другом;»
(Там же, сцена III).

Рассмотрим несколько подробнее материал «Бориса Годунова». Пушкин употребляет местоимение *сей* в речи Бориса, Шуйского, Пимена, Дмитрия Самозванца, Курбского, Воротынского, поэта и в замечаниях автора [в посвящении и в ремарке (сцена «Царская дума»)], наряду с местоимением *этот*, причем в речи Бориса, Пимена, Шуйского, Дмитрия Самозванца мы встречаем и то, и другое местоимение.

Остановимся на сцене «Царские палаты», где встречаем большое количество местоимений *сей* и *этот* и обратим внимание на условия их употребления. Сцена начинается беседой Бориса с сыном и дочерью:

«Царь. А *это* что такое
Узором здесь вится?
Феодор. *Это* Волга».

Беседа нарушается приходим Семена Годунова, который обращает мысли Бориса на государственные дела:

«Царь. Сношения с Литвою! *это* что?..
Противен мне род Пушкиных мятежный...»

Входит Шуйский и сообщает о появлении самозванца:

«Царь. Что же говорят? Кто *этот самозванец*?
Шуйский. ...К нему толпу безумцев привлечет
Димитрия воскреснувшее имя.
Царь. Димитрия!.. как? *этого младенца?*»

Пораженный сообщением, Борис отдает распоряжение:

«Послушай, князь: взять меры *сей же час*;
Чтоб от Литвы Россия оградилась
Заставами: чтоб ни одна душа
Не перешла за *эту грань*; ... Ступай.
Шуйский. Иду.

Царь. Постой. Не правда ль, *эта весть*
Затейлива?»

Сомнения начинают мучить Бориса:

«Послушай, князь Василий:
Как я узнал, что *отрока сего*...
Что *отрок сей* лишился как-то жизни,
Ты послан был на следствие...»

Услышав ответ Шуйского, подтверждающий, что «Димитрий во гробе спит», Борис, оставшись один, говорит:

«Кто на меня? Пустое имя, тень —
Ужели тень сорвет с меня порфиру,
Иль звук лишит детей моих наследства?
Безумец я! чего ж я испугался?
На *призрак сей* подуй—и нет его».

Как можно видеть из перечисленных примеров, Борис Годунов употребляет в своей речи преимущественно местоимение *этот*, т. е. пользуется разговорным синонимом. *Сей* один раз употребляется в устойчивом разговорном сочетании — *сей же час*. Остальные три случая употребления *сей* (*отрока сего*, *отрок сей*, *призрак сей*) объясняются специфически книжным окружением. Подобного же рода окружением объясняется и употребление *сей* в сцене смерти Бориса, где обстановка обусловливает переход к высокой книжной речи. В монологе, обращенном к Феодору, говорит государственный человек, правитель, умудренный долголетним жизненным опытом:

«В дни бурные державу ты приемлешь:
Опасен он, *сей чудный самозванец*,
Он именем ужасным ополчен...»

Рассмотрим, прежде чем делать какие-либо выводы, употребление местоименных синонимов в речи Шуйского. Шуйский в сцене «Москва. Дом Шуйского», где он принимает своих товарищей, употребляет только местоимение *этот*. Употребление этого местоимения в дружеской беседе вполне естественно. Но, встречаясь с царем, он говорит *сей*:

«Так если *сей неведомый бродяга*
Литовскую границу перейдет,
К нему толпу безумцев привлечет
Димитрия воскреснувшее имя».

(Сцена «Царские палаты»);

и немного раньше:

«Все знает он! — Я думал, государь,
Что ты еще не ведаешь *сей тайны*».

(Там же).

Мы видим, что в речи Бориса и Шуйского употребление местоимения *сей* вместо обычного в речи действующих лиц местоимения *этот* определяется переменой обстоятельств, в которых данное действующее лицо находится, что вызывает и определенный стиль речи. То же можно сказать и о речи всех других персонажей трагедии. Следовательно, в данном случае мы не встречаем того сравнительного безразличия в употреблении этих местоимений, с которым сталкивались в стихах и ранних поэмах

Пушкина. *Сей* и *этот* также выступают здесь как элементы книжного и разговорного языка, но используются как средство речевой характеристики. Интересно здесь не само разграничение этих местоимений по стилям речи, а то, как это разграничение становится у Пушкина средством художественного изображения. Приведенные выше примеры показывают, что в речи Бориса разговорное *этот* заменяется книжным *сей* только в случаях торжественных, когда вся обстановка требует особого способа выражения, перехода на особый речевой стиль. Следовательно, у Пушкина местоимение *сей* используется как средство реалистической характеристики образа. В «Борисе Годунове» *сей*, введенное в разговорную речь, является элементом этой разговорной литературной речи определенной исторической эпохи, и в качестве анахронизма и использует данное местоимение Пушкин.

3. Художественная проза. Посмотрим, в каком отношении друг к другу находятся местоимения *сей* и *этот* в художественной прозе Пушкина.

Прозаические произведения Пушкина, за исключением писем и журнальных статей, по количественному соотношению *сей* и *этот* можно разбить на 2 группы: а) такие, в которых имеется количественное преобладание местоимений *сей* [«История села Горюхина», «Повести Белкина» (от издателя), «Записки бригадира Моро де Бразе», «История Пугачева»], и б) такие, в которых преобладает местоимение *этот*.

Обратимся к количественным соотношениям этих местоимений в пределах выделенных нами групп.

а) Ниже приводятся количественные соотношения местоимений *сей* и *этот* в группе с преобладанием местоимения *этот*:

Произведения	Местоимения	
	этот	*сей*
«Арап Петра Великого» . . .	42	21
«Роман в письмах»	29	—
«Выстрел»	23	3
«Гробовщик»	10	8
«Мятель»	11	3
«Станционный смотритель» .	9	9
«Рославлев»	14	—
«Дубровский»	75	54
«Пиковая дама»	47	4
«Кирджали»	9	—
«Египетские ночи»	20	2
«Капитанская дочка»	85	28
«Путешествие в Арзрум» . . .	52	8
Всего . . .	426	140

Названные здесь художественные произведения Пушкина очень различны. Среди них находится группа таких, в которых автор ведет

рассказ сам («Арап Петра Великого», «Дубровский», «Пиковая дама», «Египетские ночи»), и группа, где рассказчиком является вымышленное лицо. Часть произведений этой группы представляет собой рассказы, записанные со слов какого-нибудь лица, другая — письма и автобиографические записки. Язык различных лиц имеет у Пушкина свои характерные особенности. Если же учесть и характер изложения этими лицами материала (записан ли рассказ от кого-нибудь данным лицом, автобиография ли это, или переписка), то увидим, что на то, что свойственно личности самого рассказчика, будет наслаиваться и определенный стиль письменной речи со свойственными последней отличительными особенностями.

Не ставя своей задачей дать языковую характеристику всех прозаических произведений Пушкина, мы рассмотрим употребление местоимений *сей* и *этот* в некоторых из них.

В произведениях, где рассказчиком является сам Пушкин, мы можем наблюдать следующее употребление синонимических местоимений. В «Арапе Петра Великого» в речи автора *этот* встречается 22 раза, *сей* — 17 раз. В речи действующих лиц *этот* встречается в речи Корсакова — 6 раз, Ибрагима — 4, Ржевского и бояр — 6, Петра — 2, Валериана — 1, Графини — 1; *сей* — в речи господина с букетом —3, Ржевского — 1 в сочетании *до сих пор*. Сам автор употребляет местоимение *сей* параллельно местоимению *этот*. Так, на одной странице находим: «Он поскорее провел Корсакова сквозь *эту пеструю челядь*» и «За одним *из сих столов* Петр играл в шашки». В черновых рукописях мы встречаем случай замены местоимения *сей* на *этот*: «Звуки флейты раздавались в смиренной *сей обители*» (черн.) заменено на «*в этой смиренной обители*». Подобная замена могла вызываться нежеланием группировать в одном небольшом периоде несколько местоимений *сей:* «Звуки флейты раздавались *в этой смиренной обители*. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, ...услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, ...Посвятив целые 2 часа *на сие упражнение*, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться. *В это* время защелка двери его приподнялась...»

В прямой речи персонажей Пушкин употребляет местоимение *сей* (если не считать одного случая в сочетании *до сих пор* в речи Ржевского) только 3 раза в речи «господина с букетом», в определенном, с установкой на книжность, стиле речи. Подобное употребление представляет собой уже средство языковой характеристики:

«...господин с букетом подошел к нему, отвел на средину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился во-первых, подошед *к сей молодой персоне*, не отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в менуэтах *право сие* подобает даме, а не кавалеру; *сего ради* имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить кубок большого орла».

«Пиковая дама» относится к произведениям с очень большим количественным преобладанием местоимения *этот* (47 на 4 *сей*). Эти 4 случая употребления местоимения *сей* распределяются следующим образом: 2 в речи автора в сочетании *на сей раз* и в не собственно прямой речи:

«Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека,— и уже она была с ним в переписке,— и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала... до самого *сего вечера*. Странное дело!»[1]

В речи Нарумова и Томского *сей* встречается в составе разговорного сочетания *до сих пор* 2 раза.

Примерно с подобным соотношением мы сталкиваемся и в «Египетских ночах», где *сей* употребляется в речи автора 2 раза: «Иностранец *при сем случае* обнаружил такую дикую жадность...», «*При сих словах* многие мужчины громко засмеялись».

Несколько иные соотношения встречаются в «Дубровском», где *этот* употреблено — 77 раз, а *сей* — 54 раза (41,6%). Из них в речи автора *этот* встречается 18 раз, *сей* — 45. В остальных случаях *сей* находится в речи действующих лиц в составе разговорных сочетаний: *сей же час* (2 — Дубровский, 1 — чиновник), *сию минуту* (дама), *до сих пор* (Кирила Петрович), *о том, о сем* (Антон Пафнутьич) и в виде канцелярских штампов в письмах и бумагах отца Дубровского: «*за сим* остаюсь», «притязание *на сию его собственность* есть ябеда и мошенничество» и в языке чиновника: «мы приехали вводить во владение *сего* Кирила Петровича Троекурова».

Любопытно, что черновые рукописи «Дубровского», по сравнению с беловым текстом, дают значительно меньшее количество случаев употребления *сей*. Приводим для подтверждения следующие параллельные тексты:

Окончательный текст	Черновой вариант
«...он не мог удержаться от некоторой зависти при виде *сего великолепного заведения*» (стр. 163,22)	«...при виде великолепного заведения»
«...прежде *сего* никогда люди Троекурова... не осмеливались шутить в пределах его владений...» (стр. 165, 11)	«...никогда люди Троекурова...»
«*Письмо сие* произвело весьма приятное впечатление...» (стр. 166, 35)	«Письмо его...»

[1] Впрочем, сочетание *сего вечера*, может быть, следует считать для пушкинского времени явлением разговорного языка. Ср. у Гоголя в «Женитьбе»: «К о ч к а р е в. Совсем не нужно. Идите домой и ждите: *сего* же *вечера* все будет сделано»; «Я и ч н и ц а (*в сторону*). Ну, об этом заботься кто другой. А я пойду да обсмотрю со двора дом и флигеля, если только все, как следует, так *сего* же *вечера* добьюсь дела. Эти женишки мне не опасны». С подобным же употреблением мы сталкиваемся в «Гробовщике» Пушкина в речи работницы Адриана. Возможно, что и в «Пиковой даме» *сего вечера* в данном выше отрывке — сочетание, свойственное разговорной речи. В этом убеждает нас характер авторской речи, в которой речь автора и героя слиты так тесно, что трудно бывает выделить, что исходит от автора и что от героя. См.: В. В. В и н о г р а д о в. Стиль «Пиковой дамы», Временник пушкинской комиссии, 2-е изд., АН СССР, М.—Л. 1936.

Окончательный текст	Черновой вариант
«Дубровский узнал *сии места* — он вспомнил, что *на сем самом холму* играл он...» (стр. 175, 6)	«...узнал места, где провел первые свои годы...»
«Дворня с шумом толковала *о сем происшедствии.*» (стр. 177, 36)	«...толковала о великом происшедствии»
«— не было уж и признака жизни *в сем теле* еще не охладелом...» (стр. 178, 1)	«...жизни в теле еще не охладелом»
«...приехали вводить во владение *сего* Кирила Петровича Троекурова...» (стр. 181, 1)	«...вводить во владение селом Кистенев<кой>»
«Два дня спустя после *сего посещения* Кирила Петрович отправился...» (стр. 209, 1)	«...после посещения...»
«Ободренные разбойники воспользовались *сей минутою* недоумения...» (стр. 223, 12)	«...минутою их недоумения...»

Из всех приведенных случаев включения местоимения *сей* в прямую речь только один оправдан канцелярски-деловым стилем речи исправника [1].

Перейдем к рассмотрению произведений, в которых автор скрывается за рассказчиком. Сюда относятся «Повести Белкина», «Капитанская дочка», «Рославлев» и «Роман в письмах». Здесь мы имеем дело со следующими подставными авторами: мелкопоместный дворянин, человек старшего поколения, сообщающий в письме биографию И. П. Белкина, сам И. П. Белкин, записавший повести от различных лиц: «*Смотритель* рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., *Выстрел* подполковником И. Л. П., *Гробовщик* приказчиком Б. В., *Мятель* и *Барышня* девицею К. И. Т.».

Местоимения	«Повести Белкина» (от издателя)	«Выстрел»	«Гробовщик»	«Мятель»	«Станционный смотритель»	«Барышня-крестьянка»
сей	14	3	8	3	9	9
этот	—	23	10	11	9	30

[1] Нужно иметь в виду, что «Дубровский», работа над которым велась в 1832—1833 гг., не был напечатан при жизни Пушкина. Преобладание в «Дубровском» местоимений *сей* Белинский, говоря о произведениях Пушкина последних лет его жизни, объясняет следующим образом: «Пушкин всегда употреблял не только *сии*, но и *оные*, и когда известный журнал так основательно, умно и ловко вооружился против употребления подобных мертвых слов,— Пушкин стал употреблять их еще с большим изобилием. Это он делал по теоретическому упорству, и мы в этом видим слабость со стороны великого поэта, о которой жалеем; но не видим в этом ни невежества, ни безграмотности, ни кощунства».— В. Г. Белинский. Современные заметки, Полн. собр. соч., Гослитиздат, 1948, т. XIII, стр. 217.

«Капитанская дочка» написана в форме рассказа поручика Гринева, «Кирджали» представляет собой рассказ мелкого чиновника.

В «Повестях Белкина» встретилось следующее соотношение между местоимениями *сей* и *этот* (см. стр. 185).

Вступительная часть к «Повестям Белкина» заключает в себе замечание издателя (т. е. Пушкина) и письмо, сообщающее об авторе этих повестей. Отсутствие здесь местоимения *этот* объясняется особым архаическим характером письма, наполненного штампами, свойственными стилю деловых писем того времени: «Почтеннейшее письмо ваше от 15-го *сего месяца* получить имел я честь 23 *сего* же *месяца*, в коем вы изъявляете мне свое желание...» «С великим моим удовольствием исполняю *сие ваше желание* и препровождаю к вам ...» «...получил образование от деревенского дьячка. *Сему-то почтенному мужу...*» и т. д. Местоимение *сей* находится здесь в определенном лексическом и синтаксическом окружении («Почтеннейшее письмо ваше получить имел я честь», «препровождаю» и т. п.), что и объясняет его преобладание за счет местоимения *этот*. Любопытно, что *сей* употребляется здесь даже субстантивированным, в функции, в которой *это* было господствующим еще в конце XVIII в. даже у авторов, пользующихся во всех остальных случаях исключительно местоимением *сей*. («*Сие* дружеских наших сношений нисколько впрочем не расстроило»; «*Сие* произошло не от злого какого-либо намерения»).

Исключительное употребление местоимения *сей*, наряду с другими лексическими и синтаксическими особенностями введения, представляет результат стилизации книжной речи более раннего времени.

Короткая разговорная фраза, разговорная интонация, отсутствие слов, типичных для письменной речи, и, наоборот, обилие широко употребительных в разговорном языке слов характеризуют «Выстрел». Поэтому отсутствие *сей* здесь вполне естественно. Два следующих случая употребления местоимения *сей* — «*С сим словом* он поспешно вышел», «*При сих словах* Сильвио встал» — могут быть истолкованы как широко употребительные штампы книжной речи, не исключающие возможности их использования при устной передаче более или менее связного текста. В следующем примере употребление данного местоимения оправдывает типично книжная структура фразы: «Имея от природы романтическое воображение, я всех сильнее прежде *сего* был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою, и который казался мне героем таинственной какой-то повести».

Из черновых вариантов «Выстрела» видно, что Пушкин старается увеличить количество оборотов, типичных для разговорной речи; в частности, он заменяет выражение «*с сим словом* он пошел к дверям» выражением «Тут он было вышел, но остановился в дверях».

Очень ограничено употребление *сей* и в «Мятели»: 1 раз оно встречается в сочетании *до сих пор* и 2 раза — *в сих местах*, *при сем ответе*, в своеобразных устойчивых соединениях, типичных в повествовании (ср. выше в «Выстреле» — *с сим словом*, *при сих словах*).

Остановимся еще на двух повестях — «Гробовщике» и «Станционном смотрителе», рассказанных приказчиком Б. В. и титулярным советником. По сравнению с двумя повестями, упомянутыми выше, эти последние представляют иное соотношение местоимений *сей* и *этот*.

Так, в «Станционном смотрителе» местоимения *сей* и *этот* встретились по 9 раз, в «Гробовщике» *сей* — 8 раз, *этот* — 10 раз. Это соотношение определяется прежде всего индивидуальными особенностями речи рассказчика, человека, в силу своего общественного положения пользующегося деловым стилем речи, в частности некоторыми устоявшимися сочетаниями с местоимением *сей*.

В «Станционном смотрителе» все случаи употребления *сей* падают на речь автора и оправдываются самой структурой фразы, ее лексическим составом. Ср. «Вследствие *сего* смотрители со мною не церемонились»; «*Для сего*, дня через два, возвратился он к Минскому»; «*Сии* столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные»; «Слезы *сии* отчасти возбуждаемы были пуншем»; 2 раза в выражении *при сих словах*.

В «Гробовщике» местоимение *сей* употребляется 7 раз в авторской речи и 1 раз в речи работницы Адриана. Сниженно разговорный контекст, в котором встречается *сей* в речи работницы («Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца — воротился пьян, завалился в постелю, да и спал *до сего часа*, как уж к обедне отблаговестили»), позволяет сочетание *до сего часа* включить в один ряд с сочетаниями *до сих пор*, *на сей раз*, *сего вечера*, т. е. рассматривать его как широко распространенное в разговорной речи.

Остановимся на «Капитанской дочке». Здесь 85 *этот* при 28 *сей*. Местоимение *сей* 18 раз встречается в речи автора, 10 раз распределяется между действующими лицами следующим образом: 6 раз — в письмах отца Гринева («*При сем*... его паспорт», гл. II; «С получением *сего* приказываю тебе...», гл. V; «...мы получили 15-го *сего* месяца, гл. V), Савельича («*За сим* кланяюсь рабски...», гл. V), в донесении («*Сим* извещаю вас, что ...Емельян Пугачев...», гл. VI; «Того ради с получением *сего*, имеете вы... немедленно принять надлежащие меры...», гл. VI), 2 раза — в речи Пугачева, оба раза в сочетаниях, принятых в разговорном языке («Милую тебя *на сей раз*», — сказал он Швабрину», гл. XII; «Ступай *сей* же *час* в Оренбург и объяви от меня губернатору...», гл. IX), Василисы Егоровны («Нет, Маша трусиха. *До сих пор* не может слышать выстрела из ружья», гл. V) и генерала в языке официальном («я совершенно с мнением господина прапорщика согласен: ибо *мнение сие* основано на всех правилах здравой тактики...», гл. X). Во всех остальных случаях *сей* употребляется в речи автора и представляет книжный синоним местоимения *этот*. Если учесть, что из этих 18 случаев *сей* в авторской речи 6 случаев стилистически мотивированы [5 из них встречаются в устойчивых сочетаниях разговорной или книжной речи — *до сих пор*, *при сих словах*, *в сию минуту*, один — в явно стилизованном стихотворении («Зря меня *в сей лютой части*...»)],

то случаи стилистически немотивированного употребления местоимения *сей* в «Капитанской дочке» окажутся незначительными.

Заканчивая обзор употребления местоимений *сей* и *этот* в художественной прозе Пушкина (отношения в других произведениях Пушкина между ними в общем те же, с отдельными колебаниями в сторону преобладания местоимения *этот*), полагаем возможным сделать следующий вывод. Пушкин, рассматривая местоимение *сей* как вариант местоимения *этот*, не считает предосудительным им пользоваться; количественное соотношение книжного и разговорного синонимов определяется у него характером произведения, но всегда склоняется в сторону явного преобладания местоимения *этот* (за исключением «Дубровского»). Вследствие этого, естественно, в речи действующих лиц, передающей живой разговорный язык, местоимение *сей* употребляется только в сочетаниях, прочно вошедших в состав разговорного языка. В том случае, если Пушкин отступает от этого правила, такое отступление вызывается чаще всего характерологическими задачами (см. употребление этого местоимения в речи исправника в «Дубровском», или генерала в «Капитанской дочке», или в преднамеренно официальной речи господина с букетом в «Арапе Петра Великого»). В произведениях, язык которых отражает сложное переплетение двух речевых линий — языка Пушкина и языка рассказчика, — количественные соотношения местоимений, наряду с другими элементами (выбор других синонимических лексем, конструкция фразы), определяются особенностями лица, от имени которого ведется рассказ.

Абсолютное преобладание местоимений *сей* характеризует речь архаически-книжную или канцелярски-деловую. Для последней характерно употребление местоимения *сей* даже в значении субстантивированного *это*.

б) В заключение остановимся на употреблении местоимения *сей* в группе произведений, где данное местоимение количественно преобладает. Здесь встречаются следующие соотношения *сей* и *этот*:

Местоимения	Произведения			
	«История села Горюхина»	«История Пугачева»	«Записки бригадира Моро де Бразе»	«Повести И. П. Белкина» (вводная часть)
сей	40	66	62	14
этот	2	9	57	—

В данной группе мы сталкиваемся с произведениями исторического жанра — «История села Горюхина», «История Пугачева» и, до известной степени, «Записки бригадира Моро де Бразе». Как совершенно правильно заметил Г. Блок[1], предпочтительное использование местоимения *сей* в истори-

[1] Г. Блок. Пушкин в работе над историческими источниками, М.—Л., 1949, стр. 47—48.

ческих сочинениях Пушкина не было связано с каким бы то ни было стремлением к архаизации словарного состава. «Нетрудно заметить, — пишет Блок, — и это особенно важно, — что Пушкин не только не склонен был заимствовать из источников архаические слова, архаические формы и архаические обороты речи, но, наоборот, вел с ними весьма последовательную борьбу. В этом наглядно убеждают нас приведенные примеры: вместо «обще с ним» Пушкин пишет «наедине с ним», вместо «в рассуждении» — «ибо», вместо «чинимы были» — «производились», вместо «стреляние» — «перестрелка», вместо «жило» — «предместие» и т. д. Таким образом, Пушкин не стремился ни к реставрации языка XVIII в., ни к стилизации под этот язык. Не может поколебать нашего вывода и то обстоятельство, что в «Истории Пугачева» местоимение «этот» заменено во всех без исключения случаях местоимением «сей». Это последнее в пушкинское время не являлось архаизмом, оно уже и тогда, по свидетельству Пушкина, «избегалось в разговоре», но сохранялось и в служебной переписке, и в законодательных актах, и в научной литературе. Пушкин старался не пользоваться им в художественной, критической и публицистической прозе (Сноска 1: Но не отказывался от него вовсе...), однако считал его необходимой принадлежностью исторического изложения: в статьях «О французской революции» и «О железной маске», так же, как и в предисловии к «Борису Годунову», местоимение «этот» не встречается ни разу; в статьях о Полевом мы находим его только один раз. (Сноска 2: Предисловия к «Повестям Белкина» и «Истории села Горюхина» заключают в себе элементы пародии и потому не могут в этом случае идти в счет). В «Замечаниях по русской истории XVIII в.» встречаются оба местоимения, но в то время прозаический язык Пушкина еще не сложился, да и вряд ли можно отнести эту статью к числу исторических произведений Пушкина; она носит явно выраженный публицистический характер».

3. УПОТРЕБЛЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЯ *ОНЫЙ*

Перейдем к рассмотрению материала, связанного с употреблением местоимения *оный* у Пушкина.

I. Местоимение *оный* в произведениях Пушкина в большинстве случаев синонимично местоимению *он*, главным образом тогда, когда это последнее выступает в качестве заменителя существительного, представляющего предмет неодушевленный:

«Смирив крамолу и коварство,
И ярость бранных непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы *к оной* руку приложили...»

(«Моя родословная»).

«Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать *в оную* свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность?»

(«Станционный смотритель»).

«Основание Горюхина и первоначальное население *оного* покрыто мраком неизвестности».

(«История села Горюхина»).

«Войско не имело съестных припасов и на восемь дней, и могло, если *оных* не находилось в Молдавии, быть уничтожено не неприятелем, а голодом».

(«Записки бригадира Моро де Бразе»).

Местоимение *оный* может изредка выступать и в качестве заменителя существительного, представляющего предмет одушевленный. Например:

«... немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению *оного*...»

(«Капитанская дочка», гл. VI).

В случаях, приводимых нами ниже, местоимение *оный* соотнесено с существительными отвлеченными, предполагающими наличие одушевленных лиц:

«Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к ** земскому судье для выслушания решения *оного* по делу спорного имения...»

(«Дубровский», гл. I);

в цитате из письма Кара графу Чернышеву:

«Опасаюсь только, ...чтобы сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег, не допустя до себя *оных*...»

(«История Пугачева», гл. II).

«... Вместо 300 обещанных душ... доходов с *оных*...»

(Письмо № 593, 25 апреля 1831 г.).

В данной функции местоимение *оный* встретилось в 78 случаях.

II. Местоимение *оный* может употребляться как синоним местоимения *этот*, когда это последнее, определяя существительное, указывает, что данное существительное или о данном существительном упоминалось в предшествовавшей речи (см. местоимения *сей* и *этот*, группа II, 2):

«И тайна брачныя постели
И сладостной любви венок
Его восторгов ожидали.
Гимена хлопоты, печали,
Зевоты хладная чреда
Ему не снились никогда.
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин,
Роман во вкусе Лафонтена...
Мой бедный Ленской, сердцем он
Для *оной жизни* был рождён».

(«Евгений Онегин», гл. IV).

«... надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: наступательно или оборонительно. Каждый *из оных способов* имеет свою выгоду и невыгоду».

(«Капитанская дочка», гл. X).

«... 1811 года дядя мой Василий Львович... ввял у меня ввймы 100 рублей ассигн.<а циями>... Свидетелем *оного вайма* был известный Игнатий...

(«Письмо № 205, 14—15 августа 1825 г.).

В следующем примере из «Гавриилиады» мы встречаем местоимение *оный* (в именной форме *оно*) в цитате из евангельского текста. В нашем современном употреблении эта цитата выступает как фразеологическое единство со значением «когда-то, некогда»:

«Он как отец с невинной жил еврейкой,
Ее кормил — и больше ничего.
Но, братие, с небес *во время оно*
Всевышний бог склонил приветный взор
На стройный стан, на девственное лоно
Рабы своей...»

(«Гавриилиада»).

В приведенном примере повествовательный тон рассказа, контекст предложения позволяют разложить это сочетание. При этих условиях местоимение в выражении *во время оно* можно рассматривать как синоним местоимений *этот* или *тот* (в то время, в это время). С употреблением нечленной формы местоимения *оный* в качестве синонима местоимения *тот* мы встречаемся в сочетании *в оны дни* в следующем тексте (ср. ниже «в то время»):

«Так! было время: с Кочубеем
Был друг Мазепа; *в оны дни*
Как солью, хлебом и елеем,
Делились чувствами они...
Так, было сердце Кочубея
В то время предано ему».

(«Полтава», песнь I).

Местоимение *оный* в этой функции может выступать и как синоним субстантивированного местоимения *это*:

«Освобожденный от цензуры я должен однакож, прежде чем что-нибудь напечатать, представить *оное* Выше; хотя бы безделицу».

(Письмо № 302, 1 декабря 1826 г.).

«Давно расстроенное здоровье и род аневризма, требовавшего немедленного лечения, служили мне достаточным предлогом. Покойному государю императору не угодно было принять *оного* в уважение».

(Письмо № 250, 7 марта 1826 г.).

III. Местоимение *оный*, выступая в качестве определения, может указывать на предмет, о котором прежде не упоминалось и дополнительные сведения о котором даются в последующем придаточном предложении. В современном литературном языке мы имеем здесь чаще всего местоимение *тот* в сочетании «*тот, который...*»(ср. *сей* и *этот* в подобной функции):

«И знойный остров заточенья
Полнощный парус посетит,

И путник слово примиренья
На оном камне начертит,
Где устремив на волны очи,
Изгнанник помнил звук мечей
И льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей...»

(«Наполеон»).

Местоимение *оный* может определять предмет, который не упоминался в предшествующем контексте, но который вообще известен автору и читателю. В этом употреблении *оный* выступает синонимом местоимений *некий*, *некоторый*. Сюда относим следующие два примера, хотя они несколько различны по характеру употребления *оный*:

1. «И день настал. Встает с одра
Мазепа, сей страдалец хилый,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой.
Теперь он мощный враг Петра.
Теперь он, бодрый, пред полками
Сверкает гордыми очами
И саблей машет — и к Десне
Проворно мчится на коне.
Согбенный тяжко жизнью старой,
Так *оный хитрый кардинал*,
Венчавшись римскою тиарой,
И прям, и здрав, и молод стал».

(«Полтава», песнь III).

2. «Покаместь благодари его — думаю, что экз. Оне.⟨гина⟩ ты ему от меня поднес. Ч⟨то⟩ касается *до оных дам*, надеюсь, что это шутка. А чего доброго! Однакож это было бы мне во всяком случае неприятно».

(Письмо № 145, 14 марта 1825 г.).

Как видно из приведенных примеров, употребление местоимения *оный* в качестве определения в случаях, синонимичных местоимениям *этот* (*сей*) и *тот*, — единично.

Местоимение *оный* встречается преимущественно в прозаических произведениях Пушкина. В стихотворных текстах нам встретилось всего шесть случаев. Рассмотрим употребление этого местоимения по различным жанрам.

1) Именная форма местоимения *оный* встречается в «Гавриилиаде» и «Полтаве» в устойчивых сочетаниях: *во время оно* и *в оны дни*. Как в том, так и в другом случае — устойчивое церковно-книжное сочетание, нарочито употребленный архаизм. Подобным же архаизмом является местоимение *оный* в тексте «Мы *к оной* руку приложили», где наличие сочетания «руку приложили», характерного для канцелярски-приказного стиля речи, оправдывает и употребление *оный*. *Оный* в «Евгении Онегине» в стихе «Мой бедный Ленской, сердцем он Для *оной* жизни был рождён» может быть

вызвано желанием, введя архаическое «*для оной* жизни», иронически выделить, подчеркнуть стих.

2) В прозе местоимение *оный* встречается в следующих текстах:

«Евгений Онегин» (Путешествие. Введение)	1
«Гости съезжались на дачу»	1
«Повести Белкина» (Предисловие)	2
«Выстрел»	1
«Станционный смотритель»	1
«История села Горюхина»	8
«Дубровский»	5
«Капитанская дочка»	7
«Путешествие в Арзрум»	2
«История Пугачева»	12
«Записки бригадира Моро де Бразе»	19
Письма	30

Во всех этих случаях оно выступает как яркая примета 1) канцелярски-делового и 2) более широко — книжно-публицистического стилей речи. Таким является это местоимение в письмах и в произведениях публицистического характера (о чем ниже).

В просмотренных нами письмах XIII и XIV томов местоимение *оный* употребляется, согласуясь с их официально-деловым характером, 30 раз. Оно встречается в письмах к Бенкендорфу (письма № 298, 323, 347, 386), А. Н. Гончарову, деду жены (письма № 512, 516, 579, 593), в полуофициальном письме Казначееву (№ 83), в официальном, рассчитанном на возможное оглашение, письме к Жуковскому (№ 250); в письмах к разным лицам, его употребление связано с упоминанием о деньгах (№ 139, 365, 502, 623). Что Пушкин очень хорошо осознавал стилистические особенности этого местоимения как канцеляризма, говорит его шуточное письмо к П. А. Вяземскому от 14—15 августа 1825 г. с припиской: *При сем* деловая бумага, ради бога употреби ее в дело».

Вот полный текст этого письма:

«1811 года дядя мой Василий Львович, по благорасположению своему ко мне и ко всей семье моей, во время путешествия из Москвы в С.⟨анкт⟩ П.⟨етер⟩ Б.⟨ург⟩, взял у меня взаймы 100 рублей ассигнациями, данных мне на орехи покойной бабушкой моей Варварой Васильевной Чичериной и покойной тетушкой Анной Львовною. Свидетелем *оного займа* был известный Игнатий; но и сам Василий Львович, по благородству сердца своего, от *оного* не откажется. Так как *оному* прошло уже более 10 лет без всякого с моей стороны взыскания или предъявления, и как я потерял уже всё законное право на взыскание вышеупомянутых 100 рублей (с процентами за 14 лет; что составляет более 200 рублей), то униженно молю его высокоблагородие, милостивого государя дядю моего, заплатить мне сии 200 рублей по долгу христианскому — получить же *оные деньги* уполномочиваю князя Петра Андреевича Вяземского, известного литератора. Коллежский секретарь Александр Сергеев сын Пушкин».

В остальных случаях (письма № 90, 92, 108, 135, 145, 149, 175, прим. 3, 234, 302, 616) употребление данного местоимения представляет собой элемент книжно-публицистического стиля речи.

Местоимение *оный* как примета канцелярски-делового стиля речи используется Пушкиным и в художественной прозе. Так, например, в «Капитанской дочке» оно встречается в запросе относительно прапорщика Гринева (гл. XIV); в «Дубровском» (гл. I) — в бумаге, присланной из суда Дубровскому.

Языковая сложность большей части прозаических художественных произведений Пушкина, как уже говорилось выше, заключается в их языковой двуплановости. Поэтому употребление в них местоимения *оный* может быть отнесено за счет речи как автора, так и рассказчика.

Наличие сравнительно большого количества случаев употребления местоимения *оный* в «Истории села Горюхина», наряду с другими специфически книжными словами и оборотами, объясняется пародическим воспроизведением научного языка того времени (ср. язык Шишкова в его «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка»).

Сосредоточивая большое количество этих местоимений, Пушкин, однако, не пользуется ими исключительно. Так, в «Истории села Горюхина» он употребляет в качестве синонимов местоимения *он* и *оный* в следующих соотношениях: *он* — 50 раз, *оный* — 8 раз. Приводим ниже пример объединения этих синонимов в пределах одного, сравнительно небольшого периода:

«Образ правления в *Горюхине* несколько раз изменялся. *Оно* попеременно находилось под властию старшин, выбранных миром, приказчиков...»

и немного ниже:

«Основание *Горюхина* и первоначальное население *оного* покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда *Горюхино* было село богатое и обширное, что все жители *оного* были зажиточны...»

В «Записках бригадира Моро де Бразе», где также можно предположить стилизацию, употребление *оный*, наряду с другими особенностями лексики и синтаксиса, воспринимается как языковый архаизм.

Наличие местоимения *оный* в «Истории Пугачева» и журнальной прозе позволяет сделать вывод о том, что Пушкин не считал предосудительным пользоваться книжным синонимом местоимения *он*. Нужно отметить, однако, предпочтительное использование им нейтрального местоимения даже в научных и публицистических жанрах. Архаизация текста создается Пушкиным путем установления различных количественных соотношений синонимов. Преобладание местоимения *оный* над местоимением *он* — явление, возможное только в деловых бумагах.

4. ВЫВОДЫ

К каким общим выводам можно придти на основании сделанного выше анализа пушкинского словоупотребления местоимений *сей* и *оный*?

1. У Пушкина местоимения *сей* и *оный* представляют собой принадлежность специфически книжной речи, в противовес их синонимам —

местоимениям *этот*, *тот* и *он*, которые выступают как нейтральные факты литературного языка и в его книжной, и в его разговорной разновидности.

Употребление местоимений *сей* и *оный* в письменном литературном языке различно. Так, если местоимение *сей* представляет собой явление обычное во всех литературных жанрах, рассмотренных нами выше, то употребление местоимения *оный* ограничено произведениями научного, делового и публицистического жанров.

2. Сопоставительный анализ употребления Пушкиным местоимений-синонимов говорит нам о различных соотношениях их в различных жанрах художественной литературы. Большому проценту употребления *сей* в стихах противостоит сравнительно редко употребление данного местоимения в художественной прозе, где значительная часть случаев его использования стилистически мотивирована. Сокращая употребление местоимения *сей* в авторской речи, Пушкин повышает тем самым стилистическую выразительность этого местоимения, следовательно, и возможность его использования как характерологического средства. Как такое изобразительное средство выступает в художественных произведениях Пушкина местоимение *оный*, не употребляющееся как синоним местоимений *тот*, *он*, *этот* в авторской речи.

В 50-х годах XIX в. специфическая прикрепленность местоимений *сей* и *оный* как возможных синонимов к определенным нехудожественным жанрам письменной речи стала настолько очевидной, что то, что в 20—30-х годах представлялось просто как особенность книжной, письменной речи вообще, в половине 50-х годов стало восприниматься как канцеляризм или литературно-книжный архаизм. О таком именно восприятии говорит следующая выписка из статьи «Голос в защиту русского языка»[1]: «Пушкин начал с того, что написал эпиграмму на Карамзина, советуя ему лучше докончить Илью Богатыря, нежели приниматься за историю России; а кончил тем, что одно из лучших своих произведений написал под влиянием этого историка и посвятил «драгоценной для Россиян памяти Николая Михайловича Карамзина *сей* труд, гением его вдохновенный». Нельзя не согласиться, что есть что-то официальное и канцелярское в самом складе и языке этого посвящения, написанного по Ломоносовской конструкции с заветным *сей*». В. Г. Белинский в статье «Современные заметки», датирующейся 1847 годом, выступает за вытеснение местоимения *сей* и из языка научного и публицистического. Он пишет: «... вывел нас из недоумения фельетон 87 № газеты, из которого мы узнали, что сходство языка газеты с языком Карамзина состоит в употреблении газетою обветшалого и смешного слова «*сей*», употреблявшегося и Карамзиным, когда еще оно было только обветшалым, а не смешным...»[2]

---

[1] «Москвитянин», изд. М. П. Погодиным, 1845, № 11.

[2] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, Гослитиздат, 1948, т. XIII, стр. 215.

Чтобы установить отношение писателя к тому или другому языковому факту, недостаточно наблюдения за использованием этого факта самим писателем. Важно определение места данного факта в литературном языке эпохи вообще, а также характера использования его в языке литературы этой эпохи. Поэтому, чтобы до конца понять позиции, которые занял Пушкин в употреблении местоимений *сей* и *оный*, нужно обратить внимание на отношение к ним литературного окружения Пушкина, на живую литературную практику его эпохи.

Для наблюдения нами использованы в области художественной прозы материалы перевода повести Бенжамена Констана «Адольф», сделанного почти одновременно Н. Полевым (1818 г.) и П. А. Вяземским (1825 г.). Эта повесть интересна для нас тем более, что Пушкин одобрял задачу, которую ставил перед собой Вяземский, задачу, которая рассматривалась Пушкиным как опыт создания языка русской прозы.

Вяземский пишет о языке своего перевода следующее: «Есть два способа переводить: один независимый, другой подчиненный. Следуя первому, переводчик, напитавшись смыслом и духом подлинника, переливает их в свои формы; следуя другому, он старается сохранить и самые формы, разумеется соображаясь со стихиями языка, который у него под рукою. Первый способ превосходнее; второй невыгоднее, из двух я выбрал последний». Этот выбор пути был, — как пишет дальше Вяземский, — связан с языковым экспериментом, входящим составной и практической частью в задачу преобразования литературного языка художественной прозы. «...кроме желания моего познакомить русских писателей с этим романом, имел я еще мою собственную цель: изучивать, ощупывать язык наш, производить над ним попытки, если не пытки, и выведать, сколько может он приблизиться к языку иностранному, разумеется опять без увечья, без распятья на ложе Прокрустовом. Я берегся от галлицизмов слов, так сказать синтаксических и вещественных, но допускал галлицизмы понятий, умозрительные, потому что тогда они уже европеизмы. ...Заметим, между тем, что эти попытки совершены не над творением исключительно французским, но более европейским, представителем не французского общежития, но представителем века своего...»

Как же Вяземский в этом переводе, который им самим рассматривался до известной степени как лингвистический опыт, употребляет местоимения, имеющие во французском языке только одну форму выражения?

В своем переводе Вяземский использует местоимения *сей* и *этот* в следующих соотношениях: *этот* — 77 раз, *сей* — 129 раз. Если мы сопоставим эти соотношения с отношениями тех же местоимений в художественной прозе Пушкина (с «Капитанской дочкой», «Рославлевым»), а также учтем особо интимный характер повести, — это записки о внутреннем мире человека и записки современника, — то подобное соотношение сделается еще более разительным. С точки зрения функционального использования этих местоимений следует отметить наличие их в риторических оборотах, которые

характерны для приподнято-романтической речи и зафиксированы в пушкинской прозе в очень ограниченном количестве. Мы имеем в виду здесь случаи, в которых местоимение *сей* начинает собою приложение. Если вспомним, что Пушкин в своей художественной прозе употребил этот прием только 2 раза (в «Путешествии в Арзрум»: «Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, *эту несносную улыбку*, — когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном» и в «Истории Пугачева»: «Яицкий городок, *сие первое гнездо бунта*, долго не выходил из повиновения...») и как иронически употреблял он его в своих письмах (см. стр. 161)[1], то нас поразит частое употребление этого оборота у Вяземского, который в сравнительно небольшой повести использует его 11 раз (из них 10 с *сей*): «Я тогда не знал, что такое застенчивость, *сие внутреннее мучение*, которое преследует нас до самых поздних лет...», «Но любовь, восторг чувств, *сие упоение невольное, сие забвение всех выгод*, всех обязанностей, Элеонора, уже не существует во мне».

В довольно большом количестве случаев местоимение *сей* используется Вяземским в качестве синонима современного местоимения *тот*, с последующим раскрытием содержания местоимения.

Подобного употребления, очень ограниченного и в стихотворных текстах, в прозе Пушкина мы не встречаем. В стихах оно связано обычно с торжественным тоном стиха, с его высоким стилем. Местоимение *этот* в оборотах подобного рода у Пушкина совсем не встретилось.

В переводе Вяземского мы находим 17 случаев подобного употребления как местоимения *сей* (12), так и местоимения *этот* (5). Приведем примеры:

«Я захотел, возвращаясь пешком, удалить минуту свидания с *этой Элеонорою*, которую сей час защищал; ... Мужья были равно лишены чувств и мыслей. Жены отличались от них посредственностью более беспокойною и торопливою, потому что не имели, подобно мужьям, *этого спокойствия ума*, приобретаемого занятиями и деловою правильностью».

В своем переводе Вяземский допускает употребление местоимений *сей* и реже *оный* в прямой речи героев, что, как мы видели выше, без стилистической мотивировки целей избегается Пушкиным. Приведем некоторые примеры употребления Вяземским местоимения *сей* в прямой речи:

«— Ради самого бога, вскричал я, милая Элеонора, услышьте меня! Так, я виновен: *письмо сие...*»

«Я уже довольно страдала от холода обращения вашего и сухости ваших отношений: я покорилась *сим страданиям*, вами мне налагаемым».

«Говорил я ей о мнении общественном.— *Сие мнение*, отвечала она, никогда не было справедливо ко мне».

---

[1] Ср. также в заметке о прозе в академическом издании Полного собрания сочинений А. С. Пушкина (т. XI, стр. 18): «Эти люди никогда не скажут дружба — не прибавя: *сие священное чувство*, коего благородный пламень и пр.»

О том, что Вяземский употребляет эти местоимения именно как синонимы, допустимые в книжном языке, может свидетельствовать следующий пример:

«Путешественник, которому принадлежали *сии вещи*, отъезжая, не указал мне никакого способа писать к нему. Я хранил все *эти вещи* десять лет, не зная, как их употребить».

(«От издателя»).

Подобных примеров можно встретить очень много на протяжении всей повести.

Что касается местоимения *оный*, то оно — возможный книжный синоним местоимения *он* — также употребляется Вяземским:

«Чувства человека смутны и смешаны, они образуются из множества различных впечатлений, убегающих от наблюдения, и речь, всегда слишком грубая и слишком общая, может послужить нам к означению, но не определению *оных*».

«Волнение мое усиливалось в следующие дни: Элеонора тщетно хотела проникнуть причину *онаго*».

«Я приписывал прелести ее сие действие почти волшебное: я полнее наслаждался *оным* без обязательства, связавшего меня перед моим самолюбием. Сие самолюбие было третьим между Элеонорою и мною».

Почти во всех публицистических статьях Вяземского местоимение *сей* выступает как господствующий синоним. Это отмечает Я. К. Грот: «Князь Вяземский любит местоимение *сей*. Когда он писал свою книгу («Фонвизин».— *А. Г.*), словечко это еще мирно жило под покровом своего ничтожества и не думало, не гадало, что ему готовится ожесточенное гонение, но зато и громкая слава — слава наполнить собою весь мир и потом навсегда возвратиться в свое ничтожество. Если бы «Фонвизин» вышел в свет вскоре после того, как он был написан, то за одно это словечко на него посыпались бы стрелы из неприятельского стана»[1].

Что же представляет собой с точки зрения употребления синонимических местоимений другой перевод той же повести — перевод Полевого? Не останавливаясь на характеристике языка перевода, укажем лишь, что он обращает на себя внимание почти полным отсутствием местоимения *этот*, которое встретилось в нем всего 9 раз на 111 случаев употребления *сей*; местоимение *оный* — 49 раз, тогда как у Вяземского — только 4 раза.

Ср. следующие отрывки:

Вяземский	Полевой
«...он всегда удовлетворял моим просьбам и часто упреждал *их*».	«...исполнял беспрекословно все мои желания и даже часто предупреждал *оныя*».

В переводе Полевого обращает на себя внимание употребление местоимения *тот* в качестве синонима *сей* — *этот* — явление, характерное в широких масштабах для литературы более раннего времени.

[1] Статья «Фонвизин». Разбор сочинений кн. Вяземского 1848 г.— «Очерки по истории русской литературы», СПб., 1901, т. III, стр. 86.

В просмотренных нами «Избранных повестях» А. Марлинского[1] (А. А. Бестужева) местоимение *этот* количественно преобладает, но употребляется и местоимение *сей*, причем последнее может использоваться и в прямой речи действующих лиц.

Рассматривая употребление местоимений *сей* и *оный* у Пушкина и сопоставляя это употребление с практикой Вяземского, Полевого, даже Марлинского, мы можем наблюдать частицу той огромной творческой работы, которую последовательно проводил Пушкин по созданию нового литературного языка, работы, основанной прежде всего на пересмотре старого отношения к лексическому составу литературного языка.

Высказываясь в пользу местоимений *сей* и *оный*, как закономерных явлений книжного языка, таких же закономерных в нем, как причастия, сам Пушкин значительно сокращает употребление этих местоимений по сравнению со своими современниками, все более и более склоняясь к ограничению сферы их употребления пределами определенных жанров книжного языка, используя их именно как яркую стилистическую примету этих жанров. Это сужение границ употребления *сей* и *оный* способствовало нейтрализации в книжной речи местоимения *этот*, уничтожению его специфически разговорной стилистической окраски.

---

[1] А. Марлинский. Избранные повести, Гослитиздат, 1937.

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

Том II 1953

В. Н. Сидоров

РЕДУЦИРОВАННЫЕ ГЛАСНЫЕ Ъ И Ь В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ XI в.

Так называемое «падение глухих» в древнерусском языке, т. е. утрата редуцированных гласных (передаваемых на письме буквами ъ и ь), как самостоятельных фонем, безусловно, является наиболее значительным по своим результатам фонетическим процессом в истории русского языка. Следствием его была радикальная перестройка звуковой системы, перестройка, которая существенным образом определила дальнейшие пути языкового развития. Достаточно хотя бы вспомнить о том, что большая часть фонетических черт, различающих современные восточнославянские языки и их говоры, представляет собой развитие тех фонетических возможностей, которые возникли в древнерусском языке в результате «падения глухих». Поэтому с известным правом историю звуковой системы русского языка можно подразделить на два основных периода — до и после «падения глухих». Отсюда ясно, какое значение приобретает для историка русского языка вопрос о времени утраты редуцированных гласных ъ и ь, а следовательно, и о времени, когда эти гласные еще имелись в русском языке.

Вряд ли можно сомневаться в том, что в XI в. редуцированные гласные существовали в древнерусском языке как самостоятельные фонемы с собственным звучанием. Достаточно убедительные доказательства этому были приведены А. А. Шахматовым в его «Очерке древнейшего периода истории русского языка»[1].

По мнению А. А. Шахматова, доказательством того, что в древнерусском языке XI—XII вв. редуцированные гласные сохранялись, т. е. что в это время сильные редуцированные еще не переходили в *о* и *е*, а слабые не исчезали, прежде всего служат показания памятников. Об этом говорит та последовательность в употреблении букв ъ и ь согласно этимологии, которая отличает старославянские памятники древнерусского извода (редакции) до середины XII в. от их оригиналов болгарского извода того же или более раннего времени.

---

[1] См. главу: «Доказательства в пользу существования ъ и ь в древнерусском языке XI и XII века», посвященную специально этой теме. Энциклопедия славянской филологии Академии Наук, вып. 11_1, Пгр., 1915, стр. 203—216.

Вот что по этому поводу писал А. А. Шахматов: «Главным... основанием для положения о том, что в русском языке XI—XII в. сохранялись полукраткие гласные (т. е. ъ и ь в «слабом» положении.— *В. С.*) и что краткие ъ и ь (т. е. в «сильном» положении.— *В. С.*) не переходили еще тогда в *о* и *е*, служат показания памятников. Имеем ряд памятников XI—XII века, в которых употребление ъ и ь выдерживается правильно. Правда, при обсуждении вопроса о судьбе глухих в русском языке ссылки на эти памятники во главе с Остромировым евангелием могут казаться не убедительными, так как все они или большая часть их представляются копиями с древнеболгарских оригиналов: выдержанное употребление в них ъ и ь можно отнести на счет языка составителей этих оригиналов и на счет внимательной переписки их русскими писцами. При этом, однако, решающими оказываются следующие соображения. Русские писцы, при всей своей внимательности, копируя древнеболгарские рукописи, не могли справиться с теми буквами, которым не было прямого соответствия в живом русском языке; так писец Остромирова евангелия смешал написания Ѹ и *оу*, Ѧ и *ѫ* своего оригинала, ибо в русском языке букве Ѹ соответствовал тот же звук, что букве *оу*, а букве Ѧ тот же звук, что букве *ѫ*. Он не мог выдержать даже употребления ѣ и писал вместо него *ѫ* (Ѧ) там, где в живом языке слышался звук *а* (*камянъ*). Следовательно, отсутствие случаев опущения ъ и ь в Остромировом евангелии,... равно как отсутствие случаев замены ъ и ь через *о* и *е*, там, где ъ и ь обозначали краткие, а не полукраткие гласные,— все это доказывает, что ъ и ь существовали в живом говоре самого писца»[1].

Другим «немаловажным доказательством в пользу существования глухих в XI и первой половине XII века», правда, только для «южнорусского наречия» служит то, что в южных памятниках этого времени отсутствуют указания на изменение гласной *е* в *ê* (ѣ) в слоге перед выпавшим редуцированным. «В южных памятниках того времени мы не найдем указаний на изменение *ê* (закрытого полудолгого) в *ie* (ѣ) в слоге, предшествующем слогу, утратившему полукраткую гласную; ср. здесь написания *камень*, *шесть*, *учитель*, *творение*. Между тем, одновременно с появлением определенных данных в пользу падения глухих, в южнорусских памятниках являются указания на упомянутое изменение»[2].

Наконец, А. А. Шахматов упоминает «мельком о тех доказательствах, которые имеют случайный и единичный характер». Это, с одной стороны, подпись французской королевы Анны, дочери Ярослава Мудрого, на грамоте 1063 г. Эта «подпись сделана частью кирилловскими, частью латинскими буквами ANA РЪINA, т. е. Ana reïna; таким образом французский звук *ə*, т. е. звук среднего ряда неполного образования (совр. *e* muet) передан здесь буквой ъ», возможность чего, очевидно, основывалась на

[1] Энциклопедия славянской филологии Академии Наук, вып. 11_1, Пгр., 1915, стр. 203—204.

[2] Там же, стр. 216.

живом произношении[1]. В то же время А. А. Шахматов указывает, что «могут иметь значение показания тех заимствованных из русского в латышском, литовском и финском языке слов, которые относятся к христианской терминологии и, следовательно, восходят к эпохе XI—XII в. Среди них есть такие, в которых *ъ* и *ь* передаются через *u* и *i*»[2].

К доводам А. А. Шахматова в пользу существования редуцированных гласных в древнерусском языке XI и первой половины XII в. можно прибавить еще другие, причем, как мне кажется, доводы, не менее убедительные, чем те, которые приводит он.

Прежде всего я имею в виду общеизвестный факт, заключающийся в том, что в русских памятниках XI—XII вв. у имен мужского и среднего рода окончания творительного падежа единственного числа *-омъ*, *-емъ*, характерные для старославянских памятников болгарского извода, заменялись на письме окончаниями *-ъмъ* и *-ьмъ*. Такое написание окончаний творительного падежа с буквами *ъ* и *ь* вместо *о* и *е*, «уже в некоторых рукописях XI века становится орфографическими нормами: в обоих почерках Остромирова евангелия написания с *-ъмъ* составляет 96% всех случаев употребления формы instr. sg. от основ на *-о* и на *-u*, а в обоих почерках Архангельского евангелия — все 100% и т. д.»[3]

Написание букв *ъ* и *ь* в окончании творительного падежа единственного числа у имен с основой на **-о* и **-u*, безусловно, отражает действительное произношение этих окончаний в древнерусском языке. На то, что в этом окончании древнерусский язык имел редуцированные фонемы *ъ* и *ь*, а не гласные полного образования *о* и *е*, убедительно указывает дальнейшая судьба окончания *-омъ* в восточнославянских языках (ср. *-ом*, а не *-ім* в украинском языке; *-ом* с *о* открытым в русских говорах, различающих *о* открытое и *ô* закрытое; наконец, произношение *с'илóм* при *сáлô* в русских говорах с архаическим типом диссимилятивного яканья). Понятно, что заменять окончания *-омъ*, *-емъ* оригиналов болгарского извода древнерусскими окончаниями *-ъмъ*, *-ьмъ* возможно было только в том случае, если в это время редуцированные *ъ* и *ь* существовали в языке в качестве особых фонем, отличных по своему звучанию в сильном положении от гласных *о* и *е*. В противном случае, т. е. если бы редуцированные исчезли в языке, в окончании творительного падежа были бы гласные *о* и *е*, во что измепились *ъ* и *ь* в сильном положении, и тогда произношение этих окончаний совершенно соответствовало бы болгарским написаниям, которые и сохранялись бы, поскольку никаких условий для их замены не было бы. Между тем такая замена не только наблюдается в памятниках

---

[1] А. А. Шахматов. Указ. соч., стр. 203; см. также: П. Черных. К вопросу о подписи французской королевы Анны Ярославовны, «Доклады и сообщ. филолог. фак. Моск. гос. ун-та», вып. 3, М., 1947, стр. 27—31.

[2] А. А. Шахматов. Указ. соч., стр. 203.

[3] Н. Дурново. Славянское правописание XI—XII вв. «Slavia», Roč. XII, seš. 1—2, Praha, 1933, стр. 64.

XI в., но окончания *-ѣмъ*, *-ъмъ* становятся даже языковой нормой для старославянских памятников русского извода[1].

Русский извод старославянского языка, представляющий собою ответвление от болгарского извода, как правило, сохранял те языковые черты болгарского извода, которые не противоречили фонетической системе древнерусского языка, хотя бы эти черты и отличались от древнерусских. Окончание творительного падежа как раз и было такой чертой, которая отличала древнерусский язык от старославянского языка болгарского извода, и в то же время болгарское окончание по своему звучанию не противоречило фонетической системе древнерусского языка. Казалось бы, болгарское окончание имело все возможности утвердиться на письме в древнерусских памятниках. Однако этого не произошло. Естественно задать вопрос о причине этого явления. Объяснить его нетрудно, если признать существование в древнерусском языке редуцированных фонем.

Как уже указывалось, А. А. Шахматов считал главным доказательством существования редуцированных в древнерусском языке их последовательное написание в русских памятниках XI в. Эта последовательность, согласно этимологии, осуществлялась вопреки оригиналам болгарского извода, в которых такой последовательности не было. Ее не было, с одной стороны, потому, что в болгарских оригиналах X и XI вв. уже нашел отражение процесс «падения глухих», происшедший у южных славян раньше, чем у восточных; с другой стороны, потому, что в болгарских памятниках, кроме того, отражались различные фонетические изменения, которые вели к смешению на письме букв *ѣ* и *ъ*. Все эти явления не проводились на письме в болгарских памятниках как орфографическая норма. Естественно, что они не могли быть подведены под какие-нибудь нормы и русскими писцами. В результате, отсутствие норм в написании букв *ѣ* и *ъ*, которые для русских писцов XI в. были знаками редуцированных фонем, при наличии противоречия между употреблением этих букв в болгарских оригиналах и живым произношением редуцированных гласных в древнерусском языке, повело к тому, что русские писцы стали руководствоваться при обозначении редуцированных гласных на письме своим живым произношением. Так они поступали и по отношению к окончанию творительного падежа единственного числа у имен с основой на **-о* и **-и*, в котором они произносили редуцированные *ѣ* и *ъ*, а не гласные полного образования *о* и *е*. Болгарские написания окончания творительного падежа с буквами *о* и *е* для русского писца стояли в одном ряду с другими написаниями, не отвечавшими живому употреблению редуцированных гласных.

Такое же несоответствие между написанием букв *ѣ* и *ъ* в болгарских памятниках и своим произношением русские писцы встречали еще в окончании 3-го лица единственного и множественного числа настоящего вре-

[1] Н. Дурново. Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов, «Byzantoslavica», Sv., I, 1929, стр. 66.

мени глаголов. Болгарскому окончанию *-тѣ* соответствовало русское *-тъ*. Русские писцы и эти случаи подчинили общей тенденции писать ѣ и ъ в соответствии с употреблением редуцированных фонем в своем языке. В результате написание в 3-м лице глаголов русского окончания *-тъ* вместо болгарского *-тѣ* становится «нормой во *всех* русских рукописях XI—XIV вв.»[1], в том числе и в тех, которые по своему языку являются памятниками старославянского языка. Окончание 3-го лица глаголов *-тъ* стало одним из наиболее показательных признаков русского извода старославянского языка. Так, по наблюдению М. Козловского, «в Остромировом евангелии, окончание *тъ* совершенно поглотило южнославянское *тѣ*», так что в нем имеются всего только «четыре случая с окончанием настоящего времени *тѣ*, вместо обыкновенного *тъ*, это: *знактѣ* 244, *идетѣ* 86, *сѫсетѣ* (*съпасетъ*) 224, *отъпоущаютѣ сѧ* 67»[2]. В. Н. Щепкин отмечает еще одно, пятое, написание окончания *-тѣ*: *отъпоущаѭтѣ сѧ* 130в[3], пропущенное М. Козловским. В Архангельском евангелии 1092 г. окончание *-тѣ* представлено всего одним случаем: *въсхытитъ* 7_{11}[4].

Наконец, таким же образом можно объяснить замену в русских памятниках XI—XII вв. болгарских написаний *рѣ, ръ, лѣ, лъ*, обозначавших слоговые плавные, русскими написаниями *ер, ър, ел*. Эти последние последовательно проводятся уже в 1-м почерке Остромирова евангелия[5] и становятся языковой нормой особенно в текстах, «предназначавшихся для публичного произношения, как например, в списках евангелия»[6].

Факт замены болгарских написаний, обозначавших слоговые плавные, безусловно указывает на то, что в древнерусском языке болгарским слоговым плавным соответствовали какие-то иные звучания. В противном случае у русских писцов XI в. не было бы оснований отказываться от написаний, которые удовлетворяли болгарских писцов, несмотря на известные неудобства, вытекавшие из совпадения этих написаний с написаниями, передававшими несколько иные звучания.

Создавая в IX в. славянскую азбуку и письмо, Кирилл Философ для обозначения слоговых плавных использовал написания, которыми передавал сочетания плавных с последующими редуцированными гласными между согласными, т. е. сочетания типа **tr̆t* (например, *кръвь*). Он

---

[1] Н. Дурново. Славянское правописание X—XII вв., «Slavia», Roč. XII, seš. 1—2, Praha, 1933, стр. 65.

[2] М. Козловский. Исследование о языке Остромирова евангелия, «Исследования по русскому языку Отделения русского языка и словесности Академии Наук», т. I, вып. 1, СПб., 1886, стр. 116.

[3] А. Лескин. Грамматика старославянского языка, М., 1890, стр. 185. См. «Дополнение по языку Остромирова евангелия».

[4] М. А. Соколова. К истории русского языка в XI веке, «Известия по русскому языку и словесности Академии Наук СССР», т. III, 1930, стр. 128.

[5] Ф. Ф. Фортунатов. Состав Остромирова евангелия, «Сборник статей, посвященных В. И. Ламанскому», ч. 2, СПб., 1908, стр. 1418—1419.

[6] Н. Дурново. Указ. соч., стр. 68.

поступил так потому, что эти сочетания, когда они были в слабом положении, в котором редуцированные имели тенденцию к исчезновению, по своему звучанию были очень близки к слоговым плавным. При фонетическом характере старославянского письма такая передача слоговых плавных была вполне естественна. Позднее она поддерживалась тем, что с утратой слабых редуцированных в сочетаниях типа **trъt* образовывались слоговые плавные, которые совпали с существовавшими уже ранее в языке.

Подобные же фонетические условия, облегчавшие передачу слоговых плавных посредством написаний, которыми обозначались плавные с последующими редуцированными в сочетаниях типа **trъt*, существовали и в языке древней Руси XI в. Правда, эти условия, возможно, не были одинаковыми для всей территории древнерусских говоров. Однако по крайней мере в южной части этих говоров, т. е. в тех, из которых позднее образовались украинский и белорусский языки, слабые редуцированные в сочетаниях типа **trъt* имели тенденцию к исчезновению, в связи с чем плавные становились затем слоговыми. Следует при этом напомнить, что XI век и в особенности вторая его половина, о которой по существу всегда идет речь, когда судят по данным русских памятников о языке XI в., для южных говоров древнерусского языка — это самый канун «падения глухих». В этом отношении он соответствует IX в. в истории болгарских говоров, в которых «падение глухих» происходит в X в., т. е. тому времени, когда Кирилл создает алфавит и письмо для славян. И если старославянский язык болгарского извода удерживает введенное Кириллом одинаковое написание *ръ* для двух очень близких, но все же не тождественных звучаний, для *р̥* и *ръ* со слабой редуцированной, то этого можно было бы ждать и в русском языке, если бы в нем, в соответствии с болгарскими слоговыми плавными, были бы тоже слоговые плавные.

Некоторые историки языка, правда, полагают, что в древнерусском языке были собственно не слоговые плавные, а сочетания неслоговых редуцированных со слоговыми плавными, т. е. сочетания типа *ъ̯р̥*. Однако, как мне кажется, это различие между *р̥* и *ъ̯р̥* с фонетической точки зрения — чистая фикция. Действительно, что могла представлять собой неслоговая редуцированная гласная перед слоговой плавной как реальное фонетическое образование?

Как показали наблюдения над слоговыми плавными в современных славянских языках, их образование сопровождается кратчайшим гласным элементом, который является при переходе или от плавной к следующей согласной, или от предшествующей согласной к плавной. Такую переходную гласную наблюдал В. А. Богородицкий после слогового *л̥* в сербском языке (*врьло*, *дрьвета*)[1]. Методами экспериментальной фонетики наличие такого гласного элемента установил аббат Rousselot для того же сербского

[1] В. А. Богородицкий. Из наблюдений над сербскохорватским литературным произношением, «Русский филологический вестник», т. XVII, № 1—2, Варшава, 1912, стр. 205.

языка, а для чешского — S. Chlumský[1]. Повидимому, неслоговая редуцированная гласная перед слоговыми плавными, которую предполагают для древнерусского языка его историки, не могла быть ничем иным, кроме именно такого переходного гласного элемента между плавной и соседней согласной. А стало быть, и сочетание *ъ̂р* представляло собой не что иное, как слоговое *р̥* обычного образования.

Поэтому, если даже предположить, что в древнерусском языке XI в. существовали такие слоговые плавные, при образовании которых переходная гласная являлась между плавной и предшествующей ей согласной, то и в этом случае было бы трудно себе представить, чтобы именно наличие этой гласной вызвало стремление заменить болгарские написания типа *ръ* написаниями типа *ър*. Да и вряд ли можно предположить, чтобы русские писцы XI в. могли выделить на слух в слоговой плавной такой краткий гласный элемент, который в наше время могут уловить лишь специалисты-фонетисты, причем главным образом при помощи соответствующих инструментов.

Отказ от болгарских написаний типа *ръ*, обозначавших в памятниках болгарского извода слоговые плавные, мог произойти в русской письменности только потому, что эти написания достаточно резко противоречили тем звучаниям, которые слышались в древнерусском языке в соответствии с болгарскими слоговыми плавными. Если к тому же учесть, что русские писцы при написании ъ и ь руководствовались своим собственным употреблением редуцированных звуков, то замена болгарских написаний типа *ръ* русскими типа *ър* может быть объяснена, как мне кажется, только тем, что в древнерусском языке перед плавными находились обычные слоговые редуцированные гласные. Именно их, а не гласный элемент в приступе слоговых плавных передавали в написаниях *ър*, *ьр*, *ъл* между согласными буквы ъ и ь, являвшиеся графическими знаками редуцированных фонем. Для русских писцов болгарские написания *ръ*, *лъ*, когда им в произношении соответствовали русские сочетания *ъr*, *ьr*, *ъl*, представлялись проявлением такой же непоследовательности в обозначении редуцированных гласных, какую они находили во многих других случаях. И как в этих других случаях они следовали за своим произношением, так они следовали за своим произношением и при передаче на письме сочетаний *ъr*, *ьr*, *ъl*.

Судьба древнерусских сочетаний *ъr*, *ьr*, *ъl* между согласными подтверждает существование перед плавными слоговых редуцированных гласных, т. е. сочетаний ъ, ь с последующими плавными, а не слоговых плавных, хотя бы и с гласным элементом в их приступе (экскурсии). В этом отношении особенно показательны факты украинского и белорусского языков.

В этих языках слабые редуцированные в сочетаниях типа **trъt* при «падении глухих» исчезали, а плавные становились слоговыми; так, например: **drъva*>**dr̥va*, **sl'ьza*>**sl̥'za* и т. д. Позднее слоговость плавных утрачивалась, параллельно с чем при плавных образовывались гласные:

[1] O. H u j e r. Úvod do dějin jazyka českého, 2 vyd., Praha, 1924, стр. 10.

в белорусском языке после плавных — *дрыва*, *слыза*, в украинском в одних говорах также после плавных — *дрива*, *слиза*, но в других перед плавными — *дирва*, *силза*. Мало правдоподобно, чтобы одновременно с образованием в языке слоговых плавных в сочетаниях типа **tъrt* со слабыми ъ и ь происходила утрата старых слоговых плавных, некогда образовавшихся в сочетаниях типа **tьrt*, причем утрата, которая привела к тому, что перед плавными развивались те же гласные, какие получились из сильных редуцированных. Кстати сказать, утрату слоговости у старых слоговых плавных никак нельзя объяснить собственно процессом «падения глухих», коль скоро при плавных не было редуцированных гласных. Появление в языке новых слоговых плавных скорее должно было поддержать уже существовавшие старые слоговые плавные, чем способствовать их исчезновению. Если же бы старые слоговые плавные действительно удержались в языке, то в дальнейшем, при общей утрате слоговости плавных, старые слоговые плавные должны были измениться таким же или подобным образом, как и новые, образовавшиеся в сочетаниях типа **tъrt*. Этого, однако, не случилось: в соответствии с предполагаемыми слоговыми плавными, образовавшимися в исконных сочетаниях типа **tьrt* во всех восточнославянских говорах образовались сочетания, состоящие из гласных *о*, *е* с последующими неслоговыми плавными. Такой результат, как мне кажется, противоречит представлению о наличии слоговых плавных в древнерусском языке, образовавшихся из сочетаний редуцированных гласных с плавными между согласными.

Замену болгарских написаний с ъ и ь после плавных, т. е. *ръ*, *рь*, *лъ*, *ль* русскими с ъ и ь перед плавными, т. е. *ър*, *ьр*, *ъл*, а также изменение сочетаний, передаваемых этими написаниями, при процессе «падения глухих» в сочетания с гласными *о* и *е* перед плавными правдоподобнее и проще всего объяснить тем, что в древнерусском языке до времени «падения глухих» существовали сочетания типа **tьrt*, в которых были представлены редуцированные гласные фонемы ъ, ь перед плавными *r*, *r'*, *l*. Из таких сочетаний легче всего вывести те звуковые явления, которые наблюдаются в восточнославянских говорах после «падения глухих» в соответствии с сочетаниями типа **tьrt*.

Предположение, что в древнерусском языке существовали сочетания типа **tьrt* с слоговыми редуцированными гласными ъ, ь обычного образования, как будто бы противоречит общепринятому представлению, что в это время все слоги слова в языке были открытымп. Действительно, сочетания типа **tьrt*, если считать, что в них редуцированные были слоговыми, а плавные неслоговыми, конечно, образовали закрытые слоги. Наличие таких сочетаний в языке, в котором все слоги были открытыми, было бы отклонением от фонетической закономерности слоговой модели слова, причем отклонением единичным. В значительной мере именно эта исключительность сочетаний типа **tьrt* заставляла исследователей предполагать, что в них редуцированные гласные с плавными изменились в слоговые плавные, благодаря чему слоги становились открытыми.

Однако то обстоятельство, что сочетания типа **tъrt*, образуя закрытые слоги, были исключением по отношению к общей модели слога древнерусского языка, никак не может служить доказательством, что их не могло быть в языке. Этим я не хочу подвергать сомнению реальность действия тенденции к открытости слога, той тенденции, которой объясняют, наряду со многими другими фонетическими изменениями, и образование слоговых плавных в сочетаниях типа **tъrt*. Надо только иметь в виду, что тенденция к открытости слога, существовавшая в древних славянских говорах, не представляла собой звукового закона, однократное действие которого в определенных языковых границах распространялось одновременно на все звуковые явления, удовлетворявшие фонетическим условиям, в которых происходило звуковое изменение. Она есть то общее, что объединяло разновременные и качественно различные фонетические изменения, определяемые звуковой системой языка и в свою очередь определяющие общее в разновременных изменениях этой системы. Тенденция к открытости слога исторически сложилась в общеславянском языке в результате ряда случайных по отношению к ней самой фонетических изменений. Эти изменения увеличивали число открытых слогов, благодаря чему слоговая модель слова стала строиться все в большем и большем количестве случаев по типу открытого слога. В результате, в какой-то момент возникла тенденция к изменению оставшихся в славянских говорах закрытых слогов в открытые. Следствием ее был ряд фонетических изменений, которые затрагивали различные в фонетическом отношении звуковые явления и, что особенно важно подчеркнуть, которые протекали в разное время. Поэтому пока тенденция к открытости слога была в действии, в говорах существовали противоречащие господствующей слоговой модели закрытые слоги, к устранению которых вела эта тенденция, так как она могла осуществляться только в течение того времени, пока в языке сохранялись закрытые слоги. Таким образом, нет ничего невероятного в том, что при почти последовательном проведении в древнерусском языке XI в. модели открытого слога, как результата длительного действия тенденции к такому образованию слогов, в нем имелись еще закрытые слоги в сочетаниях типа **tъrt*. Они были возможны в языке, потому что XI век в истории русского языка мог быть еще временем действия тенденции к открытости слога, а не временем, когда эта тенденция уже завершила преобразование закрытых слогов в открытые. Такое завершение могло бы быть делом будущего, если бы процесс «падения глухих», разрушивший модель открытого слога и прекративший действие тенденции к нему, не был бы так близок.

Однако отсюда не следует, что сочетания типа **tъrt* со слоговыми редуцированными перед плавными обязательно образовали закрытые слоги. Более правдоподобным представляется то, что тенденция к открытости слогов все же распространила свое действие и на эти сочетания. Конечно, сочетания типа **tъrt*, раз они заключали в себе слоговые редуцированные и неслоговые плавные, вряд ли могли образовать открытые слоги. Но совсем не обязательно считать, что плавные после слоговых редуцированных

были именно неслоговыми. Устранение закрытого слога в сочетаниях типа **tъrt* происходило, можно думать, путем изменения неслоговых плавных в слоговые (**tъrt*>**tъr̥t*), благодаря чему сочетание **tъrt* из однослогового становилось двуслоговым, т. е. **tъr/t* с одним слогоразделом после неслоговой плавной изменялось в **tъ/r̥/t* с двумя слогоразделами — после слоговой редуцированной и после слоговой плавной, например: **tъr/gъ*> **tъ/r̥/gъ*, **zьr'/no*> **zь/r̥'/no*, **pьl/nъ*>**pъ/l̥/nъ* и пр.

В пользу такого предположения об изменении сочетаний типа **tъrt* в древнерусском языке можно привести несколько соображений.

Во-первых, к XI в. древнерусский язык представлял собой систему, в которой с наибольшей последовательностью проводился принцип построения слоговой модели слова по типу слогового сингармонизма и открытого слога. В этом отношении сочетания типа **tъrt*, если они образовали закрытые слоги, как уже говорилось, выделялись как совершенно исключительные. Поэтому более вероятным представляется то, что и они все же подчинялись общей модели построения слога, образуя слоги открытые. А так как по показаниям памятников древнерусского письма редуцированные гласные, предшествующие плавным в этих сочетаниях, были слоговыми, то открытость слога в сочетаниях типа **tъrt* могла образоваться только путем изменения неслоговых плавных в слоговые, в результате чего получились двуслоговые сочетания типа **tъ/r̥/t*.

Во-вторых, дальнейшая судьба сочетаний типа **tъrt* в восточнославянских языках наиболее легко объясняется именно при предположении, что слоговыми были в них не только редуцированные гласные, но и следующие за ними плавные согласные, т. е. что это были сочетания типа **tъ/r̥/t*. Схематически судьбу этих сочетаний можно изобразить следующим образом.

Процесс «падения глухих» не мог не затронуть и тех редуцированных, которые произносились перед слоговыми плавными в сочетаниях типа **tъ/r̥/t*. Однако судьба этих редуцированных отличалась от судьбы редуцированных в других фонетических положениях. Последние, как известно, были «сильными» или «слабыми», т. е. более долгими или более краткими, в зависимости от долготы гласной следующего слога. Этим и определялась судьба редуцированных, когда происходила их утрата. «Слабые» редуцированные исчезали, «сильные» изменялись в гласные полного образования *о* и *е*. Положение редуцированных перед слоговыми плавными было иным. Слоговые плавные не представляли собой самостоятельных фонем в системе согласных древнерусского языка. Они были лишь вариациями неслоговых плавных, слоговое произношение которых определялось их положением в исходе слога. Таким образом, редуцированные *ъ* и *ь* в сочетаниях типа **tъ/r̥/t* находились в положении перед позиционно обусловленным слогом. Это положение не отвечало тем условиям, которыми создавалось различие между «слабыми» и «сильными» редуцированными, и они при «падении глухих» изменялись одинаковым образом. Во всех восточнославянских говорах *ъ* и *ь* изменялись перед слоговыми плавными в *о* и *е*, т. е. в те же

гласные, в которые в других фонетических положениях изменялись «сильные» ъ и ь.

Совпадение в результатах изменения с «сильными» редуцированными редуцированных ъ и ь, находившихся в положении перед слоговыми плавными, не было случайностью. Одним из следствий «падения глухих» было разрушение господствующей в древнерусском языке модели открытого слога. В языке стали образовываться в большом числе закрытые слоги. С разрушением старой слоговой модели уничтожались фонетические условия, которые вызывали слоговое произношение плавных в сочетаниях типа **tъ/r̥/t*, и плавные, сокращаясь, утрачивали свою позиционно обусловленную слоговость. Сокращение слоговых плавных в свою очередь вызывало удлинение находившихся перед ними редуцированных ъ и ь, которые изменялись, подобно «сильным» ъ и ь, в гласные полного образования *о* и *е*.

Так происходило изменение ъ и ь перед плавными, когда за сочетаниями типа **tъ/r̥/t* следовал слог с гласной полного образования. Сами плавные при этом примыкали в слоговом отношении к предшествующим гласным, образуя закрытые слоги, например: **tъ/r̥/ga* > **tor/ga*, **z'ь/r̥'/no* > **z'er'/no*, **pъ/l̥/na* > **pol/na* и др.

Несколько сложнее обстояло дело в тех относительно немногочисленных случаях, когда за сочетанием типа **tъ/r̥/t* следовал слог с исчезавшими «слабыми» ъ и ь. В этом положении плавные были не только слоговыми, но, как можно полагать, и долгими. Их долгота вызывалась «ослаблением», сокращением редуцированных ъ и ь следующего слога, приводившим в конце концов к их утрате. Следовательно, слоговые плавные удлинялись перед слогом со «слабыми» ъ и ь подобно тому, как в этом же положении удлинялись и другие слоги, что привело к изменению во всех говорах древнерусского языка «сильных» ъ и ь в гласные *о* и *е*, а в говорах-предках современного украинского языка исконных *о* и *е* в конечном итоге — в *і* (*кінь*, *лід*). При «падении глухих» долгие слоговые плавные утрачивали и свою слоговость, и долготу. Благодаря этому не только предшествующие плавным ъ и ь изменились в *о* и *е*, но и после них развивались гласные *о* и *е*, т. е. образовалось так называемое второе полногласие, например: **tъ/r̥/gъ* > *tъ/r̄/gъ* > *torog*, **z'ь/r̄/nъ* > *z'ь/r̄/nъ* > *z'er'en*, *pъ/l̥/nъ* > *polon*.

Как известно, второе полногласие проводится в современных говорах восточнославянских языков очень непоследовательно. Обычно это объясняют тем, что во многих словах оно было утрачено в результате обобщения основ тех форм, где полногласия не было. Действительно, в подавляющем большинстве случаев основы с полногласными сочетаниями чередовались в формах одного и того же слова с основами, где были неполногласные сочетания. Поскольку большая часть форм имела основу с неполногласными сочетаниями, то естественно, что она легко могла обобщаться и в той единичной форме, где фонетически образовалось второе полногласие. Так, в форме именительного падежа единственного числа *torog* обобщалась основа косвенных падежей *torg-* (*торга*, *торгу* и пр.),

ср. современное *торг*; в форме родительного падежа множественного числа **verest* — основа *verst-* (*верста, версты* и пр.), ср. современное *вёрст* и т. д. Следовательно, отсутствие полногласных сочетаний в формах, где они, казалось бы, должны были быть, объясняется тенденцией к обобщению основы.

Однако, как мне кажется, нет никакой необходимости представлять себе так прямолинейно образование и утрату сочетаний второго полногласия — сначала они образуются, потом возникает тенденция к обобщению основ, после чего полногласные сочетания исчезают. Если тенденция к обобщению основ была действительной причиной, устранявшей второе полногласие, то она с не меньшей силой могла действовать не только тогда, когда полногласные сочетания уже образовались, но и в самый момент их образования. Тенденция к обобщению основ не устраняла сочетаний второго полногласия, а препятствовала их возникновению. Это приводило к тому, что звуковой закон, согласно которому образовалось второе полногласие, ограничивался в своем действии. Результатом такого ограничения было то, что полногласные сочетания образовались не во всех словах, где потенциально могли возникнуть, и в различном количестве по отдельным говорам. Наиболее широко, как известно, второе полногласие в настоящее время представлено в севернорусских говорах[1].

Наконец, вероятность изменения сочетаний типа **tъrt* в древнерусские **tъ/r̥/t* подтверждается еще тем, что такое изменение оказывается параллельным изменению сочетаний типа **tort* с согласными полного образования *о*, *е* перед плавными, сочетаний, из которых затем образовались восточнославянские полногласные сочетания типа *torot*. Сочетания типа **tъrt* и **tort*, еще до того, как они стали изменяться под действием тенденции к открытости слога, переживали в восточнославянских говорах некоторые общие изменения. Таким было, например, изменение в сочетаниях типа **tьlt* и *telt* гласных *ъ* и *е* перед *l* в *ъ* и *о*, ср. *pьlnъ* > **pъlnъ*, **pelnъ* > **polnъ*, откуда современные русские *полн и полóн*.

Можно полагать, что общим для обоих сочетаний было также смягчение *r* по прогрессивной ассимиляции (аккомодации) с предшествующими *ъ* и *е*, т. е. **tьrt* > **tьr't* и **tert* > **ter't*, например: **zьrno* > **zьr'no*, **vьrchъ* > **vьr'chъ* и **perdъ* > **per'dъ* (русск. *перед*), **bergъ* > **ber'gъ* (русск. *берег*) и т. д.[2]

---

[1] См. А. А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка, Энциклопедия славянской филологии Академии Наук, вып. 11_1, Пгр., 1915, стр. 274 и 277—278; Н. Дурново. Очерк истории русского языка, М.—Л., 1924, стр. 159.

[2] Параллелизм смягчения *r* в сочетаниях типа **tьrt* и **tert* предполагает и А. А. Шахматов. Однако он ограничивает условия смягчения положением *r* не перед твердыми зубными согласными. Основанием для такого ограничения послужили ему, повидимому, показания русского, польского и верхнелужицкого языков, в которых следы мягкости *r'* в сочетаниях типа **tьrt* наглядно обнаруживаются только перед губными, задненебными и мягкими зубными согласными (см. его «Очерк древнейшего периода истории русского языка», § 80, 83, 235 и 251). Данные истории русского языка

Предположением о смягчении *r* после *e*, параллельном такому же смягчению после *ъ*, проще всего объясняется, почему из **tert* образовалось полногласное сочетание **ter'et* с гласной *e* после *r*, а из **tort*, **tołt* — сочетания *torot*, *tołot* с гласной *o* после *r*. Это различие было обусловлено мягкостью и твердостью *r* в соответствующих сочетаниях. В **ter't* плавная *r'* была мягкой, и потому после нее развилась гласная *e*: **bergъ*> **ber'gъ*> **b'er'egъ*, а в **tort*, *tołt* плавные были твердыми, что привело к образованию после них гласной *o*: **sołdъ*>**solodъ*, **pełnъ*>**połnъ*>**połonъ*, **gordъ*> **gorodъ*.

Такая же зависимость качества гласной от мягкости и твердости предшествующей согласной наблюдается позднее при образовании в древнерусском языке «второго полногласия». Из **tъr't* с мягким *r'* образовалось *ter'et*, ср. севернорусские: *вéрёх*, *вóдерень*, *жéредья*, *зереньё*, *перёс* (*перст*), *сéреп*, *скатеретъ*, *скатерётка* и др.; из **tъrt*, **tъłt* с твердыми *r* образовались *torot*, *tołot*, ср. севернорусские: *гóброп* (пригорок), *коромщик*, *кóром* и *корóм*, *доложнó* и *дóложно*, *молонья́* и *мóлонья*, *ýсолонь*, *усолонье* (место, не освещаемое солнцем) и др.

Обычному объяснению, согласно которому в полногласных сочетаниях после плавных развивалась гласная такого же качества, что и находившаяся перед плавными, противоречат случаи вроде *шеломъ*, *желобъ*. Однако они легко объясняются, если принять высказанное предположение, что в полногласных сочетаниях после твердых согласных развивалась гласная *o*, а после мягких — гласная *e*. Так как в словах **šełmъ*, **želbъ* плавные были твердыми, то после них возникла гласная *o*, а не *e*, чего следовало бы ждать, если бы качество гласной после плавной определялось качеством гласной, стоящей перед плавной.

Вполне естественно, что сочетания типа **tъrt* и **tort*, столь близкие по своему звуковому строению, что уже ранее могли переживать общие изменения, когда подчинились тенденции к открытости слога, стали изменяться одинаковым образом. В сочетаниях типа **tort* устранение закрытости слога происходило, как полагают, путем изменения плавных согласных в слоговые звуки, т. е. **tort*>**to̯rt* (*to̯rr̥t*), например: **gor|dъ*>**go|r̥|dъ*, *ber|gъ*>**be|r̥'|gъ*, **poł|nъ*> *po|ł̥|nъ*, **šeł|mъ*>**še|ł̥|mъ* и др. Дальнейшее изменение сочетаний с слоговыми плавными в полногласные сочетания уже не связано с действием тенденции к открытости слога, так как слоги в этих сочетаниях были уже и без того открытыми. Если полагать, что и в сочетаниях типа **tъrt* образование открытых слогов произошло тем же путем, то из них должны были получиться сочетания типа **tъ|r̥|t*. Таким образом, совершенно естественное предположение о том, что структурно сходные сочетания под действием одних и тех же фонетических условий должны были единообразно измениться, приводит к заключению об

и современных русских говоров показывают, однако, что *r'* в сочетаниях типа **tъrt*, по крайней мере в русском языке, было мягким и перед твердыми зубными согласными. Обоснованию этого положения будет посвящена другая моя работа.

изменении сочетаний типа **tьrt* в сочетания типа **tь/r̥/t*, в сочетания, которые были мною предположены для древнерусского языка XI в. на совершенно иных основаниях.

После несколько затянувшегося отступления вернусь к прерванной теме. Как уже говорилось, древнерусские памятники XI в. показывают исключительно последовательное, согласно этимологии, написание букв **ъ** и **ь** в соответствии с редуцированными фонемами *ъ* и *ь*. Это, как совершенно правильно указал А. А. Шахматов, доказывает, что в древнерусском языке XI в. редуцированные фонемы были еще живым явлением фонетической системы. Такая последовательность в написании **ъ** и **ь** никак не может быть объяснена точным следованием за болгарским оригиналом. И не только потому, что болгарские памятники старославянского языка XI в. и даже более раннего времени не обнаруживают такой последовательности. Ее не оказалось в памятниках, которые сохранились, но она могла быть в памятниках, до нас не дошедших, и именно с этих последних могли быть списаны русские памятники XI в. Последовательность в написании редуцированных гласных русскими писцами XI в. не может быть обязана болгарским оригиналам прежде всего потому, что эта последовательность отражает употребление редуцированных, которое свойственно именно древнерусской фонетической системе, а не болгарской.

В употреблении редуцированных между болгарскими и восточнославянскими, древнерусскими говорами существовало определенное различие, сказывавшееся в ряде явлений. Эти говоры различались, во-первых, тем, что болгарскому окончанию творительного падежа единственного числа *-омъ*, *-емъ* соответствовало в тех же именах древнерусское окончание *-ъмъ*, *-ьмъ*, во-вторых, тем, что в болгарских говорах формы 3-го лица единственного числа глаголов оканчивались на *-тъ*, а в древнерусских — на *-тъ*, и, наконец, тем, что болгарским сочетаниям типа *ръ* (**tr̥t*) в древнерусском языке соответствовали сочетания типа *ръ* (**tь/r̥/t*). И вот во всех этих случаях, в которых древнерусский язык расходился в отношении употребления редуцированных с болгарским, русские писцы XI в. с бóльшим или меньшим постоянством следовали за своим собственным употреблением редуцированных и писали *рабъмь*, *коньмь*, *идеть*, *идоуть*, *търгъ*, *зърно*, *пълнъ* и т. д., заменяя болгарские *рабомь*, *конѣмь*, *идеть*, *идѫть*, *тръжище*, *зрѣно*, *плънъ* и т. д. Эта замена болгарских написаний русскими — наиболее убедительное свидетельство существования редуцированных гласных в древнерусской фонетической системе XI в.

Доказательная сила замены отдельных диалектных элементов, которыми различались болгарские и древнерусские говоры, не одинакова. В частности, замена на письме болгарского окончания 3-го лица глаголов на *-тъ* русским на *-тъ* сама по себе еще не говорит о сохранении редуцированных в языке, так как она могла осуществиться и после «падения глухих» из-за стремления обозначить мягкость конечного *т'*. Однако, поскольку замена *-тъ* на *-тъ* происходит одновременно с заменой *-омъ*, *-емъ* на *-ъмъ*, *-ьмъ* и *ръ* на *ър*, которая могла произойти только, так сказать, при

жизни редуцированных, то и она должна быть объяснена той же причиной. Становясь же в ряд других, замена *-тъ* на *-ть* приобретает значение дополнительного доказательства существования редуцированных фонем в XI в.

В истории русской письменности XI век — это время, когда в правописании древнерусских памятников вырабатываются собственные орфографические нормы, отличные от норм южнославянских. Тогда же складывается и древнерусский извод (редакция) старославянского языка, в котором, как указывает Н. Н. Дурново, «проявляется тенденция к последовательному проведению некоторых особенностей правописания, связанных с особенностями самого языка и несвойственных правописанию южнославянских текстов, а именно: 1) написания ъ и ь перед плавными или по обе стороны плавных: эта черта последовательно проведена уже в первом почерке Остромирова евангелия; 2) написание *ж* вместо *жд* из *dj*; правда, ни в одном из памятников, сохраняющих Ѫ, эта особенность еще не проведена последовательно; тем не менее подобные написания настолько многочисленны, что не похожи на простые ошибки писцов, а свидетельствуют о зарождении новой орфографии; 3) instr. sg. m. на *-ъмь*, *-ьмь*, как и в текстах чешско-моравской редакции; 4) 3-е лицо глаголов на *-ть*; 5) А или ѫ в суффиксе прилагательных *-Ѧнъ* вместо южнославянского *ѣнъ*»[1].

Чрезвычайно показательно, что из пяти черт, о которых Н. Н. Дурново говорит как о признаках древнерусского извода старославянского языка, т. е. из черт, которыми древнерусский извод отличается от южнославянского или, точнее, болгарского, три (пп. 1, 3, 4) связаны с написаниями, отражающими русское употребление редуцированных гласных. Это, конечно, не случайно.

Действительно, если замена болгарских написаний, противоречащих фонетическим нормам древнерусского языка, была вполне естественна, и именно по этому пути в первую очередь шел процесс создания местных изводов старославянского языка, то на первый взгляд оказывается не совсем понятным, почему же в древнерусском изводе были заменены три типа болгарских написаний, каждое из которых в отдельности никак не противоречило произносительным нормам древнерусского языка и потому, казалось бы, имело все шансы удержаться на письме, становясь, подобно неполногласным сочетаниям вроде *градъ*, *брѣгъ*, *млѣко*, характерными элементами письменного, книжного языка. Древнерусскому языку никак не были чужды ни конечные сочетания *-омь*, *-емь* (ср. хотя бы окончания местного падежа местоимений: *немь*, *томь*), ни конечные *-тъ* (ср. местоимение *тътъ*, окончание супина на *-ть*), ни сочетания типа *рꙋ*, *рь*, *лꙋ*, *ль* с редуцированными после плавных. Болгарские слова, такие, как *тръжище*, *плънъ*, русские писцы могли произносить подобно своим словам с редуцированными после плавных вроде *кръвь*, *блъха*, *сльза*, осмысляя

[1] Н. Дурново. Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов, «Byzantoslavica», Sv., I, 1929, стр. 18—19.

различие между болгарским *плънъ* и своим *пълнъ* таким же образом, как различие между болгарским *градъ* и своим *городъ*.

И однако так не случилось. Не случилось потому, что болгарские написания *-омъ*,*-емъ*, *-тъ*, *ръ*, *лъ*, хотя и не противоречили произносительным навыкам русских XI в., представляли для них такие же непонятные отклонения от «правильного» употребления букв ъ, ь, какие они встречали в большом числе и в других случаях, так как в болгарском письме этого времени на употреблении букв ъ и ь отразился целый ряд звуковых изменений, разрушивших более старую систему употребления редуцированных фонем. Напротив, в древнерусском языке еще сохранилось старое употребление редуцированных. Поэтому для сознания русских писцов болгарские написания представлялись беспорядочными, непонятными, в которых было трудно разобраться, выделить отдельные категории написаний, подвести их под какие-нибудь правила. Им не оставалось ничего другого, как руководствоваться в написании букв ъ и ь своим собственным употреблением редуцированных. И вполне естественно, что они так поступали и тогда, когда им приходилось писать окончания творительного падежа единственного числа имен, окончания 3-го лица глаголов и, наконец, сочетания на месте сочетаний типа **tьrt*.

Таким образом, русский извод старославянского языка создавался не только путем устранения болгарских написаний, противоречащих древнерусской звуковой системе, но также путем установления своих собственных норм в том случае, когда болгарские написания, хотя бы и не противоречившие этой системе, не могли быть осмыслены русскими писцами, так как резко расходились с употреблением соответствующих звучаний в собственном языке.

Поэтому в перечне тех особенностей древнерусского извода старославянского языка, которые приводит Н. Н. Дурново, три пункта (1, 3, 4), касающиеся написаний, связанных с употреблением редуцированных, могут быть объединены в один, который может быть выражен в общей форме, обнимающей все случаи написания ъ и ь. А именно, древнерусский извод старославянского языка, в отличие от болгарского извода, при последовательном согласно этимологии обозначении редуцированных гласных отражает диалектные явления, свойственные восточнославянским говорам.

Хотелось бы еще обратить внимание на одну характерную черту, связанную с написаниями, которые передавали окончания творительного падежа единственного числа у имен с **o-* и **u*-основами,· окончания 3-го лица глаголов, а также сочетания, соответствующие исконным сочетаниям типа **tьrt*. Я имею в виду тот факт, что эти написания не одновременно утверждались по их русскому произношению в качестве нормы. В этом отношении различалась судьба, с одной стороны, написаний *-ъмъ*, *-емъ* и *-тъ* и, с другой— написания сочетаний типа **tъ/r̥/t*. Первые два, т. е. написания окончаний творительного падежа единственного числа *-ъмъ*, *-ьмъ* и окончаний 3-го лица глаголов на *-тъ*, очень рано становятся нормой

древнерусской редакции старославянского языка. Окончания 3-го лица на **-тъ**, как говорилось, последовательно проводятся уже в Остромировом евангелии (болгарское написание на **-тъ** встречается всего пять раз). Почти то же самое можно сказать и о написании окончаний **-ѣмъ**, **-ѣмъ**, которое, по подсчетам Н. Н. Дурново, встречается в Остромировом евангелии в 96% всех случаев употребления формы творительного падежа единственного числа у имен с основой на ***-о*** и ***-и***.

Совсем иначе обстоит дело с написаниями **ѣр**, **ър**, **ѣл** между согласными в сочетаниях типа **tъ/r/t*. Они редко в каком памятнике проводятся с полной последовательностью. В одних памятниках больше, в других меньше, но в любом из них, наряду с древнерусскими написаниями, имеются болгарские. В том же Остромировом евангелии, в котором написания **-тъ**, **-ѣмъ**, **-ъмъ** уже стали нормой, русские написания **ѣр**, **ър**, **ѣл**, **ъл**, соответствующие болгарским **ръ**, **рѣ**, **лѣ**, последовательно проведены только у первого писца, которому принадлежат первые 23 листа текста (лл. 1—24). Здесь из 42 случаев написания сочетаний типа **tъrt* 41 соответствует русскому звучанию: *сърдьце*, *тържьникомъ*, *испълнь* и др. и одно при переносе на другую строку имеет **ѣлѣ**: *съ/лъньцю* (18[а]). В отличие от первого писца у второго (у диакона Григория), который писал остальную часть евангелия (лл. 25—294), «старославянские написания в большей части случаев сохранены без изменения, как **ръ**, **рѣ**, **лѣ**, например, *срьдьце*, *мрътвъ* и *мрътвѣ...*, *тръжьникомъ*, *скрьбь*, *съвлъкъше*, *исплънь*, *слъньце* и др.»[1] «В другой, меньшей части случаев... русский писец, основываясь на своем произношении, изменял эти написания, но обыкновенно не так, как изменены они в О. Е.[1] (т. е. у первого писца.— *В. С.*), а именно он писал или **ъръ**, **ърѣ...**, **ѣрѣ**, **ѣлѣ**, например, *върьхоу*, *зърьно*, *мърътвыихъ*, *скърьбь*, *напълънѣна*, *тълъцѣте...*, или еще чаще **ър̆**, **ѣр̆**, **ѣл̆**, например, *съмър̆ти*, *скър̆бь*, *напъл̆нѣнѫ...*; только изредка пишется в О. Е.[2] (т. е. у второго писца.— *В. С.*) так же и **ър**, например, *сърдьцьмь* 212[б], *въвъргоуть* (242[а])»[2].

Если воспользоваться материалом, который приводит М. Козловский в своей работе об Остромировом евангелии[3], и перевести эту общую характеристику употребления различных написаний сочетания типа **tъrt* вторым писцом Остромирова евангелия на язык цифр, то получится следующее. Всего у второго писца 454 случая написаний, передающих сочетания типа **tъrt*. Из этого числа написаний с **ъ** и **ъ** перед **р** и **л** — 1% (6 слов), с **ъ** и **ъ** перед **р** и **л**, над которыми стоят надстрочные знаки,— 26% (119 слов), с **ъ** и **ъ** по обе стороны **р** и **л** — 11% (49 слов) и болгарских написаний с **ъ** и **ъ** после **р** и **л** — 62% (280 слов).

---

[1] Ф. Ф. Фортунатов. Состав Остромирова евангелия, «Сборник статей, посвященных В. И. Ламанскому», ч. 2, СПб., 1908, стр. 1419.

[2] Там же, стр. 1420.

[3] М. Козловский. Исследование о языке Остромирова евангелия, «Исследования по русскому языку Отделения русского языка и словесности Академии Наук», СПб., т. I, 1886, стр. 107—111.

Другие памятники XI в., так же как и писцы Остромирова евангелия, обнаруживают различное отношение к написанию таких сочетаний. В Изборнике Святослава 1073 г., по наблюдению А. Розенфельда[1], отдается «предпочтение» сочетаниям, в которых глухой следует за плавным, так что группы с глухим впереди встречаются реже. К сожалению, он не указывает количественного выражения этого «предпочтения» болгарских написаний. Кроме русских написаний с глухим впереди плавного, «Святославов Изборник дает довольно большое количество примеров» на написания *ѓлѓ*, *ълѓ*, *ъръ*, *ърѓ* (51 пример)[2].

В Ноябрьской минее 1097 г., если принять вслед за С. П. Обнорским[3], исследовавшим этот памятник, что его списывали два писца, из которых один списал «приблизительно» первые 108 (или 112) листов, а другой — остальные 66, можно заметить значительное различие в отношении этих двух писцов к передаче на письме сочетаний типа **tъrt*. У первого писца на 471 случай передачи этого сочетания написаний с *ѓ*, *ъ* перед *р*, *л* — 44%, с *ѓ*, *ъ* перед *р*, *л*, над которыми стоят надстрочные знаки,— 1%, с *ѓ*, *ъ* по обе стороны *р*, *л* — 12% и с *ѓ*, *ъ* после *р*, *л* — 43%. У второго соответственно на 373 случая сочетаний типа **tъrt* написаний с *ѓ*, *ъ* перед *р*, *л* — 10%, с *ѓ*, *ъ* перед *р*, *л* с надстрочными знаками — 76%, с *ѓ*, *ъ* по обе стороны *р*, *л* — 2% и, наконец, с *ѓ*, *ъ* после *р*, *л* — 12%. Следовательно, если у первого писца болгарских написаний с *ѓ* и *ъ* после плавных — 43%, то у второго — только 12%, причем параллельно написаний с *ѓ* и *ъ* по обе стороны плавных у первого — 12%, у второго — 2%.

Иначе распределяются написания, передающие сочетания типа **tъrt* в Октябрьской минее 1096 г. По наблюдениям В. Л. Комаровича, «Праславянские группы **tъrt* — **tьrt*, **tъlt* — **tьlt* встречаются в памятнике в различных отражениях всего 520 раз. Но чаще всего они передаются... написаниями...: «глухой + плавный + глухой» (*ѓръ*, *ърѓ*, *ѓлѓ*). На долю таких написаний из общего числа случаев (520) приходится 280 случаев (*ѓрѓ*, *ъръ* — 217 раз, *ѓлѓ* — 63 раза)». Однако «написания «глухой + плавный» (*ѓр*, *ър*, *ѓл*) встречаются почти так же часто, как и написания с двумя глухими (*ѓр*, *ър* — 209 раз, *ѓл* — 13 раз)»[4]. Таким образом, на долю собственно болгарских написаний приходится всего лишь 18 случаев передачи сочетаний типа **tъrt*, в число которых В. Л. Комарович включает 5 случаев пропуска глухого: *почрпе* (41_{11}), *съмрть* (42_{22}), *проначртанаго* 60_2), *съмртьноıе* (65_{12}), *съмртї* (61_{16}). Если приводимые В. Л. Комаровичем

[1] А. Розенфельд. Язык Святославова Изборника 1073, «Русский филологический вестник», т. XLI, № 1, Варшава, 1899, стр. 173.

[2] Там же, стр. 172—183.

[3] С. П. Обнорский. Исследование о языке Минеи за ноябрь 1097 года, «Известия Отделения языка и словесности Академии Наук СССР», т. XXIX, 1924, стр. 198—208.

[4] В. Л. Комарович. Язык служебной Октябрьской Минеи 1096 года, «Известия Отделения языка и словесности Академии Наук СССР», т. XXX, 1925, стр. 28—29.

цифровые данные выразить в процентах, то получится, что в Октябрьской минее написаний с ъ, ь перед плавным — 43%, с ъ, ь по обе стороны плавного — 54% и болгарских написаний с ъ, ь после плавных — всего лишь 3%.

По характеру передачи сочетаний типа **tьrt* с частью Ноябрьской минеи 1097 г., писанной вторым писцом, сближается Чудовская псалтырь XI в., в которой эти сочетания изображаются «в огромном большинстве случаев в виде *търт*, *тьрт* и под.», причем «во всех написаниях *търт* и *тьрт* и под. плавный снабжен надстрочным знаком (единичные случаи без надстрочного знака — *пърстъ* 36[а] (*ть* лигатура) *тълпа* 72[в] *одържать* 106[в])»[1]. Напомню, что из у второго писца Ноябрьской минеи преобладающими написаниями являются написания с ъ и ь перед плавными, снабженными надстрочными знаками,— 76% от всех случаев употребления сочетаний типа **tьrt* при 10% таких же написаний, но без надстрочного знака.

Можно высказать догадку, что по характеру передачи сочетаний типа **tьrt* писец второй части Ноябрьской минеи и писец Чудовской псалтыри принадлежали к одной орфографической школе. В этой школе надстрочные знаки ставились над плавными для указания их слоговости, чем они отличались от плавных в других положениях. При фонетическом характере древнерусского письма это было вполне возможно. Конечно, не считаю свою догадку в какой бы то ни было мере доказанной.

Однако не могу не отметить того факта, на который в свое время указал еще И. В. Ягич[2], что надстрочные знаки в древнерусской письменности ставятся над плавными только при русских написаниях *ър*, *ьр*, *ъл*, *ьл*, но не болгарских *ръ*, *рь*, *лъ*, *ль*. Как мне кажется, это различие между русскими и болгарскими написаниями в отношении употребления надстрочных знаков над плавными объясняется тем, что болгарские написания читались русскими так же, как написания, когда-то соответствовавшие исконным сочетаниям типа **trьt* (*кръвь*, *сльза*), в которых, конечно, не было слоговых плавных. Передавая же на письме свои сочетания типа **tъ/ŗ/t*, русские писцы, поскольку в этих сочетаниях были слоговые плавные, обозначали их слоговость надстрочным знаком. Древнерусские написания *ър*, *ьр*, *ъл*, *ьл* с надстрочными знаками над плавными, как на это указывал И. В. Ягич, безусловно не могли быть средством передачи полногласных сочетаний (второго полногласия), так как иначе бы эти сочетания передавались на письме и болгарскими написаниями *ръ*, *рь*, *лъ*, *ль* с надстрочными знаками над плавными.

В Чудовской псалтыри всего 601 случай передачи сочетаний типа **tьrt*. Если исключить три примера *тьл/поу* (79[г]), *поскрь/бить* (90[б]), *мь/лвы* (104[г]), как не показательные, поскольку они написаны при переносе,

---

[1] С. П. Обнорский. К истории глухих в Чудовской псалтыри XI века, «Русский филологический вестник», т. LXVIII, № 4, 1912, стр. 359 и 368.

[2] V. Jagić. Über einige Erscheinungen des slavischen Vocalismus, «Archiv für slavische Philologie», Bd. I, H. 3, 1876, стр. 337—412.

и один — *порстъ* (106[б]), как явно ошибочный, то на оставшиеся 597 случаев передачи сочетаний типа **tьrt* болгарских написаний с ъ и ь после плавных оказывается 16%. Написаний с глухими по обе стороны плавного — всего 4: *зълъчь* (90[в], 91[г])), *търьнꙗ* (154[в]), *оутвъридиⷯ* (97[а]; с опиской), т. е. менее 1%. Таким образом, русских написаний с ъ и ь перед плавными в Чудовской псалтыри — 84%.

От указанных памятников резко отличается Архангельское евангелие 1092 г., которое по написанию сочетаний типа **tьrt* сближается с первой частью Остромирова евангелия. В нем за исключением двух болгарских написаний *накрѣмихомъ* (74 об.) и *црькъвь* (118) и пяти с ъ и ь по обе стороны плавных, из которых три при переносе *ць/ркъве* (102, 168 об.), *ѡвьрь/зоутьсꙗ* (61 об.), *вълъсви* (144 об., 147), все прочие сочетания типа **tьrt* передаются через написания с ъ и ь перед плавными, т. е. русских написаний в Архангельском евангелии можно считать 100%[1].

Соотношение в употреблении различных написаний сочетаний типа **tьrt* в рассмотренных памятниках XI в. (кроме Изборника Святослава 1073 г., для которого нет данных в работе А. Розенфельда) представлено в следующей таблице:

Памятники	Написания (в %)				Число написаний
	ѣр	ѣр	ерь	рь	
Остромирово евангелие:					
1-й писец	100	—	—	—	42
2-й »	1	26	11	62	454
Октябрьская минея	43	—	54	3	520
Ноябрьская минея:					
1-й писец	44	1	12	43	471
2-й »	10	76	2	12	373
Чудовская псалтырь	—	84	—	16	601
Архангельское евангелие	100	—	—	—	—

Приведенные данные из древнерусских памятников, как мне кажется, достаточно наглядно показывают, что в XI в. русские написания с ъ и ь перед плавными еще не установились в качестве постоянной, последовательно проводимой нормы. Наряду с ними в том или ином количестве встречаются и болгарские написания с ъ, ь после плавных. На почве такого сосуществования двояких написаний, русских и болгарских, возникают контаминированные написания с ъ и ь по обе стороны плавных, написания, в которых «надо признавать, конечно, комбинацию русского произношения со старославянским письмом, как на это указывали уже Ягич («Archiv f. slav. Phil.», I, 365) и другие»[2].

[1] М. А. Соколова. К истории русского языка в XI веке, «Известия по русскому языку и словесности Академии Наук СССР», т. III, 1930, стр. 111.

[2] Ф. Ф. Фортунатов. Состав Остромирова евангелия, «Сборник статей, посвященных В. И. Ламанскому», ч. 2, СПб., 1908, стр. 1421.

Постоянство передачи окончаний творительного падежа единственного числа у имен с **о*- и **и*-основами и окончаний 3-го лица глаголов именно в их древнерусских написаниях, наряду с отсутствием последовательности в проведении таких же написаний при передаче сочетаний типа **tъrt*, конечно, объясняется тем, что эти написания передавали неоднородные в языковом отношении явления. Первые передавали формальные грамматические элементы слова, тогда как вторые — элементы основы, причем в большинстве случаев корневые морфемы (точнее, их части). Следовательно, написание сочетаний типа **tъrt* связано с лексикой, и естественно, что в области лексики влияние болгарских элементов на древнерусский извод старославянского языка должно быть значительнее, чем на грамматические части слова. Нельзя к тому же не учитывать, что среди слов с сочетаниями типа **tъrt* в основе были такие, которые если не по корню, то по своему образованию или значению были для древнерусских писцов словами книжного языка, чуждыми их речи. Такие слова с неизбежностью должны были требовать к себе особого внимания у лица, списывавшего текст, и, естественно, они передавались на письме с болгарскими написаниями ***рѣ***, ***ръ***, ***лѣ***, ***лъ***, согласно оригиналу. Благодаря этому болгарские написания выделялись в качестве книжных элементов в письменном языке, которые в том или ином количестве проводились на письме. Они не стали нормой письменного языка, подобно неполногласным сочетаниям, так как этому препятствовала общая тенденция древнерусской письменности в написании *ѣ* и *ъ* следовать за своим употреблением редуцированных гласных. Поэтому болгарские написания ***рѣ***, ***ръ***, ***лѣ***, ***лъ*** проводились в древнерусских памятниках очень неравномерно, что зависело от школы письма или даже от личной манеры списывателя.

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

Том II 1953

П. С. Кузнецов

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ВИДО-ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА

Изучение исторического развития грамматического строя различных языков является одной из важнейших задач языкознания. Как указывает И. В. Сталин, грамматический строй изменяется не в результате взрывов, а медленно, постепенно. Грамматический строй языка, пишет И. В. Сталин, «претерпевает с течением времени изменения, он совершенствуется, улучшает и уточняет свои правила, обогащается новыми правилами, но основы грамматического строя сохраняются в течение очень долгого времени, так как они, как показывает история, могут с успехом обслуживать общество в течение ряда эпох»[1].

Каким образом происходят эти изменения грамматического строя, в чем состоит его постепенное совершенствование и уточнение его правил? Языкознание должно ответить на эти вопросы.

Проблема развития грамматического строя теснейшим образом связана с общим пониманием грамматики в свете указаний И. В. Сталина. Основным свойством грамматики является ее обобщающий, абстрагирующий характер. Без обобщения язык, как средство общения, немыслим; каждое слово представляет собой обобщение, так как служит для обозначения множества однородных предметов и явлений. Грамматика же представляет собой высшую ступень обобщения, так как, «абстрагируясь от частного и конкретного, как в словах, так и в предложениях, грамматика берёт то общее, что́ лежит в основе изменений слов и сочетании слов в предложениях, и строит из него грамматические правила, грамматические законы»[2].

Источником обобщений, осуществляемых и в словаре, и в грамматике, является действительность.

Обобщение, абстрагирование, осуществляющееся в слове, и обобщение, абстрагирование, осуществляющееся в грамматике, представляют собой явления качественно различные, но непроходимой грани между ними нет. Средства выражения грамматических значений, т. е. значений

---

[1] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1951, стр. 25—26.

[2] Там же, стр. 24.

наиболее обобщенного, отвлеченного от значения конкретных слов характера, генетически во многих случаях связаны со средствами, выражающими различные слова. Так, например, приставки в русском глаголе, служащие также для выражения грамматической категории вида, генетически развились из предлогов, материальную тождественность с которыми они сохраняют и в историческое время, т. е. из отдельных, хотя бы и служебных слов. Предлоги же генетически, повидимому, развились (для многих из них это можно доказать) из наречий, т. е. самостоятельных слов.

Развитие грамматического строя в различных языках идет различными, специфическими для каждого данного языка, путями. Со все дальше идущей абстрагирующей работой мышления, закрепляющейся в языковых формах, мы сталкиваемся в любых языках, но этот процесс осуществляется в различных конкретных языках по-разному.

При изучении специфических особенностей развития грамматического строя различных конкретных языков большое значение имеет сравнение родственных языков. И. В. Сталин указал на то, «что языковое родство, например, таких наций, как славянские, не подлежит сомнению, что изучение языкового родства этих наций могло бы принести языкознанию большую пользу в деле изучения законов развития языка»[1].

Принимая во внимание специфические особенности развития грамматического строя различных языков, а также то, что наличие материально родственных форм в различных языках одной группы или семьи всегда обусловлено наличием в далеком прошлом материально общей формы-первоисточника, мы можем проследить развитие соответствующих форм за период, значительно больший, чем тот, который может быть изучен на основании письменных памятников одного языка.

Полная картина исторического развития грамматического строя отдельного языка, а также группы или семьи родственных языков может быть получена лишь на основе изучения исторического развития отдельных грамматических категорий, образующих грамматическую структуру, характерную для соответствующего языка или языков.

Для русского языка и для славянских языков в целом едва ли не наибольший интерес представляет исследование исторического развития теснейшим образом между собой связанных грамматических категорий вида и времени, так как в них на протяжении истории произошли наиболее крупные качественные изменения.

«...развитие языка происходило не путём уничтожения существующего языка и построения нового,— учит И. В. Сталин,— а путём развёртывания и совершенствования основных элементов существующего языка. При этом переход от одного качества языка к другому качеству происходил не путём взрыва, не путём разового уничтожения старого и построения

[1] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 33—34.

нового, а путём постепенного и длительного накопления элементов нового качества, новой структуры языка, путём постепенного отмирания элементов старого качества»[1]. История любой грамматической категории любого языка, и, в частности, история тех категорий, которые составляют предмет рассмотрения настоящей статьи, является яркой иллюстрацией этого сталинского положения.

Я не буду останавливаться подробно ни на истории развития понятий вида и времени, ни на тех спорах, которые до сих пор ведутся вокруг определения этих понятий в нашей грамматической литературе. Все это выходит за рамки настоящей статьи. Я считаю необходимым лишь сказать, что следую тому определению грамматической категории времени, согласно которому время глагола есть грамматическая категория, выражающая отношение действия к моменту речи, и тому определению грамматической категории вида, согласно которой вид есть грамматическая категория, выражающая характер самого действия с точки зрения протекания его во времени. Возражения против понимания времени как категории, выражающей отношение к моменту речи, как против понимания, основанного на идеалистической концепции, на субъективном взгляде на время, мне не представляются убедительными. Понимая время как объективно-реальную форму бытия, мы при исследовании протекания каких бы то ни было событий во времени всегда принимаем какую-то точку отсчета, с которой и сравниваем исследуемые события. Такой точкой отсчета, имеющей для нас чисто условное значение, является, например, дата, от которой мы ведем наше летосчисление. Для определения значений различных грамматических форм времени точкой отсчета является момент речи. Момент речи не есть нечто субъективное, существующее лишь в сознании говорящего и зависящее лишь от его воли; он существует объективно, как для говорящего, так и для собеседника или собеседников, к которым обращена речь, и в различных отношениях к нему находятся различные события, реально протекающие во времени, что и выражается в различных грамматических формах времени. Поэтому с методологической точки зрения совершенно неприемлемым является определение грамматического времени у Грассри как времени субъективного[2].

Что же касается вида, то необходимо подчеркнуть именно временно́й характер этой категории.

В виде может быть выражено не только протекание действия во времени, но и некоторые иные значения, всегда, однако, совмещающиеся с характеристикой действия по отношению ко времени. Поэтому несправедливо, на мой взгляд, упрекал в свое время Дельбрюк Курциуса за то, что последний подходил к виду именно с временно́й точки зрения. Курциус ввел для обозначения вида термин Zeitart (в противоположность

[1] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 27.

[2] См.: R. de la Grasserie. Études de grammaire comparée. De la catégorie des Temps, Paris, 1888, стр. 3.

термину Zeitstufe, который он употреблял для обозначения грамматического времени). Дельбрюк, возражая ему, говорит, что, понимая вид как «Zeitart», Курциус стоит «одной ногой еще в прежних воззрениях» (т. е. в воззрениях той эпохи, когда в грамматической литературе не было еще понятия вида)[1]. И вполне правильным является временно́е понимание вида у Грассри, хотя в целом его концепция для нас неприемлема. Грассри называет вид «объективным временем» и противопоставляет его «субъективному времени». Под «субъективным» же временем он понимает грамматическое время. Но, как мы уже говорили выше, грамматическое время в той же мере объективно, как и вид. Нечеткое представление о виде как о категории, связанной именно со временем, приводило к тому, что к виду порой относились и такие явления, которые, собственно, с видом не связаны, а имеют отношения к иным глагольным категориям, хотя структурно и выражаются теми же средствами или, во всяком случае, средствами, близкими к тем, которыми оформляется вид. Так, например, в детальную классификацию видовых значений, какую мы находим у Бругмана[2], включаются и некоторые такие значения, которые имеют отношение не к виду, а к залогу, как значения каузативные и фактитивные. И именно временно́й характер вида с полным основанием подчеркивает Ф. Ф. Фортунатов, говоря об основном подразделении видов, предполагаемом им для индоевропейского праязыка: «Формою вида перфективного данный признак обозначался в состоянии полного его проявления во времени, а формой вида имперфективного тот же признак без отношения к полноте его проявления во времени»[3]. Правда, в своем генезисе и развитии различные грамматические категории обнаруживают теснейшую взаимосвязь. Но важно себе всегда четко представлять в каждом данном случае, о каком конкретном периоде развития грамматического строя данного языка идет речь, для того, чтобы не переносить отношения, свойственные одному периоду, в другой период.

В различных языках по-разному представлены категории вида и времени. При этом категория вида как категория грамматическая выступает лишь в тех языках, где она связана определенными отношениями с категорией времени, как это имеет место, например, в современном русском языке. Во многих языках, в частности в большинстве западноевропейских (например, во францу́зском, немецко́м), имеется система многочисленных времен (особенно во французском). В этих языках обычно нет структурно оформленной категории, которая выражала бы отношения действия ко времени независимо от момента речи и вместе с тем была бы связана

---

[1] См.: B. Delbrück. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, т. II, стр. 8.

[2] См.: Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 1916, изд. 2-е, т. II, вып. 3.

[3] Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительная морфология индоевропейских языков, Спряжение, 1900—1901 (литогр.), стр. 12—13.

определенными отношениями с категорией времени. Ясно, что применительно к таким языкам нельзя говорить о грамматической категории вида.

Некоторые лингвисты говорят о категории вида применительно и к таким языкам, но они в данном случае имеют в виду или формально никак не выраженные значения, что в грамматике совершенно неправомерно, или же некоторые средства словообразовательного характера, служащие лишь для выражения различных лексических значений, что никакого отношения к грамматике не имеет. Следует, однако, сказать, что в некоторых языках, характеризующихся системой многочисленных времен, представлена вместе с тем и категория вида (таковы, например, современные сербский, болгарский языки).

Древнерусский язык эпохи древнейших памятников, как и другие древние славянские языки, характеризовался, как известно, весьма сложной системой времен и в то же время имел формально выраженную категорию вида, определенным образом связанную с этой системой времен. Перед нами встает крайне интересный, но до сих пор еще, несмотря на обширную литературу, ему посвященную, полностью не разрешенный вопрос: как же сложились те отношения вида и времени, которые мы застаем в начале исторической эпохи, и как постепенно преобразовывались они в те отношения, которые характерны для современного русского языка?

Сложность отношений категорий вида и времени древнерусского языка и вообще древних славянских языков усугубляется тем, что категория вида, свойственная славянским языкам, совмещает в себе систему отношений различного порядка, представляющих собой по происхождению два последовательных исторических напластования. На это свыше полувека тому назад обратил внимание А. А. Потебня, указавший на различие противопоставлений законченности и незаконченности (как он говорит, «совершенности — несовершенности»), с одной стороны, и разных степеней длительности — с другой[1].

Указав на то, что термин «вид» употребляется в двояком значении, Потебня высказал соображение, что было бы лучше термин «вид», во избежание смешений, сохранить лишь за одним из этих различий. Лишь в недавнее время (начиная с 20-х годов XX в.) подобные идеи нашли отражение и в зарубежной лингвистике: было выдвинуто положение о том, что в пределах категории вида вскрываются две различные категории, причем каждая из них была обозначена особыми терминами: одна — Aktionsart, другая — Aspekt[2]. Ранее эти термины употреблялись для обозначения вида как синонимы — Aktionsart (в латинской форме Actio) в немецкой литературе, aspect — во французской. В целом термин

[1] А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, т. IV, стр. 62.

[2] См.: Jakobsohn. Gnomon, II, стр. 379; W. Porzig. Zur Aktionsart indogerm. Präsensbildungen, J. F., 1927, т. XLV, стр. 152 и след. Ср. также: C. G. Regnell. Über den Ursprung des slavischen Verbalaspektes, Lund, 1944, стр. 47, прим. 3.

Aspekt применяется к противопоставлениям совершенного и несовершенного видов, а Aktionsart — к тому, что Потебня называл различием степеней длительности.

Основное различие, выступающее в современном русском языке, это различие совершенного и несовершенного видов, основанное на различии в выражении отношения действия к его законченности (ограниченности) во времени. Определение вида как категории, выражающей отношение действия к его протеканию во времени, по-моему, более точно характеризует существо дела, чем отстаиваемое в настоящее время некоторыми советскими лингвистами понимание различий совершенного и несовершенного видов, как различий в отношении действия к пределу, до которого оно осуществляется и после которого, напротив, не имеет места. Предлагаемое в настоящее время некоторыми советскими лингвистами определение различий совершенного и несовершенного видов как различий качественных, а различий степеней длительности — как различий количественных мне не представляется удачным. Такое понимание основано на механическом перенесении философских категорий количества и качества на такие различия, которые ими не характеризуются. Следует иметь в виду, что различия степеней длительности представляют собой различия не только количественные, но и качественные; взаимоотношения тех категорий, которые Потебня определял как степени длительности, весьма сложны и не сводятся только к «количеству» действия.

Различия в степенях длительности характеризуют в настоящее время некоторые немногочисленные группы глаголов, состоящие из немногих единиц, и подчинены основному видовому делению, а именно делению всех глаголов на совершенный и несовершенный виды. Все эти группы глаголов сосредоточены именно в пределах несовершенного вида, но выделяются среди обычных глаголов несовершенного вида своим отношением как к видообразованию, так и к категории времени. Среди этих глаголов прежде всего выделяется группа глаголов движения, в которой мы находим пары структурно различающихся глаголов, один из которых обозначает движение линейное и однонаправленное и представляет собой обычный глагол несовершенного вида, а другой — движение нелинейное и разнонаправленное и отличается от обычных глаголов несовершенного вида тем, что соединение его с приставкой не всегда образует глагол совершенного вида. Глагол совершенного вида от глаголов нелинейного движения образуется только в тех случаях, когда приставка выражает лишь законченность или результат, но не вносит никакого иного, лексического значения. Глаголы же, образованные от этих глаголов посредством приставок лексического значения, являются глаголами несовершенного вида. Ср. *летать*— *прилетать*, *улетать*, *налетать* (в значении «набрасываться на кого-нибудь») — все глаголы несовершенного вида, и *налетать* (в таком значении, как «летчик налетал столько-то часов») — глагол совершенного вида (приставка *на* выражает здесь лишь результат). Вследствие этого формы типа *прилетаю*, *улетаю*, *налетаю* (в значении «набрасываюсь») имеют

значение настоящего времени, форма же *налетаю* (в значении «налетаю столько-то часов») — значение будущего времени.

В пределах несовершенного же вида выделяется группа многократных глаголов, весьма ограниченно употребляющихся в современном литературном языке, но широко распространенных в северных говорах. Эти глаголы в сочетании с приставкой любого значения не образуют глаголов совершенного вида. Кроме того, так называемые многократные бесприставочные глаголы характеризуются тем, что связаны специально с формой прошедшего времени и выражают, помимо повторяемости действия, определенное временно́е значение, именно нечто, давно бывшее. Следует кстати сказать, что многократное значение эти глаголы имеют не всегда.

Уже на основании того, что эти различные группы глаголов внутри несовершенного вида являются непродуктивными, т. е. ограниченными по количеству содержащихся в них элементов, можно предполагать, что внутри категории вида имеются различные исторические пласты.

Факты древнейших древнерусских и старославянских памятников указывают на то, что противопоставление совершенного и несовершенного видов в начале исторического периода еще только намечалось и, во всяком случае, еще не приняло современных форм, между тем как видовые отношения иного порядка, те, которые Потебня назвал различными степенями длительности, представлены были уже, в основном, образованиями непродуктивными, свидетельствующими о том, что они унаследованы от далекого прошлого. Кроме того, различные образования, выражающие соответствующие значения, обнаруживают определенные соответствия с фактами других древних индоевропейских языков, что указывает на развитие этих видовых категорий еще в общеиндоевропейском грамматическом строе. Следует, впрочем, иметь в виду, что в то время, когда писал Потебня, в языкознании не было еще достаточно полного представления об историческом развитии глагольной системы различных индоевропейских языков, в том числе славянских. Он относил к степеням длительности различные образования, не дифференцируя их в историческом отношении. Между тем в действительности возникновение некоторых из этих образований относится к совершенно различным эпохам: одни из них сложились еще в общеиндоевропейском грамматическом строе, другие — уже на протяжении исторического развития отдельных славянских языков, в том числе русского.

Бо́льшая часть видовых категорий, не связанных с различиями совершенного и несовершенного видов, как уже было сказано, развилась задолго до выработки этих последних различий, категория же времени, как показывает сравнительная грамматика индоевропейских языков, также не является категорией, изначала существующей в соответствующих языках. Поэтому крайне важной проблемой в историческом развитии грамматического строя славянских языков в целом и русского в частности является проблема взаимоотношения в историческом развитии этих трех категорий — времени, различий совершенного и несовершенного видов

и различий иных видовых категорий, образующих древнейший слой нашей видовой системы. История этих трех категорий должна быть изучена как с точки зрения их значения, так и с точки зрения их материально-структурного оформления.

Уже давно установлено в сравнительной грамматике индоевропейских языков, что те времена, которые мы застаем в древнеписьменных индоевропейских языках, сложились на основе иных категорий, имевших не временно́е значение. Следы этого не временно́го значения сохранились отчасти и в историческое время в употреблении глагольных временны́х форм в древнейших памятниках некоторых исторически засвидетельствованных индоевропейских языков (особенно в гомеровском эпосе, в Ведах). Эти предшествовавшие временам категории, на основе которых в дальнейшем формируются времена, являются категориями видовыми. Определяя значение этих категорий, зарубежные лингвисты обычно сравнивают их с видовыми категориями славянских языков. Но в действительности те и другие коренным образом различаются. Не говоря уже о различии в характере значений (о чем ниже), необходимо указать на существенное различие в отношении к категории времени. Славянские различия совершенного и несовершенного видов выступают при наличии определенной временно́й системы, в определенных отношениях с которой они находятся, древние же общеиндоевропейские видовые различия выступают вне связи с временем, поскольку тогда, когда эти различия складывались и развивались, времен еще не было, последние сложились позднее, на базе этих древних видов. До сих пор еще окончательно не решен вопрос о том, в какую эпоху на базе древних видовых различий вырабатывались различия временны́е, т. е. в какую эпоху осуществлялся переход от видов к времени. Выдвигалось предположение, что временны́е различия складывались уже на почве отдельных языковых групп, составляющих индоевропейскую семью языков, в общеиндоевропейском же грамматическом строе, т. е. в грамматическом строе того языка-основы, на базе которого сложились различные группы индоевропейских языков, грамматического времени еще не было. На такой точке зрения стоял, например, Штрейтберг[1]. Но выдвигалось и другое предположение, а именно, что общеиндоевропейский грамматический строй непосредственно перед распадением общеиндоевропейского языка располагал уже той системой времен, которую мы находим в древнейших исторически засвидетельствованных индоевропейских языках. На такой точке зрения стоял, например, Педерсен, считавший, что преобразование древней видовой системы во временну́ю происходило в очень древние времена, на протяжении развития общеиндоевропейского языка до его распадения. По Педерсену, виды для индоевропейской системы предполагаются в чисто глоттогоническом плане («reinglottogonisch»)[2]. Следует сказать, что под глоттогоническими

[1] Paul-Braune Beiträge, XV, стр. 116.

[2] H. Pedersen. Zur Lehre von den Aktionsarten, K. Z., 1904, XXXVII, стр. 220.

проблемами Педерсен понимает нечто совершенно иное, чем Н. Я. Марр. Он относит к глоттогоническому развитию, в отличие от историко-языкового («sprachhistorisch»), те явления, которые происходили на протяжении развития общеиндоевропейского языка до его распадения.

Как в действительности обстояло дело? Конечно, когда мы говорим о таких далеких доисторических временах, мы всегда находимся в области гипотез.

Некоторое представление о древней общеиндоевропейской видовой системе дают факты грамматического строя греческого языка и санскрита, которые и в отношении абсолютной хронологии зафиксированы в значительно более раннее время, чем славянские языки. Различие форм системы презенса, системы аориста и системы перфекта говорит об отношениях этих систем друг к другу как образующих самостоятельные глагольные лексемы, образованные от одного и того же корня, подобно тому, как самостоятельными глагольными лексемами, располагающими каждая своей системой форм, являются образованные от одного и того же корня глаголы различных видов современного русского языка. С этой системой видовых различий, характеризующих древние индоевропейские языки, перекрещивается система различий временны́х. Так, например, в греческом языке имперфект объединяется в видовом отношении с настоящим временем (презенсом). Он характеризуется общей с презенсом видовой основой, выражающей значение длительности действия. В то же время имперфект объединяется во временно́м отношении с аористом. Последний характеризуется иной основой, выражающей значение недлительности, мгновенности, но имеет (как прошедшее время) те же показатели, что и имперфект, а именно аугмент и вторичные личные окончания в соответствии с первичными окончаниями настоящего времени. Ср., например:

		λεί̆π	-	ω
ἔ̆	-	λειπ	-	ο - ν
ἔ̆	-	λιπ	-	ο - ν

Но система временны́х различий, объединяющая имперфект с аористом и отделяющая его в то же время от презенса, есть, несомненно, система позднейшего происхождения, наслаивающаяся на древнейшую систему чисто видовых различий. Аугмент, выражающий прошедшее время в некоторых индоевропейских языках, в частности в греческом и санскрите, не характеризует общеиндоевропейского грамматического строя. Аугмент, образовавшийся из самостоятельного наречия, даже в древнейших памятниках греческого и древнеиндийского языков (в гомеровском эпосе, в Ведах), а также в древнеармянском языке не является еще обязатель-

ным[1]. Что же касается различия первичных и вторичных окончаний, то те и другие обнаруживают несомненную взаимосвязь в генетическом плане (ср. *-mi* — *-m*, *-si* — *-s*, *-ti* — *-t* и т. д.), вследствие чего можно предполагать, что и эти различия когда-то, в очень отдаленные времена, сложились.

В ту эпоху, когда временны́х различий в грамматическом смысле слова еще не было, отношения действия ко времени выражались, по существу, лексическими средствами. Различие, например, основы презенса и основы аориста состояло в том, что первая выражала действие длительное, а вторая — недлительное, мгновенное, независимо от отношения действия к моменту речи. Обе основы различались структурно, но это различие носило характер словообразования, а не словоизменения, так как никакого различного отношения к другим членам предложения, а также специально к подлежащему эти различия основ не выражали; они характеризовали лишь самое действие. Конечно, особыми словами можно было и тогда выразить отношение к моменту речи, как можно его выразить и теперь в языках и ныне не имеющих грамматической категории времени. Но грамматически отношение к моменту речи не выражалось. Тот факт, что какими-то подобными структурными средствами характеризовались различные аористы, выражавшие самые различные конкретные действия, какими-то подобными структурными средствами характеризовались различные презенсы, выражавшие также самые различные конкретные действия, говорит о закреплении в структуре языка очень высокой степени абстрагирования, обобщения. Но это еще не то обобщение, которое отражается в грамматическом строе: Это обобщение можно сопоставить, например, с тем обобщением, какое отражается в уменьшительных формах существительных. Уже корневое слово *дом* выражает нечто в обобщенном виде. Но уменьшительность в таких словах, как *домик*, *столик* и т. д., выражает нечто еще более обобщенное, так как здесь выражается лишь малый размер, приложимый к любому предмету.

Когда имело место такое состояние строя индоевропейского глагола? Когда осуществляется переход от такого строя к формированию грамматических времен на базе этих древних видовых категорий? Еще в общеиндоевропейской системе или на основе отдельных языковых групп, составляющих индоевропейскую семью? Пока трудно окончательно ответить на этот вопрос. Но, судя по тому, что развитие средств, служащих для выражения грамматических времен в различных индоевропейских языках, при наличии некоторых общих предпосылок, довольно своеобразно преломляется на почве их грамматического строя, можно думать, что, во всяком случае, окончательное утверждение категории времени имело место уже на почве отдельных языковых групп и, возможно, в несколько различные исторические эпохи. Процесс перехода от древних видовых

[1] См. K. B r u g m a n n. Grundriss der vergleichenden Grammatik, т. II, вып. 3, стр. 12—13.

различий к новым временны́м различиям был, несомненно, очень длительным. Именно поэтому и в древнейших, уже исторических памятниках индоевропейских языков — греческих, древнеиндийских — временны́е формы сохраняют еще следы древнего невременно́го значения. Именно поэтому же и славянские глаголы ранней исторической эпохи характеризуются не только вновь нарождающимся противопоставлением совершенного и несовершенного видов, но сохраняют и те древние видовые различия, которые в дальнейшем все больше и больше подчиняются подразделению всех глаголов на совершенный и несовершенный виды.

Какие же основные различия видового характера выступают в ту отдаленную эпоху, когда грамматическое время вообще еще не было характерно для грамматического строя индоевропейских языков, и какими структурными средствами эти видовые различия оформлялись? Различия эти были многообразны и вырабатывались, повидимому, не все в одно время.

Наиболее ярко выступают, отражаясь в различных индоевропейских языках, такие различия, как различия презенса, аориста и перфекта. Но эти три категории генетически и структурно находятся не в одинаковых отношениях друг к другу. Категории аориста и презенса, объединяясь, вместе противостоят перфекту. На это указывают многие исследователи сравнительной грамматики индоевропейских языков, например, Бругман[1] и особенно четко Ф. Ф. Фортунатов, различающий для общеиндоевропейского глагола прежде всего виды перфективный и имперфективный, в пределах же имперфективного вида, в свою очередь, виды длительный и недлительный, т. е. различия, которые в дальнейшем закрепляются в различиях системы презенса и системы аориста[2].

В отношении значения перфект противостоит остальным категориям как категория результативного характера (состояние, являющееся результатом законченного действия). Как презенс, так и аорист выражают действие вне его отношения к результату. Материал древних индоевропейских языков показывает, что образования одного и того же порядка (в структурном отношении) могут быть использованы и в системе аориста, и в системе презенса; ср. др.-инд. *ábhāt* (от *bhā-* «сиять, являться, казаться») — имперфект, *ásthāt* (от *sthā-* «стоять») — аорист. В случае же структурных различий в основе презенса и аориста (если отбросить пока вопрос о специальном суффиксе аориста, выступающем в сигматическом аористе, о чем ниже) эти различия могут быть сведены к первоначальному единству. Поскольку как аугмент, так и различие первичных и вторичных окончаний являются средствами позднейшими, выражающими уже временны́е отношения, а аугмент к тому же и не получил во всех индоевропейских языках распространения, постольку остается часто наблюдающееся раз-

[1] К. Brugmann. Grundriss der vergleichenden Grammatik, изд. 2-е, т. II, вып. 3, стр. 327—428.

[2] Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительная морфология, Спряжение, стр. 12—13.

личие в основе (ср. греч. λείπω — ἔλιπον). Но источником этих различий, даже если на протяжении исторического развития языка они и были морфологизованы, является фонетика. Гласный в приведенном примере представляет собой ступень редукции дифтонга и являлся первоначально лишь в безударном положении, притом в слоге, непосредственно предшествовавшем ударению. В аористе в эпоху до появления аугмента ударение падало на второй слог основы[1]. Различие, таким образом, сводится лишь к первоначальному различию места ударения, ударение же, как известно, и в общеиндоевропейской системе, и на почве отдельных индоевропейских групп, претерпевало весьма сложные и не во всех отношениях еще разъясненные передвижения.

Перфект характеризуется структурным признаком, отличающим его от других образований и никаким образом не могущим быть выведенным из позиционно фонетических условий, а именно удвоением. Правда, с одной стороны, мы обнаруживаем удвоение не только в перфекте, а с другой стороны, известны перфекты без удвоения. Но, по крайней мере, некоторые из неперфектных форм с удвоением могут быть генетически связаны с перфектом, что же касается перфектов без удвоения, то существует мнение, что наблюдающиеся в отдельных языках формы перфекта без удвоения восходят к удвоенным формам[2]. Единственный случай, когда неудвоенная форма представлена по всем языкам, это — ст. слав. *вѣдѣ*, др.-инд. *vĕda*, греч. οἶδα, гот. *wait*. Но следует заметить, что здесь во всех этих языках значение уклоняется от обычного значения перфекта — на первый план всюду выступает (как и в латинском перфекте иного корня, но того же значения *novi*) не результативность, а состояние, отнесенное к настоящему времени. Удвоение, возможно, использовано было первоначально для выражения интенсивности, с значением которой может быть связано и значение достигнутого результата. Для выражения же интенсивности удвоение очень широко используется в самых различных языках, принадлежащих к различным семействам.

Другое, что отличает перфект от прочих образований и на что также обращали внимание различные исследователи,— это близость его к именным образованиям[3]. Известно, что при наличии именных и глагольных основ одного и того же корня часто наблюдается чередование *е/о*, причем ступень *е* характеризует глагольную основу, а ступень *о* — именную. Ступень *о* находим мы и в удвоенной основе перфекта. Ср. γέγονε — γόνος и т. д. Следует, впрочем, иметь в виду, что это чередование, в какую-то эпоху морфологизовавшись, имеет источник в фонетике: различие *е* и *о* возникает первоначально в определенных позиционных условиях (мне представляется более убедительным объяснение этого чередования на основе определенных акцентных отношений). В связи с этим возникает вопрос, не порождена ли эта близость основы перфекта к именным

[1] См. H. Hirt. Indogermanische Grammatik, т. V, стр. 295.

[2] См. там же, т. IV, стр. 281.

[3] Там же, стр. 271.

основам просто одинаковыми фонетическими отношениями еще до морфологизации чередования *е/о*. И здесь, как и во многих других случаях, необходимо указать на проблему, до сих пор еще не получившую надлежащего разрешения, проблему хронологического отношения различных процессов, имеющих место в фонетике, к процессам морфологического характера. Ступень *о* во втором слоге основы перфекта первоначально была обусловлена, вероятно, безударным характером соответствующего слога. Ср. γέγονα и т. п. Но интересно, что ступенью *о* характеризуется и тот единственный перфект, который по всем индоевропейским языкам проходит без удвоения (ср. греч. οἶδα). Впрочем, помимо вокализма основы, перфект сближают с именными образованиями и некоторые его другие признаки.

Противопоставление перфекта остальным глагольным образованиям устанавливается на основании показаний различных древних индоевропейских языков, где выступают старые формы простого перфекта. Противопоставление, соответствующее противопоставлению перфекта презенсу — аористу, мы находим и в наиболее удаленном от совокупности остальных индоевропейских языков и в то же время обнаруживающем определенные связи с этой совокупностью хеттском языке, где система времен представлена в значительно менее развитом виде, чем, например, в санскрите и в греческом, и где, однако, выступают два спряжения, соответствующие общеиндоевропейским презенсу — аористу и перфекту [1]. В славянских языках в исторически засвидетельствованное время, как известно, господствует новая, аналитическая форма перфекта, но наличие такого остатка, как *вѣдѣ*, свидетельствует о том, что некогда и славянским языкам была свойственна простая форма перфекта, резко отличная по своей структуре от остальных глагольных образований. Но удвоенные формы перфекта в славянских языках в явном виде не сохранились, вследствие чего на славянской почве не представлено наиболее яркое в структурном отношении средство, отличавшее перфект от системы презенса — аориста.

Какими структурными средствами оформляются древние видовые различия, помимо удвоения или его отсутствия? Основными такими средствами являются чередования корневого гласного и показатели глагольных классов, впоследствии, в эпоху развития времен, сосредоточенные в основе настоящего времени.

Чередования в индоевропейских языках вообще и в славянских в частности бывают, как известно, качественные и количественные. Те и другие возникают (одни совершенно очевидно, для других это можно предполагать) из фонетических условий и лишь затем морфологизуются, становятся показателями определенных морфологических категорий [2]. Необходимо

[1] E. H. Sturtevant. A Comparative Grammar of the Hittite Language, Philadelphia, 1933, стр. 216.

[2] На происхождении чередований специально не останавливаюсь, так как этому мною посвящена особая статья «О происхождении и развитии чередований в русском языке» («Известия Отд. лит-ры и языка АН СССР», 1952, № 1).

всегда отчетливо представлять себе, когда и при каких обстоятельствах чередования становятся морфологическим средством.

Количественные чередования, повидимому, относятся к более раннему времени, особенно, поскольку речь идет о ступени редукции, они основаны на большом различии по силе между ударными и безударными слогами, тогда как древнейшие засвидетельствованные индоевропейские языки говорят об иных акцентных отношениях (за исключением италийских языков, где, впрочем, явления редукции носят материально иной характер, чем те, которые определяют отношения, наблюдающиеся между различными древними индоевропейскими языками). Но в глагольной системе уже древнейшей исторически засвидетельствованной эпохи существования отдельных языков и даже в реконструируемой на основании сопоставления фактов этих языков системе общеиндоевропейского языка-основы более позднего времени совмещаются чередования того и другого рода. И видоизменения одного и того же глагольного корня в индоевропейских языках исторической эпохи представляют единый ряд, объединяющий как качественные, так и количественные различия.

Известно, что многие средства, сложившиеся в глубокой древности, продолжают в сравнительно позднее время служить живым структурным средством оформления различных грамматических категорий. Так, количественные чередования, на славянской почве, впрочем, в силу определенных фонетических изменений преобразовавшиеся в чередования различных и по качеству гласных, становятся именно на общеславянской почве продуктивным средством выражения определенных видовых различий, хотя чередования эти сложились в очень древнюю эпоху, а некоторые предпосылки к их морфологическому распространению имеются и в общеиндоевропейской системе. Именно на славянской почве, и именно в системе видовых различий глагола, получают широкое распространение такие чередования, как ***o/a*** (<***o/ō***); ***e/ě*** (<***e/ē***), вообще представленные и в других индоевропейских языках как части ряда ***e/o/ē/ō***, а также такие чередования, как ***ъ/i<i/ī***, ***ѣ/y<u/ū***. Долгие гласные в соответствующих парах выступают, как известно, в глагольных основах, выражающих большую длительность или повторяемость действия, для глаголов движения — движение разнонаправленное (хотя бы и непрерывное) или повторяющееся, в то время как краткий гласный в основе выражает именно движение однонаправленное. Такие отношения, например, связывают глаголы *летѣти* и *лѣтати* (ср., например, *южде на въздоусѣ лѣтаѭть пѣтицѣ*, Святославов Изборник 1073 г., л. 129). Но интересно, что в древнейших наших памятниках долгие гласные или их рефлексы мы очень редко находим в бесприставочных образованиях. Ср., например, такие старославянские и древнерусские образования, как *вложити — влагати* (но нет формы **лагати*), впрочем, ср. *просити — прашати, събрати — събирати* (но нет формы **бирати*), *оусъхнѫти — оусыхати* (но нет форм **сыхати*) и т. д. Позднее по говорам бесприставочные формы распространяются (ср., например частое в северных русских говорах *бира́ть*,

сыпáть и т. д.). Следует при этом иметь в виду, что в данном случае речь идет лишь об *i*, представляющем собой ступень удлинения редукции, тогда как *i*<*ei* вполне возможно. В древних же памятниках мы таких форм не находим. Но приставки — это средство, получающее распространение значительно позже, уже после формирования времен на базе древних видовых категорий. Как увидим дальше, приставки в начале истори ческого периода, повидимому, целиком еще не укрепились в своей видовой функции. А это говорит за то, что распространение количественных по происхождению чередований на различные глагольные основы осуществлялось в довольно позднее время.

Качественное чередование, нормальную ступень которого представляет чередование *e*/*o*, а на ступени удлинения —*ē*/*ō*, формируется, повидимому, позднее, чем количественное, поскольку оно возникает, вероятно, из фонетических условий таких акцентных отношений, которые напоминают акцентные отношения большинства древнейших исторически засвидетельствованных индоевропейских языков. Но это чередование с достаточной четкостью оформляется еще в общеиндоевропейской глагольной системе, поскольку в различных индоевропейских языках эти чередования, хотя и в разной степени, охватывают одни и те же категории. Как известно, корень со ступенью *o* характеризует именные основы (при ступени *e* в корне глагола), а в глаголе — специально основы глаголов движения повторяющегося и разнонаправленного, вообще и итеративных (повторительных), а также глаголов каузативных, в то время как корень с *e* характерен для глаголов линейного движения и неитеративных. Следует, впрочем, иметь в виду, что основа со ступенью *o* может быть соотнесена и с основой на ступени редукции (ступень же с *e* отсутствует). Ср., например, ст.-слав. и др.-русск. *жьдати — годити*.

Первоначально различия ступеней *o* и *e* определялись не принадлежностью к той или иной категории, а положением относительно ударения, вследствие чего различные категории структурно различались не чередованием, а местом ударения, следы чего мы видим и в историческое время — *o* выступает в безударном положении, а *e* под ударением. Ср., например, греч. φέρω—φορέω. Но в результате морфологизации этих отношений мы во всех индоевропейских языках находим и одинаковое ударение при различии *e* и *o*. Ср. русск. *несý* — *ношý* (*несý* — формы со старым конечным ударением, ср. *несёшь* и т. д., форма же *ношý* если и отражает передвижение ударения по закону Фортунатова — де Соссюра, то *o* в ней до этого передвижения не могло быть обусловлено фонетически, так как было под ударением); ср. также греч. ὄχος, ἔχος «колесница».

В различных индоевропейских языках одни и те же ступени чередования охватывают в общем одни и те же грамматические категории, в то время как различие *e* и *o* с положением относительно ударения, несомненно, уже не связано. На основании этого можно предполагать, что чередование *e*/*o* морфологизовалось еще в общеиндоевропейской системе. Сравнительные грамматики, ограничиваясь установлением системы

чередований, обычно не уделяют достаточного внимания развитию этих чередований на почве различных языковых групп, между тем оно осуществляется в различных языках весьма своеобразными путями. А. Вайан, рассматривая чередование *е/о* в славянских языках, говорит, что оно сохранилось «яснее» (est restée plus claire), чем рассмотренные им перед этим чередования в дифтонгическом и сонантном ряду, но перестало быть продуктивным[1]. Можно ли с этим согласиться? Прежде всего, неясно, о какой конкретной эпохе идет речь. Правда, на славянской почве это чередование представлено в довольно ограниченном объеме. В греческом языке, проходя по тем же категориям, что и в славянских, это чередование отражено значительно полнее. Действительно, в некоторых формах это чередование представлено в виде обломков. Так, например, в глаголе *горѣти* представлена лишь ступень *о*, но отсутствуют примеры с *е* (имеется лишь ступень с *ē* — в именной основе *жаръ*; каузативное или, скорее, отыменное *жарить* вряд ли является древним, у Срезневского примеров на него нет). Между тем в греческом языке ступень *е* представлена, притом не только в глагольном, но и в именном образовании. Ср. θέρομαι «мне жарко», θερμός «жар», θέρος «летняя жара». Действительно, в некоторых случаях, когда в греческом языке это чередование имеет место, в славянских языках имеется материально тождественный корень, чередование же отсутствует. Ср. греч. φέβομαι «боюсь»; φοβέω «пугаю». В славянских и балтийских языках этот корень представлен на ступени удлинения, притом лишь *ē*: лит. *bė́gu*, *bė̃gti*; ст.-слав. *бѣгнѫ*, *бѣство*. Действительно, некоторые типы, представлявшие первоначально один корень, лишь с различными ступенями чередования, разошлись семантически на протяжении истории языка, притом, повидимому, в очень раннее время, и уже не представляют образований, непосредственно взаимно связанных. Ср., например, с одной стороны, *вѣдѣ*, греч. οἶδα и т. д., с другой стороны, *видѣти*, греч. εἶδω «вижу» и т. д. И все-таки этот тип, повидимому, продолжал развиваться в ту эпоху, когда славянская группа уже несомненно существовала раздельно от других групп. Об этом говорит следующий факт. Чередование это, как уже сказано, представлено в различных языковых группах в подобных формах. Но мы очень редко найдем такие случаи, когда чередование в глагольной основе было бы представлено в материально тех же корнях в древних славянских языках и в других индоевропейских, прежде всего в греческом, поскольку именно в нем это чередование представлено особенно широко и закономерно пронизывает определенные категории глагола. В соотношении именных и глагольных основ соответствия вообще наблюдаются, но внутри глагольных основ они редки. Так, например, отношения славянского *нести — носити* и греч. φέρω — φορέω по общему типу образования друг другу соответствуют. Но материально здесь корни разные. Наблюдаются, правда, и соответствия,

[1] См. A. Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves, Paris, 1950, т. I, стр. 303.

но чрезвычайно немногочисленные. Ср., например, *везу, везѫ* (*vez-*) — *возити*, греч. ἔχω, ὀχέομαι, ὀχέω. В большинстве же случаев наблюдается расхождение. Так, например, *вести* — *водити* может быть сопоставлено с такими формами, как лит. *vèsti*, *vedù*, др.-ирл. *fedim*, др.-инд. *vadhūh* «невеста», что указывает скорее на *e*, так как в случае *o*, чередующегося с *e*, в открытом слоге было бы *ā*. В случае *нести* — *носити* мы также не находим чередования *e/o* в глагольной системе за пределами славянской группы (в именных основах ступень *o* возможна в разных языках — ср. *ноша*, итл. *nasztá* «ноша», греч. ὄγκος «бремя, ноша»). Если взять соотношение *гънати, женѫ* — *гонити, гоню* (*гоню*), то в греческом языке в глагольной системе лишь ступень *e* — θείνω < *θενιω наряду с θένω «бью».

Можно было бы привести и другие примеры. Это говорит о том, что чередование *e/o* в глагольной системе давало новые образования и на славянской почве.

Помимо чередований, которые, как уже было сказано, несомненно, морфологизовались и стали показателями определенных категорий еще в общеиндоевропейской системе, важным средством различения видовых категорий являются показатели глагольных классов, в дальнейшем сосредоточивающиеся именно в основе настоящего времени. Эти показатели проходят по всем индоевропейским языкам и везде выражают сходные значения. Правда, не для всех классов первоначальное значение может быть вскрыто с достаточной ясностью. Во всяком случае можно думать, что эти показатели представляют собой сродство еще более древнее, чем чередования в глагольной основе. Эти показатели глагольных классов были некогда живыми суффиксами, объединявшими каждый целый класс слов, выражавших подобные действия, что свидетельствует об очень далеко идущем абстрагировании. Но с течением времени многочисленные последующие напластования, изменения в структуре языка стирают первоначальные отношения. Наиболее ясно выступает, пожалуй, значение показателя славянского III класса *i̯ -j̯ -* (*-i̯-*), выражавшего действие длительное, ничем не ограниченное, «курсивное», как его определял Дельбрюк[1]. Это значение достаточно ясно сохранилось в славянских бесприставочных глаголах (ср. глаголы с *j̯* и различными его фонетическими изменениями в сочетании с предшествующими согласными, такие, как *знаѭ, хощѭ, пишѫ* и т. д.). Ср. также такие соответствующие этим глаголы, как древнеиндийские на *-yá-*, греческие типа χαίρω «радуюсь» (из *χαρι̯ω).

Но уже в отношении славянского II класса следует иметь в виду, что в нем совмещаются на славянской почве два резко очерченных значения, которые вряд ли могут быть выведены одно из другого, с одной стороны — постепенного перехода из одного состояния в другое (глаголы типа *вянуть, сохнуть* и т. д.), с другой же стороны — значение действия мгно-

[1] Vergl. Synt., т. II, стр. 26 и след.

венного (глаголы типа *толкнуть*). И это различие обнаруживается уже в древнейших памятниках.

В дальнейшем глаголы первого рода дают современный непродуктивный, а глаголы второго рода — современный продуктивный тип глагольных образований. Как объяснить происхождение этих различий, пока мы сказать окончательно не можем, хотя различные решения этого вопроса и предлагались. Так, Х. Педерсен предполагал, что лишь одно из этих значений, и именно значение постепенного нарастания какого-то состояния, является исконным для данного класса, глаголы же мгновенного действия входят сюда позднее[1]. Но почему эти последние глаголы присоединились именно к этому классу, остается неясным. Фортунатов выдвигает иное предположение, согласно которому здесь омонимически совпали два различных класса, содержавших показатели *-n-*[2].

В IV классе славянских языков выделяется лишь определенная группа глаголов, характеризующихся, кроме того, определенной ступенью чередования корневого гласного (а именно *о*), а с точки зрения значения характеризующихся как глаголы повторяющегося и разнонаправленного действия и глаголы каузативные; ср. *носи́ти*, *ходи́ти*, *пои́ти* и т. д.

Наряду с показателями глагольных классов в древнейшее время определенную роль играли и инфиксы. Они представлены в различных древних индоевропейских языках, на славянской же почве выступают лишь в немногих глаголах I класса, причем выражают начинательное значение. Глаголами, содержащими инфиксы (эти инфиксы всегда представлены носовыми согласными, на славянской почве давшими в результате слияния с предшествующими гласными носовые гласные), являются *лѧгѫ* (ср. *лещи*), *сѧдѫ* (ср. *сѣсти*), *бѫдѫ* (та форма, которая в дальнейшем получила, а частью уже в древнейших памятниках имела, значение будущего времени, первоначально обозначала лишь начало некоего состояния). Это значение начинательности, повидимому, свойственно было инфиксам в очень раннее время, так как в начале исторического периода оно, по крайней мере для *бѫдѫ*, уже забывалось.

Определенное видовое значение имел некогда, повидимому, и суффикс *-s*, ставший затем показателем различных временны́х образований, с одной стороны — сигматического аориста, с другой стороны — будущего времени.

Говоря о структурных средствах, выражающих различные видовые значения, необходимо иметь в виду теснейшую взаимную связь категорий различного порядка, а также то, что одни и те же структурные средства языка могут передавать значения различного порядка. Так, средства, служащие для выражения такого видового значения, как значение движения повторяющегося, разнонаправленного, используется также для

[1] H. Pedersen. Die Nasalpraesentia und der slavische Akzent, K. Z., XXXVIII, стр. 349—350.

[2] См. Критический разбор сочинения Г. К. Ульянова о значении глагольных основ в литовско-славянском языке, СПб., 1897, стр. 133—134.

выражения каузативного значения. Некоторые лингвисты и категорию каузатива также относят к категории вида. Но если вид выражает характеристику действия всегда по отношению к времени, то категория каузатива должна быть выделена особо и отнесена скорее к залогу, так как каузативные глаголы характеризуются с точки зрения значения как выражающие отношение действия к объекту. Категории, выражающие отношения действия ко времени, тесно связаны и с категориями, выражающими отношение действия к действительности. И здесь также одни и те же структурные средства могут быть использованы в весьма различных значениях. Так, например, показатель *-s*, который служил выразителем определенного видового значения, закрепляется в дальнейшем не только за аористом, а также в некоторых языках и за будущим временем, что не могло бы произойти, если бы этот суффикс не выражал и некоторых отношений к действительности. Будущее время, выражающее то, чего в действительности еще нет, очень часто в языках оформляется такими структурными средствами, которые служат также для передачи различных отношений к действительности. И показатель *-s* в некоторых индоевропейских языках действительно служит для выражения таких отношений. Ср. древнеиндийские дезидеративные формы типа *cikirṣāmi* «я хочу сделать».

В течение долгого времени существовали структурно оформленные видовые категории. Лишь медленно и постепенно на базе некоторых из этих древних категорий начинает формироваться категория грамматического времени. Когда осуществляется этот переход от вида к времени? Различия, наблюдающиеся по отдельным группам индоевропейских языков при определенных в то же время общих чертах временно́й системы в различных языках, говорят о том, что хотя определенные предпосылки этих различий создавались еще в общеиндоевропейском строе и даже частично процесс образования времен имел место еще в эпоху существования общеиндоевропейского языка-основы, многое в оформлении временно́й системы осуществлялось уже на почве отдельных языковых групп.

Никоим образом нельзя принять часто выдвигавшегося положения о том, что отсутствие какой-либо категории в данном исторически засвидетельствованном языке, при наличии ее в других родственных языках обязательно говорит об утрате ее (я не имею в виду, конечно, таких случаев, когда имеются определенные указания в данном языке, что когда-то соответствующая категория в нем была). Можно указать, например, хотя бы на тот факт, что категория будущего времени в славянских языках не получила развития на основе тех форм, которые были представлены в общеиндоевропейской системе, хотя в некоторых языках, и даже в очень близких к славянским — балтийских, такая категория развилась. В славянских языках она развилась позднее и на основе иных структурных средств, сложившихся и оформившихся специально на славянской почве. Указание на то, что и в славянской глагольной системе некогда было особое будущее время, соответствующее будущему времени других индоевро-

пейских языков с показателем *-s* (ср. греч. λείψω «оставлю»), некоторые лингвисты видят в наблюдающихся в некоторых древнерусских списках старославянских памятников причастных формах типа *бы́шя, бы́шя ити, бы́шя*[1]. Но происхождение этих форм спорно. Мейе считал, что в них, возможно, отражается остаток дезидеративного образования, т. е. категории модальной, с которой, повидимому, связаны генетические формы будущего времени на *-s* тех языков, где такие формы имеются[2]. Что же касается употребления этих форм в древнерусских памятниках, то они редки и не всегда значение их действительно соответствует будущему времени. В таком примере, как *въ̀звѣ́стую тебѣ́ бы́шашая* (в позднем списке книги пророка Даниила), значение будущего времени несомненно, поскольку эта форма соответствует греческому τὰ ἐσόμενα. Точно так же в следующем примере: *Пророчьство не нынѣ́шняго притя́жаніа ювля́етъ, но бы́ша́щее по семидеся́тъ лѣ́тъ* (Толкования на пророков Упыря Лихого 1047 г. по списку XV в.). Но у того же Упыря Лихого и в значении настоящего времени: *не бы́шащи водѣ́* (в том же тексте в Остромировом евангелии — *не сощи водѣ́*). И потом: где и когда эта форма употреблялась? Была ли она широко распространенной? Кульбакин, как уже было сказано, говорит о древнерусских списках со старославянских оригиналов. Это подтверждают и примеры, приводимые И. И. Срезневским[3], бо́льшая часть которых приходится на известную рукопись Упыря Лихого. Обычно в русских памятниках, даже списанных со старославянских оригиналов в таком значении стоит *боудоущии* (ср., например, Святославов Изборник 1073 г. и др.). А была ли такая форма в основных старославянских памятниках южнославянских изводов? И были ли соответствия этой форме в оригинальных древнерусских памятниках? Современный русский язык не сохранил никаких следов этой формы. Но на то, что она распространена была в различных славянских языках, указывает связанное с ней по происхождению древнечешское прилагательное *probyšícny* «полезный». Во всяком случае, нет никаких указаний на то, что на славянской почве эта форма имела некогда значение будущего времени.

Различие времени структурно оформляется прежде всего в различии личных окончаний. Как бы ни объяснять происхождение этих различий, но именно оформление так называемых первичных и вторичных окончаний кладет основу разграничения настоящего и прошедшего времени. Кстати, тот факт, что именно на основе различия личных окончаний, в первую очередь структурно оформляются времена, говорит о том, что и в тех языках, где уже в глубокой древности выделялась особая категория будущего времени, эта категория оформлялась позднее, чем вообще возникли временны́е различия. Ведь первичными окончаниями характеризуется не

[1] См. С. М. Кульбакин. Древнецерковнославянский язык, изд. 3-е, Харьков, 1917, стр. 162.

[2] Ср. указание А. Мейе на то, что форма аориста на *-s* распространилась именно в тех языках, где нет будущего времени на *-s* (Общеславянский язык, М., 1951, § 267).

[3] См. И. И. Срезневский. Материалы..., т. I, стр. 209.

только настоящее, но и будущее время (ср. λείπω — λείψω). Я не касаюсь различия окончаний активных и медиальных, представленных не во всех языках с достаточной ясностью, притом и в тех языках, где эти различия имеются, они не всегда достаточно отчетливо могут быть возведены к общему первоисточнику. Этот вопрос выходит за рамки настоящей статьи.

С установлением различия времен древние видовые категории ложатся в основу определенных временны́х образований. Так, например, категория длительного (курсивного) вида ложится в основу настоящего времени и имперфекта, которые различаются (если отбросить аугмент, распространившийся поздно и не повсеместно) лишь формой личных окончаний, аорист ложится в основу прошедшего времени, перфект — в основу особого времени, имеющего отношение и к прошлому, и к настоящему. При этом, если, с одной стороны, некоторые видовые категории ложатся в основу различных времен, то, с другой стороны, одно время может включать в себя различные видовые образования (ср., например, категорию ингрессивных, т. е. начинательных глаголов, ложащихся так же, как и глаголы курсивные, в основу настоящего времени).

С установлением различий времени как выражения отношения действия к моменту речи в каждой грамматической категории, характеризованной во временно́м отношении, совмещаются и перекрещиваются значения различного порядка. Так, например, настоящее время выражает одновременно и длительность процесса, и одновременность его с моментом речи, аорист — и недлительность (мгновенность) процесса, и предшествование его моменту речи. Впрочем, значение аориста на почве разных языков может и преобразовываться; он может противопоставляться, например, имперфекту как тоже прошедшему времени не обязательно как мгновенное, но просто как единое, не расчлененное на составные моменты действие.

Именно на этом совмещении с новыми (чисто временны́ми) значениями старых (видовых) и основано невременно́е употребление некоторых временны́х форм в исторически засвидетельствованных памятниках древних индоевропейских языков.

Славянская глагольная система, даже в своем наиболее архаическом облике, т. е. в том облике, который восстанавливается для общеславянского языка-основы, указывает на дальнейшее развитие новых отношений сравнительно с такими древними индоевропейскими языками, как, например, греческий или санскрит. В славянской системе нарушена та обособленность различных глагольных основ одного и того же корня, связанных с системами презенса, аориста, перфекта, в ней часто от одной и той же основы образуются самые различные времена. В славянской системе и имперфект, и аорист связаны с основой инфинитива, часто несколько отличающейся от основы настоящего времени, но в ней нет различных инфинитивов настоящего времени и аориста, как в греческом. Основа инфинитива, который сам представляет, как известно, сравнительно позднее образование, является по существу основой прошедшего времени. Показатель первоначально видового значения *-s-*, сохранивший

свое значение до известной степени в некоторых индоевропейских языках (например, в греческом, в санскрите), становится (частью видоизменившись в *х*, отчасти в результате фонетического изменения, а отчасти как следствие морфологического обобщения) показателем вообще прошедшего времени. Старославянские памятники указывают еще на простой аорист (особенно наиболее архаические по языку — например, Мариинское евангелие, представляющее, как известно, сравнительно поздний список, но опирающийся на древнюю редакцию славянского перевода евангелия). Но определенного типа глаголы не имеют простого аориста даже в древнейших памятниках. Вообще же чем новее памятник, тем больше в нем форм сигматического аориста, тем меньше форм простого аориста. Древнерусский язык, даже в самых древних памятниках (а они по языку в некоторых чертах архаичнее старославянских), обнаруживает лишь формы сигматического аориста, причем главным образом нового (архаический тип в русских памятниках широко представлен лишь формами от *рѣхъ*, которые, возможно, носят исключительно книжный характер). О происхождении славянского имперфекта, расходящегося с имперфектом других индоевропейских языков, где такая категория есть, выдвигалось, как известно, огромное количество гипотез[1]. Не останавливаясь на их анализе, скажу лишь, что вопрос в целом все еще остается нерешенным. Несомненным является лишь то, что показатель имперфекта *-х* генетически связан с показателем аориста и, поскольку именно эти два времени еще в общеславянской системе были выразителями прошедшего времени (аналитическая же форма давнопрошедшего времени в своем архаическом виде включает в свой состав имперфект вспомогательного глагола), показатель этот присущ всему прошедшему времени. Образование имперфекта, хотя и принадлежит еще общеславянскому языку-основе, относится к сравнительно позднему времени. Для того чтобы на образование имперфекта распространилось *-х*, необходимо было, чтобы оно уже утвердилось как показатель аориста, потеряв связь с первоначальным фонетическим положением (ведь, как известно, *х* развивалось из *s* первоначально лишь в положении после *i*, *u*, *r*, *k*) и распространилось в результате обобщения на положение после любых гласных.

Возможно, что распространение этого показателя, как показателя прошедшего времени, связано в известной мере с утратой в славянской языковой системе личными окончаниями своей роли как показателей времени (частью в результате фонетических изменений конца слова, частью вследствие обобщений). Различия некоторых форм указывают на то, что некогда и в славянских языках первичные и вторичные окончания различались в зависимости от времени. Но для части лиц, для которых эти окончания в других индоевропейских языках различаются,

[1] Их обзор см.: Ив. Л е к о в. Прасловянските глаголни формы и отраженията им в днешните славянски езици, София, 1934 (Спис. на Бълг. Акад., 50), стр. 136—153. Из более поздних работ см.: A. V a i l l a n t. B. S. L., 1939, f. 1.

на славянской почве различий нет, а именно не различаются в зависимости от времени 1 и 2 лица множественного числа и все лица двойственного числа. Продолжающаяся и дальше, на почве отдельных славянских языков, тенденция к обобщению окончаний для разных времен выражается и в распространении окончания 3 лица *-тъ* с настоящего времени на имперфект в древнерусском языке. Эта тенденция сказывается и за пределами русского языка, например в поздних старославянских памятниках южнославянского извода. Ср. *пръщащетъ* в Супрасльской рукописи.

Формирование категории грамматического времени имеет огромное значение для общего хода исторического развития грамматического строя языка. Лишь с установлением в языке этой категории выражение отношений действия ко времени переходит из области словарного состава в область грамматического строя. В этом процессе проявляется все дальше идущая обобщающая, абстрагирующая работа человеческого мышления.

С установлением в индоевропейских языках категории времени старые видовые различия стираются и представляют собой в историческую эпоху в некоторых языках немногочисленные остатки, в других же и совсем не играют роли. Но на славянской почве развивается новое структурное средство, также выражающее отношение действия ко времени независимо от отношения к моменту речи: оформляются различия совершенного и несовершенного видов, живые и для современного языка. Основным средством, служащим для выражения этих новых отношений, являются глагольные приставки. Приставки сообщают глаголу новое значение, отличая его в то же время от глагола того же корня, не имеющего приставки. Это новое различие напоминает древние видовые различия лишь тем, что и здесь характеризуется самое действие с точки зрения его протекания во времени, но не выражается отношение этого действия к моменту речи. Но в то же время это новое различие существенно отличается от древних различий вида. Оно отличается не тем, что новые категории совершенного и несовершенного видов взаимно связываются отношениями противопоставления, полярности, как думают некоторые зарубежные лингвисты[1]. Отношения полярности мы можем найти и в древних видовых различиях. Разве не будет отношением полярным отношение длительности и мгновенности (недлительности)? Но новые категории, определяющие лишь отношение действия к его ограничению во времени, представляют еще дальше идущее обобщение сравнительно с той степенью обобщения, которую представляют древние видовые различия.

Отношения приставочных и бесприставочных глаголов не сразу приняли тот вид, какой они имеют, например, в современном русском языке (указываю именно на него, так как не во всех славянских языках на протяжении их истории видовые отношения развиваются одинаково). В современном языке, как известно, любой глагол несовершенного вида (кроме кратных глаголов движения и редко употребляющихся в современном

[1] См., например, Porzig, J. F., 1927, XLV, стр. 152.

литературном языке многократных глаголов) в сочетании с приставкой любого значения дает глагол совершенного вида. Не дают совершенного вида сочетания кратных глаголов движения с приставкой, имеющей какое-либо значение, помимо только значения ограничения во времени и результата, а также сочетания многократных глаголов с любой приставкой. Но не всегда дело обстояло таким образом. Приставки, сочетаясь с глаголами, никогда не вносили никакого нового видового значения, а служили лишь для образования от данных глаголов новых слов с иным лексическим значением. На это обратил внимание еще А. А. Потебня, указавший, что «появлению совершенности и несовершенности предшествовало такое состояние языка, когда предлог (Потебня имеет в виду в данном случае приставку.— *П. К.*) не сообщал ему значения совершенности и когда беспредложный глагол был совершенно безразличен по отношению к совершенности и несовершенности»[1]. Важной задачей исторической грамматики, до сих пор еще полностью не разрешенной, является ответ на вопрос, когда именно в русском языке, а также в других славянских языках приставки приобрели видовое значение.

Приставки этимо́логически связаны с предлогами. Большей частью приставки и предлоги материально тождественны даже в современном языке. Некоторым приставкам в современном русском языке не соответствуют предлоги. Так, например, современному *вов-*, *взо-* не соответствует никакой предлог. Но в древности в славянских языках был предлог *въз*, имевший значение «вверх», «взамен» и т. п. Ср.: *благодать въз благодать* «благодать за благодать» (Иоан., I). В сербском языке и теперь имеется соответствующий предлог. Ср., например, в песне о смерти королевича Марко «Када Марко био уз Урвину». Только приставке *вы-*, выражающей в первоначальном значении движение изнутри наружу, не соответствует никакого материально тождественного ей предлога и в древнерусском языке. Впрочем, неизвестно, была ли эта приставка общей всем славянским языкам. Она известна лишь восточнославянской и западнославянской областям. В старославянском языке ей по значению соответствует материально тождественная предлогу приставка *из-*, которая в словах книжного слоя распространилась затем и в русском языке (ср. *исходить*— *выходить*).

Будучи связаны материально с предлогами и этимологически развиваясь из предлогов, приставки вносят первоначально (а в значительной части сохраняют их и позднее) те значения, которые свойственны были соответствующим предлогам. Предлоги же в основном выражали прежде и частью продолжают выражать пространственные отношения, из которых развивается затем ряд других значений, и в первую очередь значений отношений ко времени. Пространство и время, как основные формы существования объективной действительности, в человеческом сознании теснейшим образом взаимно связаны, что выражается в связи их значений

[1] А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, т. IV, стр. 35.

в различных языковых средствах. На это указывают многочисленные факты из самых различных языков, притом относящиеся не только к грамматическому строю, но и к словарному составу (ср., например, *здесь*, употребляющееся не только в пространственном, но и во временно́м значении). И лишь постепенно на основе различных временны́х значений приставок вырабатывается наиболее отвлеченное, наиболее обобщенное значение — значение лишь границы во времени.

Тенденция к выражению ограничения действия во времени посредством глагольных приставок наблюдается в различных древних индоевропейских языках. Штрейтберг обратил внимание на такую роль приставок в древних германских языках[1]. Барбелена указал на то же явление в древней латыни[2]. Педерсен обратил внимание на приставочные образования в древнеирландском глаголе, указав при этом на многие явления, подобные тем, какие наблюдаются в славянских языках[3]. В связи с этим некоторые лингвисты высказывают предположение, что задатки приставочного видообразования были заложены еще в общеиндоевропейской системе[4]. Но необходимо строго различать, когда речь идет лишь об определенных лексических, словообразовательных средствах, о создании посредством приставок лишь новых слов с новым лексическим, хотя и более обобщенным значением, и когда речь идет о переходе соответствующего явления уже в область грамматического строя. Насколько можно судить по соответствующим материалам, ни в латинском, ни в германских языках вид как собственно грамматическая категория не развивается. Не берусь судить о кельтских языках. Одни и те же предпосылки могут приводить к весьма своеобразному развитию в различных языках.

Как обстоит дело в славянских языках эпохи древнейших дошедших до нас памятников? Как обстоит дело в глагольной системе доисторического общеславянского языка-основы?

Ответить на эти вопросы можно лишь на основе тщательного анализа фактов древнейших памятников. Такой анализ неоднократно предпринимался виднейшими исследователями, как русскими, так и зарубежными. Но здесь перед нами, несмотря на всю проделанную работу, стоят очень большие трудности. Определение значения глагольных форм древних памятников возможно лишь на основании очень тщательного исследования контекста, но и при этом условии остается много случаев, которые могут быть истолкованы двояко; кроме того, очень легко отношения современного языка могут быть проецированы в древность, тогда как там отношения могли быть совсем иными. Такую ошибку мы наблюдаем порой у очень крупных исследователей. Материал по видовому значению старославянских глаголов в наиболее полном виде собран (исключительно по

---

[1] Paul-Braune Beiträge, XV.

[2] Barbelenet. De l'aspect verbal en vieux latin, 1908.

[3] K. Z., 1904, XXXVII.

[4] См. N. van Wijk. Revue des études slaves, IX.

бесприставочным глаголам) у Бёме[1]. Он, как и все исследователи, имеющие в поле зрения старославянский материал, очень большое внимание уделяет сопоставлению с греческим текстом. Но и такое сопоставление, вообще весьма важное и нужное, всего дать не может, так как славянский переводчик евангельского текста, блестящий стилист и знаток живой славянской речи, мог весьма своеобразно передавать греческие формы. Бёме обращается наряду с этим и к материалу позднейших славянских языков. И у него получается порой, что отношения современных языков проецируются в область старославянских памятников. Так, например, Бёме такой глагол, как *пасти* «пасть» для старославянского языка считает безусловно принадлежащим к совершенному виду[2]. Между тем бесприставочные глаголы совершенного вида, связанные с древними основами недлительного (мгновенного) значения, не характеризуются обычно долгими гласными (количественные отношения гласных, возникшие, как уже было сказано, из позиционно-фонетических условий, в достаточно древнюю эпоху морфологизовались). На несоответствие гласного корня позднейшему видовому значению основы этого глагола обращает внимание В. К. Поржезинский[3]. Но даже сравнительно поздний русский язык указывает на возможность иного видового значения этого глагола.

Так, еще у Пушкина мы встречаем несколько раз глагол *пасть* со значением несовершенного вида:

«И тихо меч он опускает,
В нем гнев свирепый умирает,
И мщенье бурное *падет*
В душе, моленьем усмиренной...»

(«Руслан и Людмила», песнь III).

«Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья
Восходят, зреют и *падут*,
Другие им вослед идут...»

(«Евгений Онегин», гл. II)[4].

К этим примерам можно добавить еще:

«Он поднял меч, и с трепетом Эвлега
Падет на дерн, как клок летучий снега,
Мятелицей отторженный от скал».

(«Эвлега»).

Этот пример Бёме рассматривает как случай чисто безвременного употребления («rein zeitlosen Verwendung») перфективного презенса[5].

[1] См.: E. Boehme. Die Actiones der Verba simplicia in den altbulgarischen Sprachdenkmälern, Leipzig, 1904.

[2] E. Boehme. Указ. соч., стр. 21—22.

[3] В. К. Поржезинский. Сравнительная грамматика славянских языков, изд. 2-е, вып. 1, стр. 145.

[4] На эти факты указывал еще Е. Будде, см. Опыт грамматики А. С. Пушкина, ч. I, вып. 3, стр. 24.

[5] E. Boehme. Указ. соч., стр. 8.

Несколько спорным является следующий пример:

«Любви готовятся дары;
Падут ревнивые одежды
На цареградские ковры...»

(«Руслан и Людмила», песнь I).

Форму *падут* можно понять и как настоящее время в отрезке praesens historicum, на который указывает предшествующий глагол *готовятся*.

Употребление глагола *пасть* в настоящем времени для эпохи Пушкина, несомненно, говорит о том, что этот глагол является в таких случаях глаголом несовершенного вида. И вряд ли подобное употребление было специально изобретено Пушкиным. Вероятно, русский язык его эпохи, во всяком случае язык более торжественного стиля, сохранил от древних времен возможность употребления этого глагола не только в совершенном, но и в несовершенном виде. О том, что глагол *пасть* в древности мог быть и глаголом несовершенного вида, свидетельствует, по мнению Г. К. Ульянова, прилагательное *падучий*, восходящее к причастию настоящего времени, например, в составе сочетания *падучая звезда*[1].

Здесь идет речь о бесприставочном глаголе, а мы говорим о развитии видового значения приставок. Но ведь в приставочных глаголах их видовое значение развивается на основе противопоставления глаголам бесприставочным, за которыми, в связи с развитием определенного видового значения у приставочных глаголов, все больше закрепляется иное видовое значение, отличное от значения приставочных глаголов.

Мейе в своей книге «Общеславянский язык»[2] рассматривает применительно не только к старославянскому языку, но даже к общеславянскому отношения совершенного и несовершенного видов, как уже установившиеся, подобные тем отношениям, какие мы наблюдаем, например, в современном русском языке.

Между тем в действительности не только в общеславянской системе, но даже в эпоху древнейших славянских памятников отношения были существенно иные, чем теперь. Видовая роль приставок, несомненно, уже наметилась, но не достигла еще того состояния, которое характеризует, например, современный русский язык. Еще Г. К. Ульянов обратил внимание на то, что сложение бесприставочного глагола с приставкой, сохраняющей свое лексическое пространственное значение, не дает глагола совершенного вида[3]. В качестве примера, подтверждающего это положение, он привлекает следующее место из Лаврентьевской летописи: *рѣчьки ради юже втечеть въ двину именемъ полота. ѿ сею прозваша ся полочане* (л. 3). С точки зрения современного русского языка глагол *втечет* был бы совершенного вида и имел бы значение будущего времени. Но в данном

[1] Г. К. Ульянов. Значения глагольных основ в литовско-славянском языке, Варшава, 1891, ч. II, стр. 171.

[2] См. § 306 и след.

[3] Г. К. Ульянов. Значения глагольных основ в литовско-славянском языке, ч. II, стр. 147.

случае, судя по окружающему контексту, мы можем понять эту форму лишь как настоящее время. Приставка *вз-*, выражающая значение направления, сохраняет здесь первоначальное пространственное значение. Она, повидимому, не переводит глагол в совершенный вид (глагол *течи*, представляющий собой глагол однонаправленного движения, в современном языке в сочетании с приставкой дает глагол совершенного вида). Следует, впрочем, иметь в виду, что более поздние, чем Лаврентьевский,— Радзивиловский и Академический списки дают в этом месте бесприставочный глагол *течеть*. Возможно, что они замещают древнюю форму, уже не соответствующую нормам языка той эпохи, когда видовая роль приставок намечается с большей четкостью, для выражения значения настоящего времени, которое здесь должно быть.

Ф. Ф. Фортунатов возражает Ульянову и считает, что нет основания в форме *вътечеть* видеть несовершенный вид, трактуя ее как особую форму настоящего времени недлительного значения[1]. В данном случае, по-моему, ближе к истине Ульянов. До Ульянова на эту особенность древнерусского языка обратил внимание А. А. Потебня, также считавший такие формы настоящим временем несовершенного, а не будущим временем совершенного вида и также полагавший, что здесь дело лишь в лексическом значении «предлога» (т. е. приставки.— *П. К.*): рассматривая форму *опояшеть*, он говорит, что «*опояшеть*» отличается от *пояшеть* не тем, что второе настоящее, а первое будущее, а тем, что первому предлог придавал значение опояшет *вокруг*, а во втором это *вокруг* не было обозначено...»[2]

По мнению В. К. Поржезинского, близкую к древнерусскому состоянию картину представляет литовский язык, где сочетание глагола с приставкой дает совершенный вид лишь в том случае, если приставка потеряла свое лексическое значение и приобрела чисто грамматическое значение, т. е. выражает лишь законченность или результат. Так, например, глагол *gýditi* «лечить» несовершенного вида в сочетании с приставкой *isз-*, соответствующей славянскому *из-*, дает глагол совершенного вида *įsзgýditi* «вылечить», сочетание же глагола и несовершенного вида с приставкой *at-*, соответствующей славянскому *от-*, сохраняющей свое лексическое, пространственное значение, дает глагол несовершенного же вида. Ср. *nẽszti* «нести» — *atnèszti*» «относить», а не «отнести»[3].

Таково ли в точности было положение вещей в древних славянских языках? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, как в древних славянских языках вели себя приставки чисто грамматического значения, если они уже развили это значение. Ван Вейк, исследовавший видовые отношения в старославянском языке, обратил внимание на то, что в древнейших дошедших до нас редакциях евангельского текста

[1] См. Критический разбор сочинения Г. К. Ульянова о значении глагольных основ, СПб., 1897, стр. 111—112.

[2] А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, кн. IV, стр. 55.

[3] См.: В. К. Поржезинский. Сравнительная грамматика славянских языков, изд. 2-е, вып. I, стр. 146—147.

глагол *ити*, например, сочетается с различными приставками, выражающими пространственные отношения, но сочетание с приставкой, потерявшей свое первоначальное пространственное значение, отсутствует. Так, например, в Мариинском евангелии, представляющем наиболее древнюю редакцию евангелия (хотя самый список относится к более позднему времени, чем многие другие), могут встретиться такие формы, как *вьниде*, *сьниде*, но если речь идет о сочетании с приставкой *по-* в чисто временно́м значении, то в соответствии с такими формами позднейших редакций, как *поидѣм* (Зографское ев.), *поиде* (Ассеманиево ев.); на месте греч. ἀπῆλθεν, в Мариинском евангелии являются *идѣмъ*, *иде*[1].

Следующую ступень отражает Синайская псалтырь, где находим *поидѫ* со значением будущего времени (т. е. настоящее время со значением будущего в связи с переходом глагола в совершенный вид), но в аористе *иде*, а не *поиде*.

Не имеем ли мы здесь дело с переходом к приставке чисто грамматического значения, которое не сразу утверждается и в котором в древнейших памятниках приставка еще не употребляется? Современное значение приставки *по-* развилось из пространственного значения, на которое ясно указывает соответствующий предлог. Приставка *по-* и в современном русском языке употребляется, хотя и во временно́м, но более конкретном значении: она может выражать начало действия, его ограниченность во времени, заключение его между двумя границами. Но поскольку эта приставка имеет временно́е значение, она как бы занимает промежуточное положение между приставками чисто лексического и приставками чисто грамматического значения. Именно поэтому в современном языке сочетание кратного глагола движе́ния с приставкой такого типа дает (так же, как и сочетание с приставкой, выражающей исключительно временну́ю границу и результат) совершенный вид, тогда как сочетание этих глаголов с приставками чисто лексического значения сохраняет несовершенный вид: ср. *походи́л*, *побегал* и т. д. (приставка в этих случаях вносит ограничительное, детерминативное значение, как приставка со значением начала действия, эта приставка при кратных глаголах не употребляется; такое значение при этих глаголах имеет приставка *за-*: ср. *забе́гал*, *заходи́л*, «начал бегать», «начал ходить»). Но именно потому, что эта приставка выражает не только отношение к ограничению во времени, а имеет хотя и временно́е, но более конкретное значение, от глаголов совершенного вида с приставками такого значения могут быть в современном языке образованы производные глаголы несовершенного вида.

Но существенно обратить внимание на то, что приставка *по-* могла выражать не только временны́е, но и пространственные отношения. Она могла обозначать начало не только во времени, но и в пространстве (могла обозначать исходную точку движения). В таком выражении, как *пошьло*, весьма характерном для древнерусских юридических памятников, имеется

[1] J. F., 1927, XLV, стр. 96.

в виду, конечно, исходная временна́я точка. Ср., например, *а что ти княже пошло на торожку и на волоць тивоунъ свои дръжати на своем чясти Дръжати* (Нов. гр., 1264—1265 гг.). *Пошло* здесь имеет в виду «повелось с давних пор». Но каково значение ***по-*** в следующем отрывке из начала Лаврентьевской летописи: *Поляномъ же живущимъ особь по горамъ симъ, бѣ путь изъ варягъ в греки и изъ грекъ по днѣпру и верхъ днѣпра волокъ до ловоти. по ловоти внити в ильмерь ѡзеро великое из негоже ѡзера потечеть волховъ и вътечеть в озеро великое ново. [и] того ѡзера внидеть устье в море варяжьское. и по тому морю ити до рима а ѿ рима прити по тому же морю ко цр҃югороду а ѿ цр҃югорода прити в понотъ моря в не же втече днѣпръ рѣка днѣпръ бо потече* (в Радзивиловском и Академическом списках — *течеть*) *из оковьского лѣ[са] потечеть на полъдне, а двина ис того же лѣса потечеть а идеть на полунощье и внидеть в море варяжское, ис того лѣса потече* (в Радзивиловском и Академическом списках — *потьчеть*) *волга на въстокъ и вътечеть семьюдесять жерелъ в море хвалисъкое* (Лавр.; л. 3). Здесь глаголы с приставкой ***по-*** явно противопоставляются глаголам с приставкой ***въ-***, несомненно, пространственного значения. Первые глаголы обозначают начало пути, вторые — конец, глагол без приставки (*идеть*) употребляется для обозначения самого движения.

Интересно, что во всех случаях изложение ведется в настоящем времени, и если даже принять, что дифференциация совершенного и несовершенного видов наметилась, все эти глаголы принадлежат к несовершенному виду[1].

Эти факты, наряду с приведенными выше, говорят о том, что характерное для современного русского языка противопоставление совершенного и несовершенного видов не достигло еще той степени, которая характерна для современного языка. И тем не менее это противопоставление уже наметилось достаточно ясно.

Уже в древнейших русских памятниках отражены приставки чисто грамматического значения. Так, например, не имеет ни одного из своих лексических значений (движение вниз, совместность и т. п.), а выражает лишь ограничение во времени и, возможно, результат приставка ***съ-*** в таких примерах, как: *дѣлобо добро сдѣла о мънѣ* (Матф., XXVI, 10, Остр. ев.) *ѥй помози рабоу своему лазорю нареченому богъши съ дѣлавъше мо у крѣстъ сии церъкви с҃таго спаса и ѡфросинии* (Надпись на кресте Ефросинии Полоцкой, 1161 г.) и др.

[1] Несколько иначе трактует этот отрывок Т. П. Ломтев в статье «Несколько замечаний к состоянию видовой дифференциации основ настоящего времени в древнерусском языке» («Ученые записки Мос. гос ун-та», 1948, вып. 128, стр. 87). Он говорит вообще об отражении в древнерусских памятниках случаев недифференцированности видов. Но поскольку, наряду с примерами из древнейших памятников, Т. П. Ломтев приводит и некоторые поздние, XVII—XVIII вв., с положениями, им выдвигаемыми, трудно согласиться, и многие из его примеров требуют иной трактовки.

Об установлении дифференциации совершенного и несовершенного видов, несмотря на все колебания, говорят и определенные отношения, устанавливающиеся между этими вновь складывающимися категориями и категориями временны́ми. Ведь основы совершенного и несовершенного видов, в той мере, в какой мы можем установить их значение, обнаруживают тяготение к определенным временам. Так, в области прошедших времен обнаруживается определенная связь аориста, перфекта (последний помещается в прошедшие времена лишь с известной оговоркой) и давнопрошедшего времени с совершенным видом и еще более отчетливая связь имперфекта с несовершенным видом. В области будущего времени обнаруживается вполне определенная связь прежде-будущего времени с совершенным видом. Правда, наблюдаются определенные отступления, но все они с точки зрения их значений вполне отчетливо истолковываются. В особенности редки, но совершенно понятны, случаи сочетания имперфекта с совершенным видом. Во всех случаях, встречающихся в древних памятниках, мы имеем дело с действием в прошлом, неограниченно повторявшимся, но каждый раз законченным или мгновенным. Ср., например, случаи употребления имперфекта совершенного вида при описании обычаев славянских племен в «Повести временных лет»: *аще кто оумряше творяху трызно надъ нимъ и по семь творяху кладу велику и възложахуть и на кладу мртвца сожьжаху и посемь собравше кости вложаху в судину малу и поставляху на путехъ* (Лавр., л. 5—5 об.). Здесь особенно ярко выступает характерное для нашего древнего языка перекрещивание в одной форме значений, идущих от категории времени и категории вида. Интересно, что позднейшие списки обнаруживают отход от этого состояния и часто употребляют здесь имперфект от несовершенного вида, подобно тому, как мы употребили бы в этом случае прошедшее время несовершенного вида. Можно думать, что для живой речи писцов этих позднейших списков именно такая форма и была уже характерна, имперфект же они употребляли по книжной традиции. Так, вместо *оумряше* в Радзивиловском и Академическом списках стоит *оумираше*, вместо *сожьжаху — сожигаху*, вместо *вложаху — влагаху*.

Новые различия совершенного и несовершенного видов складываются в сравнительно позднее время, вероятно, незадолго до начала исторического времени; древнейшие же памятники указывают на то, что процесс разграничения еще не достиг своего завершения. На основании этого ясно, что указанные видовые различия формируются значительно позднее оформления славянской системы многочисленных времен. Таким образом, общая последовательность развития видо-временны́х отношений, начиная с древнейших времен, с глагольной системы общеиндоевропейского языка-основы и вплоть до исторически засвидетельствованных славянских языков, в частности древнерусского, рисуется в следующем виде: первоначально древние видовые категории, образующие различные лексемы одного корня и характеризующиеся различными значениями отношения действия ко времени; затем — многочисленные времена, уже как формы

одного глагола, постепенно формирующиеся на базе древних видов (процесс этот, повторяю, осуществляется не сразу, вследствие чего система времен некоторых древних индоевропейских языков явно напоминает древнюю видовую систему).

Наконец, уже при наличии грамматической категории времен развивается новая система видов, основанная на противопоставлении совершенного и несовершенного видов и перекрещивающаяся с различиями времени. Времена, несомненно, предшествуют новым видам, во-первых, потому, что они представляют уже сложившуюся систему, кое в чем на почве отдельных славянских языков уже начинающую отходить от своего первоначального состояния, во-вторых, потому что система времен, подобная славянской, отражается в большинстве древних индоевропейских языков.

Новая система видов, отделенная от древней видовой системы в историческом развитии категорией времени, не является непосредственным продолжением древней видовой системы. Но следует ли из этого, что новые видовые отношения никак не связаны с древними? Нет, определенные связи обнаруживаются. Правда, чем больше укрепляются приставки в своей видовой роли, тем больше бесприставочные глаголы переходят в область несовершенного вида (поскольку приставочные глаголы в основном — глаголы совершенного вида). Следует подчеркнуть, что большое количество бесприставочных глаголов в древнем языке обнаруживало колебания между совершенным и несовершенным видами. И тем не менее значительное число бесприставочных глаголов сохранилось в совершенном виде. Это может быть объяснено лишь как результат того, что древние видовые значения хотя частично и стерлись в ту эпоху, когда в языке развились времена, но полностью утрачены не были. И старые глагольные основы отходят к совершенному или несовершенному виду в известной мере в связи с их древним значением. Так, например, глаголы недлительного, мгновенного значения отходят в совершенный вид, глаголы нарастающего состояния и глаголы просто длительного, развивающегося действия отходят в несовершенный вид.

Выделение внутри видовой системы даже современного языка особых групп глаголов, характеризующихся своеобразными грамматическими признаками, как, например, кратных глаголов движения, тоже отражает сохранение в какой-то мере древних отношений.

Система новых видовых различий, устанавливающаяся наряду с временно́й системой, не приводит к полному разрушению этой последней, как это было со старой видовой системой в результате развития на ее основе временно́й системы. В то же время установление новой видовой системы не остается без ее воздействия на временну́ю систему, но коренным образом перестраивает ее уже на протяжении исторической эпохи. Процесс этот осуществляется по-разному в различных славянских языках[1]. Я скажу

[1] Даже в южнославянской области, где, в отличие от русского и большинства западнославянских языков, сохранилась (полностью или частично) старая временна́я система, развитие в разных языках идет различными путями (см.: B. H a v r á n e k. Aspects et temps en vieux slave, Mélanges offerts à Charles Bally, Genève, 1939).

лишь несколько слов о русском языке. Как известно, на протяжении истории русского языка разрушается система многочисленных времен и сохраняются лишь три времени — настоящее, прошедшее и будущее. При этом будущее время получает более четкое и структурно оформленное выражение лишь на протяжении исторического периода развития русского языка.

Разрушение древней системы времен тесно связано со все более четким противопоставлением совершенного и несовершенного видов и обусловлено, повидимому, именно этой, все дальше идущей видовой дифференциацией, которая делает излишним наши древние многочисленные времена. Бóльшая часть тех значений, которые выражались в древности различными временами при наличии в то же время и видовых различий, могут быть теперь выражены в более ясной и простой форме.

Первый шаг к более четкому противопоставлению совершенного и несовершенного видов составляет, повидимому, использование формы совершенного вида настоящего времени в функции будущего времени. Я уже говорил выше, что употребление это в древнейших старославянских памятниках только начинается. Как обстоит дело в древнерусском языке? Выше были приведены случаи, когда присоединение приставки к основе настоящего времени не дает (по значению) будущего времени (как и не образует совершенного вида). Но эти случаи относились к пространственному значению приставок. Можно и в древнерусском языке указать случаи (и в достаточно ранних памятниках), когда соответствующие формы имеют, несомненно, значение будущего времени. Ср., например, *а заутра поиду из города* (Новг. Синод. летоп. под 1216 г.).

Рано начавшаяся утрата имперфекта приводит к тому, что различия разного характера действия в прошлом (длительного или недлительного, законченного или незаконченного) могут быть выражены исключительно видовыми средствами, поскольку оставшиеся времена — аорист (который, впрочем, тоже скоро начинает теряться), перфект и давнопрошедшее (плюсквамперфект) — сами по себе выразить их не могут.

Развитие новой видовой системы подготовило начавшееся разрушение старой временнóй системы, а это разрушение, в свою очередь, привело ко все более четкому противопоставлению видов.

На протяжении исторического развития нашего языка широкое развитие получает одна видовая категория как по значению, так и по структурному оформлению напоминающая древние видовые различия. Я имею в виду так называемые многократные глаголы с суффиксом-*ива*, очень редкие в древнейших памятниках, но затем получающие широкое распространение (особенно в памятниках XVI—XVII вв.). Такие глаголы в литературном языке, начиная с начала XIX в., идут на убыль, но в говорах (северных) они широко распространены и теперь. Необходимо отметить, что с самого же начала эти глаголы становятся в подчиненное положение к категории времени. Будучи по значению, в первую очередь, наследниками имперфекта, они закрепляются специально за прошедшим временем,

выражая не только действие, повторявшееся в прошлом, но и давно бывшее действие. В дальнейшем же эти глаголы, поскольку они, как многократные, не дают глаголов совершенного вида в сочетании с приставкой любого значения, становятся важным средством образования производных глаголов несовершенного вида.

Установление системы трех времен на месте прежней системы многочисленных времен опять-таки говорит о все большем обобщении, о все дальше идущей абстрагирующей работе мышления. Существование же системы видов наряду с системой трех времен, позволяющее выразить грамматическими средствами весьма разнообразные отношения действия ко времени, свидетельствует о постепенном совершенствовании грамматического строя, об улучшении и уточнении его правил.

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

Том II 1953

П. С. Кузнецов

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БОГОРОДИЦКИЙ (1857—1941)

23 декабря 1951 г. исполнилось десять лет со дня смерти выдающегося советского лингвиста профессора Казанского университета и члена-корреспондента Академии Наук СССР Василия Алексеевича Богородицкого. В. А. Богородицкий был одним из крупнейших представителей так называемой казанской лингвистической школы. Вся его долгая и плодотворная научная деятельность была связана с Казанью. Здесь окончил он гимназию, университет, преподавал русский язык в татарской учительской школе, долгие годы был профессором Казанского университета.

Значительную роль в формировании В. А. Богородицкого как ученого сыграл родоначальник казанской лингвистической школы профессор И. А. Бодуэн де Куртенэ. Следуя во многом своему учителю, В. А. Богородицкий шел, однако, самостоятельным путем, работая в ряде таких областей, к которым не обращался Бодуэн де Куртенэ. Некоторых положений последнего В. А. Богородицкий не разделял.

Круг интересов В. А. Богородицкого поражает своей обширностью. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть перечень общих и специальных курсов, читанных им на протяжении ряда лет в университете.

Мы находим здесь: 1) общее языковедение; 2) введение в языковедение; 3) экспериментальную фонетику; 4) экспериментальную фонетику в приложении к общерусскому произношению; 5) сравнительно-историческую фонетику индоевропейских языков; 6) сравнительную грамматику индоевропейских языков (фонетику и морфологию); 7) санскрит; 8) лингвистический комментарий текстов санскритских и индустанских; 9) сравнительную грамматику греческого языка; 10) греческую и латинскую эпиграфику; 11) русскую грамматику; 12) сравнительную грамматику русского языка; 13) сравнительно-историческую фонетику русского языка.

Кроме этих курсов, В. А. Богородицкий регулярно проводил практические занятия по языковедению, экспериментальной фонетике, сравнительной грамматике индоевропейских языков, санскриту и другим дисциплинам.

Многочисленные печатные работы В. А. Богородицкого, перечень которых приводится ниже, свидетельствуют о еще большем многообразии его интересов.

Еще в молодости В. А. Богородицкий увлекается экспериментальным изучением человеческой речи и основывает в Казани первый в России кабинет экспериментальной фонетики. Этой области им посвящены многочисленные специальные статьи и монографии. Лишь долгое время спустя были открыты кабинеты экспериментальной фонетики в Петербурге и Одессе и только после Великой Октябрьской социалистической революции — в Москве.

В. А. Богородицкий много занимался общими проблемами языкознания и главным образом проблемой развития грамматического строя языка. Он наметил, четко сформулировал и разграничил основные процессы в изменении морфологической стороны языка. Недостатком работ В. А. Богородицкого в этой области является лишь психологическая интерпретация языковых явлений. Следует, впрочем, сказать, что этот недостаток разделяло с ним большинство лингвистов дореволюционного, а частью и послереволюционного времени.

Работая в области сравнительной грамматики индоевропейских языков, В. А. Богородицкий внес много нового и в эту область. Еще на грани XIX и XX вв. он разрабатывал проблемы относительной хронологии фонетических явлений для доисторических эпох развития отдельных индоевропейских групп. Эти проблемы в настоящее время находятся в центре внимания зарубежной лингвистики, но в те времена крупнейшие зарубежные компаративисты, реконструируя на основании сравнения родственных языков звуковой состав общеиндоевропейского языка, зачастую совершенно не обращали внимания на то, что многие из восстанавливаемых ими явлений никогда не сосуществовали и не могли сосуществовать в одном языке одной эпохи.

Вместе с тем В. А. Богородицкий не ограничивался реконструкцией фонетических явлений только доисторической эпохи, но стремился проникнуть в закономерности позднейшего развития родственных языков.

Очень много сделал В. А. Богородицкий в области разработки специально русского языка — его фонетики, морфологии и отчасти синтаксиса. Очень большое внимание уделял он семасиологической стороне грамматических явлений.

Не ограничиваясь современным русским литературным языком, В. А. Богородицкий много занимался и древнерусскими памятниками. Им, кроме того, изучен и описан ряд современных говоров: северновеликорусских, южновеликорусских и переходных. В поле его зрения, помимо русского, находились и другие славянские языки, а также балтийские. Исследованы В. А. Богородицким, главным образом с фонетической точки зрения, и важнейшие современные западноевропейские языки — французский, немецкий, английский.

Долголетнее пребывание в Казани, центре области с татарским населением, а впоследствии центре Татарской АССР, позволило В. А. Богородицкому глубоко изучить татарский язык и посвятить ему, а также вопросам тюрко-татарского языкознания ряд исследований.

Занятия лингвистикой, и в первую очередь экспериментальной фонетикой, уводили В. А. Богородицкого за пределы общественных наук в область наук естественных и точных — анатомии и физиологии, физики и математики, а природная склонность к энциклопедизму, естественно, толкала его в сторону обобщающей работы. Так, в последние годы жизни В. А. Богородицкий работал над своеобразной энциклопедией, носившей название «Введение в элементы наук».

Теоретическая работа у В. А. Богородицкого, как у всякого подлинного ученого, была теснейшим образом связана с практической деятельностью. Он много занимался изучением характера малограмотных написаний и типов ошибок в русской речи у представителей других национальностей, посвятив этим вопросам ряд работ.

Курсы В. А. Богородицкого написаны живо, далеки от догматизма, будят мысль учащихся, толкают в сторону самостоятельного исследования, почему и пользуются на протяжении долгих лет любовью многих поколений студенческой молодежи.

Советское правительство высоко оценило заслуги В. А. Богородицкого перед наукой, наградив его в 1940 г. орденом Трудового Красного Знамени.

* * *

Ниже печатается полная библиография работ В. А. Богородицкого. Не все они имеют одинаковую ценность в настоящее время. Некоторые работы устарели, так как многие проблемы освещаются теперь с иных методологических позиций. Но многие частные исследования и обобщающие курсы сохраняют свое значение и в наши дни. Здесь прежде всего следует указать на работы, как общие, так и специальные, по сравнительной грамматике индоевропейских языков. В этих работах много интересных мыслей, которые именно теперь, после гениального указания И. В. Сталина на важность изучения проблемы языкового родства, должны привлечь особое внимание лингвистов. Конечно, и в этой области некоторые гипотезы, выдвинутые В. А. Богородицким, требуют критического подхода. В целом же работы В. А. Богородицкого составляют важный этап в развитии русской лингвистической мысли. Значительную ценность представляют его «Лекции по общему языковедению», вышедшие последним изданием в 1916 г. Большое значение имеют переизданные в 1935 г. «Общий курс русской грамматики» (пятым изданием) и в 1939 г. «Очерки по языковедению и русскому языку» (четвертым изданием), а также вышедшие в послереволюционные годы работы по сравнительно-историческому изучению тюрко-татарских языков.

Много ценного фактического материала содержат и работы, посвященные экспериментальной фонетике, в особенности последняя из них — «Русская фонетика в свете экспериментальных данных».

Печатаемая библиография поможет лингвистам ориентироваться в богатом научном наследии В. А. Богородицкого.

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ АН СССР

Том II 1953

А. Н. Мироносицкая

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ В. А. БОГОРОДИЦКОГО[1]

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

1879

1. Указатель имен авторов, переводчиков, издателей и т. д., упоминаемых как в этой программе, так и в «Подробной программе лекций 1876—1877 г.», к кн.: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Подробная программа лекций И. А. Бодуэна де Куртенэ в 1877—1878 учебном году. — Изв. и Уч. зап. Каз. ун., 1881, № 1, стр. 591—608 и отдельно — Казань, Варшава, 1881, стр. 303—320. (Студенческая работа).

1880

2. Гласные без ударения в русском языке. — РФВ, 1880, т. IV, № 3—4, стр. 87—102, и отд. отт. (Кандидатская диссертация).

Рец.: 1) И. А. Бодуэн де Куртенэ. — Изв. и Уч. зап. Каз. ун., 1881, № 4, 5 и 6, июнь — декабрь, стр. 19—20, отд. «Известий».

2) И. А. Бодуэн де Куртенэ. — «Nowiny», 1880, № 329, стр. 10.

3) V. Jagić. — ASPh, 1881, в. V, стр. 331—332.

1881

3. Изучение малограмотных написаний. — Фил. зап., 1881, т. XX, вып. 3, стр. 1—32, и отд. отт., 1881, [2], 32 стр. (Диссертация pro venia Legendi).

4. Лингвистические заметки. Вып. 1: О морфологической абсорбции и. — РФВ, 1881, т. VI, № 3, стр. 58—92, и отд. отт., 1881, [2], 35 стр.

5. Лингвистические заметки. Вып. II: Об изучении русской речи. — РФВ, 1881, т. VI, № 4, стр. 274—282, и отд. отт. (Вступительная лекция по сравнительной фонетике русского языка, читанная 8 октября 1881 г. в Казанском университете).

1882

6. Введение в изучение русского вокализма. Вып. 1. — РФВ, 1882, т. VII, № 1, стр. 86—112, № 2, стр. 282—313, и отд. отт., 1882, [2], 59 стр.

---

[1] В указателе даны библиографические сведения о печатных трудах В. А. Богородицкого с 1879 по 1944 г. и рецензиях на отдельные его работы, свидетельствующие о том живом интересе, какой вызывали труды В. А. Богородицкого среди лингвистов. В отношении полноты библиографических данных указатель может считаться относительно исчерпывающим. В своем составе он объединяет: 1) хронологический указатель трудов, опубликованных как в периодических, так и в отдельных изданиях; 2) тематический указатель; 3) список принятых сокращений.

7. Мелкие замечания. [Аналогия в старославянских и греческих корнях].— РФВ, 1882, т. VII, № 1, стр. 164—165, и отд. отт.

8. О частях речи. — РФВ, 1882, т. VII, № 2, стр. 37—39, педаг. отд., и отд. отт.

9. Лингвистические заметки. Вып. III: Этюд по психологии речи.— РФВ, 1882, т. VIII, № 3, стр. 134—146, и отд. отт.

1882—1883

10. Введение в изучение русского вокализма. Вып. 2.— РФВ, 1882, т. VIII, № 4, стр. 248—290; 1883, т. IX, № 1, стр. 8—66, № 2, стр. 299—313, и отд. отт., 1883, [2], 60—162 стр., I—XIII. (Продолжение пагинации 1-го выпуска).

1883

11. Несколько слов по поводу говорящей машины Фавера.— Собр. прот. зас. Секции физ.-матем. наук о-ва естествоиспытателей при Каз. ун-те, 1883, т. I, прот. зас. 22—24, стр. 22—32, и отд. отт.

1883—1887

12. Курс грамматики русского языка. Часть 1: Фонетика.— РФВ, 1883, т. X, стр. 177—215 (гл. I—II); 1884, т. XII, стр. 109—123 (гл. III); 1885, т. XIII, стр. 284 (конец гл. III), 285—314 (гл. IV); 1886, т. XV, стр. 114—157 (гл. V—VI), т. XVI, стр. 229—350 (гл. VII); 1887, т. XVII, стр. 181—214 (прод. гл. VII), 229—344 (гл. VIII—XI, окончание), и отд. отт., 1887, [8], 317 стр., с 2 табл. (Диссертация на степень доктора сравнительного языковедения).

Рец.: 1) А. С. Будилович. — ЖМНП, 1883, май, стр. 194—210, под заглавием: «Микрофонология в применении к русской грамматике».

2) В. В. Качановский. — Вестн. слав., 1888, кн. 2, стр. 44—80 под заглавием «Русская грамматика по новому методу». (Подпись В. К.).

3) Е. Травлинский. — Пед. сб., апрель, стр. 433—440.

4) V. Jagić. — ASPh, 1888, в. XI, стр. 456—459.

1884

13. Гласные без ударения в общерусском языке. — Казань, 1884, [4], 144 стр., с анатомо-физиологической таблицей звуков русского языка. (Диссертация на степень магистра сравнительного языкознания).

Рец.: 1) А. И. Анастасиев. — Фил. зап., 1884, № 4—5, стр. 28—45.

2) А. С. Архангельский. — ЖМНП, 1884, сент., стр. 412—414.

3) С. К. Булич. — Венг., 1885, т. IV, отд. 1, стр. 169.

4) Н. В. Крушевский. — Изв. Каз. ун., 1884, т. XX, кн. 1, стр. 151—158.

5) V. Jagić. — ASPh, 1885, в. VIII, стр. 141—143.

1884—1885

14. О преподавании русского языка в Казанской татарской учительской школе. — РФВ, 1884, т. XI, № 2, стр. 26—35, т. XII, № 4, стр. 1—6; 1885, т. XIV, № 3, стр. 1—10, педаг. отд., и отд. отт., 1885, [2], 24 стр.

1886

15. Два слова о высших женских курсах. — Нов., 1886, 4/16 сентября, № 243.

1887

16. Н. В. Крушевский. Некролог.— Волж. Вестн., 1887, 4/16 ноября, № 288.

1888

17. Положения к диссертации «Курс грамматики русского языка. Часть I: Фонетика», написанной для получения степени доктора сравнительного языковедения, Казань, 1888, 3 стр.

18. Отзыв о диссертации Н. Тихова «Характеристика Западноболгарского наречия по сборнику болгарских народных песен, изданных В. В. Качановским».— Год. акты Каз. ун., 1888, от 5/XI, стр. 10—105.

1890

19. Einige Reformvorschläge auf dem Gebiete der vergleichenden Grammatik der indoeuropäischen Sprachen.— Казань, 1890, 10 стр.

20. По поводу теории г. Камского о возникновении в человечестве членораздельной речи.— Уч. зап. Каз. ун., 1890, кн. 3, стр. 1—11, крит. и библиогр., и отд. отт. (Рец. на статью А. А. Камского «Опыт объяснения звуковых изменений речи изменением работы органов». Фил. зап., 1888—1889).

1890—1899

21. Курс сравнительной грамматики индоевропейских языков. Тетрадь 1-я.— Уч. зап. Каз. ун., 1890, кн. 2, стр. 1—16; 1892, кн. 1, стр. 17—32; 1898, кн. 11, стр. 33—48; кн. 12, стр. 49—64; 1899, кн. 4, стр. 65—80, прилож., и отдельно — Казань, 1899, 87 стр., с синхронистич. табл.

1891

22. Предисловие к кн.: Н. В. Крушевский. Очерки по языковедению. I. Французская грамматика. Посмертное издание с предисловием и под редакцией проф. В. А. Богородицкого.— РФВ, 1891, т. XXV, № 2, стр. 248—262; т. XXVI, № 4, стр. 173—186, и отд. отт., 1891, стр. I—V. (В предисловии даны краткие сведения о жизни и научной деятельности Н. В. Крушевского).

1892

23. Курс грамматики русского языка. Часть 2: Морфология (гл. I).— РФВ, 1892, т. XXVII, № 2, стр. 269—277.

24. Предложение 4-е первой книги Элементов Евклида и аксиома совместимости.— Уч. зап. Каз. ун., 1892, кн. 2, отд. наук, стр. 129—133, и отд. отт.

1892—1895

25. Краткий очерк сравнительной грамматики индоевропейских языков. Вып. I: Типы языков и их характеристика.— РФВ, 1892, т. XXVII, стр. 66—67 (гл. I—II); 1894, т. XXXII, стр. 13—44 (гл. III), и отд. отт. из РФВ под заглавием: «Из чтений по сравнительной грамматике индоевропейских языков». Вып. I, 1895, [4], 53 стр.

26. Предисловие и примечания к кн.: Н. В. Крушевский. Очерки по языковедению. II. Антропофоника. Посмертное издание с предисловием, примечаниями и под редакцией проф. В. А. Богородицкого.— РФВ, 1892, т. XXVIII, № 4, стр. 266—290; 1894, т. XXXII, № 3, стр. 66—90, и отд. отт.

1893

27. Из области лингвистической археологии. Слово «хомут» в индоевропейских и урало-алтайских языках. — Изв. ОАИЭ, 1893, т. XI, вып. 2, стр. 139—146, и отд. отт.

1894

28. К вопросу о «смешанных» языках. — Изв. ОАИЭ, 1894, т. XII, вып. 1, стр. 68—70, и отд. отт. (Резюме реферата, читанного на Виленском археологическом съезде).

29. Отзыв в историко-филологический факультет о сочинении [магистерская диссертация] С. К. Булича: «Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке. Часть I. СПб., 1893.— Уч. зап. Каз. ун., 1894, кн. 2, стр. 1—11, отд. наук, и отд. отт.

30. Отзыв о сочинении В. Брюханова на тему: «Морфологические особенности олонецкого говора по сборнику былин Гильфердинга».— Год. акты Каз. ун., 1894, от 5/XI, стр. 117—120.

31. Рец.: N. Anderson. Wandlungen der anlautenden dentalen Spirans im Ostjakischen. S. Pb., 1893, 345 стр. — Изв. ОАИЭ, 1894, т. XII, вып. I, стр. 96—102, и отд. отт.

1895

32. Об основных факторах морфологического развития языка.— РФВ, 1895, т. XXXIII, № 1—2, стр. 219—251, и отд. отт. под заглавием: «Из чтений по сравнительной грамматике индоевропейских языков», вып. II, [2], 35 стр.

33. Разбор художественно-литературных произведений. — «Хорь и Калиныч», рассказ И. С. Тургенева.— Г и СУ, 1895, вып. 1, стр. 13—18, и отд. отт.

34. Разбор художественно-литературных произведений. «Ермолай и Мельничиха», рассказ И. С. Тургенева.— Г и СУ, 1895, вып. 3—4, стр. 246—251, и отд. отт.

1895—1896

35. Исследование говора деревни Белой (Казанской губернии), вып. I.—Уч. зап. Каз. ун., 1895, кн. 5—6, стр. 111—132; 1896, кн. 4, стр. 191—210, отд. наук.

1896

36. Заметки по экспериментальной фонетике. Вып. 1: Гортанный прибор Розапелли и наблюдения с ним.— Уч. зап. Каз. ун., 1896, кн. 3, стр. 170—200, отд. наук, и отдельно — Казань, 1896, 31 стр.

1898

37. Отзыв о сочинении И. Цедровского под заглавием: «Сравнительное исследование говора черемис Козмодемьянского уезда, Казанской губернии.— Год. акты Каз. ун., от 5/XI, 1898, стр. 157—158.

38. Рец.: Н. Усов, «Экспериментальная фонетика».— Изв. ОРЯС АН, 1897, т. II, кн. 4, стр. 906—937.— РФВ, 1898, т. XXX, IX, № 1—2, стр. 304—307, и отд. отт.

1899

39. Об изучении художественно-литературных произведений. — Г и СУ, 1899, вып. 2—3, стр. 75—82, и отдельно — Казань, 1899, 8 стр.

40. О преподавании русского языка. (Из наблюдений в Казанской татарской учительской школе). Изд. 2-е.— Казань, 1899, [2], 27 стр.

Рец.: РМ, 1900, т. XI, стр. 422—423.

41. Разбор художественно-литературных произведений. «Хорь и Калиныч», рассказ И. С. Тургенева.— Казань, 1899, 7 стр.

42. Разбор художественно-литературных произведений. «Ермолай и Мельничиха», рассказ И. С. Тургенева.— Казань, 1899, 7 стр.

1900

43. Диалектологические заметки. I. Говор села Лады, Саранского уезда, Пензенской губ.— Уч. зап. Каз. ун., 1900, кн. 1, стр. 109—114, отд. наук, и отд. отт.

44. Из чтений по сравнительной грамматике. Вып. III: К хронологии и диалектологии фонетических процессов в ариоевропейском семействе языков, с физиологическими разъяснениями.— Уч. зап. Каз. ун., 1900, кн. 4, стр. 1—40, прилож., и отдельно — Казань, 1900, [2], 40 стр.

45. Исследование говора деревни Белой (Казанской губ.).— Казань, 1900, [2], 40 стр.; с таблицей. См. то же № 35.

46. Диалектологические заметки. II. Неправильности русской речи у чуваш.— Уч. зап. Каз. ун., 1900, кн. 12, стр. 199—208, отд. наук, и отд. отт.

47. Психология поэтического творчества. — Уч. зап. Каз. ун., 1900, кн. 5—6, стр. 151—174, отд. наук, и отдельно — Казань, 1900, 27 стр. (Публичная лекция).

1901

48. Диалектологические заметки. III. Говор села Сушки Золотоношского уезда Полтавской губернии.— Уч. зап. Каз. ун., 1901, кн. 5—6, стр. 167—178, отд. наук, и отд. отт.

Рец.: К. Л. Михальчук. — Киев. стар., 1901, № 7—8, стр. 48—54.

49. Очерки по языковедению и русскому языку. Пособие при изучении науки о языке.— Казань, 1901, [6], 313 стр.

Рец.: 1) И. А. Бодуэн де Куртенэ. — ЖМНП, 1903, апрель, стр. 279—334, и май, стр. 1—37, под заглавием: «Лингвистические заметки и афоризмы. По поводу новейших лингвистических трудов В. А. Богородицкого»[1].

2) В. Ягич. — Пед. сб., 1902, апрель, стр. 380—383 (подпись В. Я.).

3) E. Smétanka.— Sl. Př., 1901, IV-з, стр. 155.

4) S. Škrabec. — Cv. Fr., 1901, XIX-в.

1902

50. Диалектологические заметки. IV: Московское наречие двести лет назад.— Уч. зап. Каз. ун., 1902, кн. 2, стр. 1—8, отд. наук, и отд. отт.

51. Из чтений по сравнительной грамматике. Вып. IV: Обзор именного склонения в ариоевропейских языках.— Уч. зап. Каз. ун., 1902, кн. 1, стр. 1—32, кн. 3, стр. 33—70, прилож., и отдельно — Казань, 1902, [2], 70 стр., под названием: «Склонение в ариоевропейских языках».

[1] См. № 57.

52. Отзыв о сочинении С. И. Ершова под заглавием: «Исторический очерк экспериментальной фонетики и собственные наблюдения автора в этой области».— Год. акты Каз. ун., от 5/XI, стр. 223—224.

53. Представление об избрании проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ в почетные члены Казанского университета.— Уч. зап. Каз. ун., 1902, кн. 1, прот. зас. сов. от 6 октября 1901 г., стр. 9. (Совместно с проф. А. И. Александровым).

1903

54. Курс сравнительной грамматики ариоевропейских языков: Введение.— Уч. зап. Каз. ун., 1903, кн. 12, стр. 81—87, прилож.

55. Диалектологические заметки. V. О крымско-татарском наречии. — Уч. зап. Каз. ун., 1903, кн. 12, стр. 1—23, отд. наук, и отдельно — Казань, 1903, [2], 23 стр.

56. Очерки физиологии произношения языков французского, английского и немецкого сравнительно с русским.— Уч. зап. Каз. ун., 1903, кн. 12, стр. 31—70, отд. наук, и отдельно — Казань, 1903, [2], 42 стр.

57. Поправки к рецензии И. А. Бодуэна де Куртенэ на мое сочинение «Очерки по языковедению и русскому языку» (1901 г.).— ЖМНП, 1903, декабрь, стр. 556—557, и отд. отт.

1904

58. Общий курс русской грамматики. (Из университетских чтений).— Казань, 1904, [4], 211 стр.

Рец.: 1) Е. Ф. Будде. — Изв. ОРЯС АН, 1905, т. X, кн. 1, стр. 415—441[1].

2) ЖМНП, 1905, февраль, отд. 3, стр. 212—213.

1905

59. Заметки по экспериментальной фонетике. Вып. III: Экспериментально-фонетическое изучение природы русского ударения.— Уч. зап. Каз. ун., 1905, кн. 3, стр. 1—10, отд. наук, и отдельно—Казань 1905, 10 стр. [Сообщение, сделанное 4 (17) декабря 1904 г. в заседании «Парижского лингвистического общества»[2]].

60. Диалектологические заметки. VI: К словенской диалектологии — говор Бледа (Veldes) сравнительно с говором Циркно (Kirchheim).— Уч. зап. Каз. ун., 1905, кн. 1, стр. 1—24, отд. наук, и отдельно — Казань, 1905, 27 стр.

61. Фонограф и архив фонограмм Венской Академии Наук. — Уч. зап. Каз. ун., 1905, кн. 1, стр. 25—32, отд. наук, и отд. отт.

1906

62. Диалектологические заметки. VII: К диалектологии общерусского произношения — о смягчении согласных под влиянием следующих мягких согласных.— Изв. ОРЯС АН, 1906, т. XI, кн. 2, стр. 281—294, и отд. отт.

---

[1] См. № 72.

[2] Извлечения из «Сообщения» напечатаны в Bull. SLP, 1905, t. XIII-2, № 53, p. LXXXII.

1907

63. Заметки по экспериментальной фонетике. Вып. II: Анализ голосовых график слова «биби».— Уч. зап. Каз. ун., 1907, кн. 4, стр. 1—19, отд. наук, и отдельно — Казань, 1907, 21 стр.

64. Заметки по экспериментальной фонетике. Вып. IV: К методологии и технике экспериментально-фонетических исследований.— Уч. зап. Каз. ун., 1907, кн. 8—9, стр. 1—8, отд. наук, и отдельно — Казань, 1907, 8 стр.

65. Лекции по общему языковедению, читанные в Казанском университете проф. В. А. Богородицким (1906—1907 ак. г.). Изд. литографированное.— Казань, 1907, 174 стр.

66. Заметки по экспериментальной фонетике. Вып. V: Наблюдения над произношением с помощью губного прибора Розапелли.— Казань, 1907, [2], 32 стр., с табл. график.

67. Наблюдения посредством мышечного чувства над произношением звуков русского языка. — РФВ, 1907, т. VII, № 1, стр. 122—130, и отд. отт.

68. Общий курс русской грамматики. (Из университетских чтений). Изд. 2-е испр. и дополн.— Казань, 1907, IV, 272 стр.

Рец.: 1) Е. Ф. Карский.— РФВ, 1907, т. VII, № 3, стр. 229.

2) Э. Лямбек. — РШ, 1910, № 2, стр. 2—5, крит. и библиогр.

1907—1908

69. Курс сравнительной грамматики арioевропейских языков. Тетрадь 2-я.— Уч. зап. Каз. ун., 1907, кн. 10, стр. 1—20; 1908, кн. 2, стр. 21—48, кн. 4, стр. 49—72, прилож., и отдельно — Казань, 1908, 72 стр.

1908

70. В ответ г-ну К. В. Харламповичу на его «Pro domo sua».— Уч. зап. Каз. ун., 1908, кн. 10, прилож., стр. 1—2, и отд. отт.

71. Заметки по экспериментальной фонетике. Вып. V: Наблюдения над произношением с помощью губного прибора Розапелли.— Уч. зап. Каз. ун., 1908, кн. 1, стр. 1—32, отд. наук., с табл. график. См. то же № 66.

72. Несколько слов по поводу рецензии Е. Ф. Будде на мое сочинение «Общий курс русской грамматики» (Казань, 1904).— Изв. ОРЯС АН, т. XIII, кн. 4, стр. 216—219, и отд. отт.

73. О влиянии на неударяемые гласные твердости и мягкости соседних согласных в общерусском языке. — Zb.— usl. Jagića, 1908, стр. 247—253, и отд. отт.

74. Основы арифметического счета (глава из Курса индуктивной философии).— Уч. зап. Каз. ун., 1908, кн. 6—7, стр. 1—23, отд. наук, и отдельно — Казань, 1908, 23 стр.

75. Представление о присвоении Н. Ф. Катанову ученой степени доктора сравнительного языковедения.— Уч. зап. Каз. ун., 1908, кн. 5, прот. зас. сов. от 26 ноября 1907, стр. 15. (Совместно с проф. А. И. Александровым).

76. Программа лекций по общему языковедению, прочитанных проф. В. А. Богородицким 3, 4 и 5 января 1908 г. для учителей и учительниц русского языка и словесности в г. Казани.— ЦКУО, 1908, февраль, стр. 35—37, примеч.

1908—1909

77. Сравнительно-грамматический комментарий к текстам арио-европейских языков. Вып. 1: Санскрит.— Уч. зап. Каз. ун., 1908, кн. 3, стр. 1—32, кн. 10, стр. 33—44; 1909, кн. 5—6, стр. 45—96, прилож., и отдельно — Казань, 1909, 95 стр.

1909

78. Опыт физиологии общерусского произведения в связи с экспериментально-фонетическими данными.— Уч. зап. Каз. ун., 1909, кн. 3, стр. 1—16; кн. 4, стр. 17—32; кн. 5—6, стр. 33—74, отд. наук, и отдельно — Казань, 1909, [4], 74 стр., с чертежами в тексте и 15 рисунками в красках.

Рец.: 1) Д. Кудрявский. РМ, 1909, декабрь, стр. 414—416.

2) Э. Ламбек. — РШ, 1909, № 2, стр. 2—5, крит. и библиогр.

3) А. И. Томсон.— ЖМНП, 1910, № 1, стр. 186—204[1].

79. Очерки по языковедению и русскому языку. Пособие при изучении науки о языке. Изд. 2-е, знач. дополн.— Казань, 1909, VI, 460 стр., 2 табл.

Рец.: 1) Д. Кудрявский. — РМ, декабрь, стр. 414—416.

2) Э. Ламбек. — РШ, 1909, стр. 2—5, крит. и библиогр.

3) И. Эндзелин. — ЖМНП, 1909, сентябрь, стр. 194—206.

4) A. Meillet.— Bull. SLP, 1909, t. XVI—1, № 57, p. CLXXIV—CLXXV.

1910

80. Краткий очерк диалектологии и истории русского языка. (Дополнение ко 2-му изданию «Общего курса русской грамматики»).— Уч. зап. Каз. ун., 1910, кн. 1, стр. 273—320; кн. 4, стр. 321—368; кн. 5, стр. 369—406, прилож.— Казань, 1910, [4], стр. 273—405. (Продолжение пагинации 2-го изд. «Общего курса русской грамматики»).

Рец.: A. Meillet. — Bull. SLP, 1910, t. XVI—2, № 58, p. CCCIXXXIII—CCCIXXXIV.

81. Ответ проф. А. И. Томсону. — ЖМНП, 1910, 4, ч. XXVI, март — апрель, стр. 420—426.

82. Очерки по языковедению и русскому языку. Пособие при изучении науки о языке. Изд. 3-е, пересм. и исправл.— Казань, 1910, VI, 456 стр.

Рец.: Д. Кудрявский. — РМ, 1910, декабрь, стр. 414—416.

1911

83. Диалектологические заметки, VIII: Об антропофоническом строении жемайтского слова по наблюдениям в Палангене.— РФВ, 1911, т. LXV, № 1, стр. 111—118, и отд. отт.

84. Общий курс русской грамматики. (Из университетских чтений). Изд. 3-е, значит. дополн.—Казань, 1911, VI, 464 стр.

Рец.: 1) Е. Ф. Карский. РФО, 1911, т. LXV, № 2, стр. 482.

2) M. Weingart. — ČMF, 1912, II, стр. 152—153.

3) A. Meillet.— Bull. SLP, 1911, t., XVII, N 57, p. CXXXI—CXXXII.

[1] См. № 81.

85. Рец.: Брок, О. Очерк физиологии славянской речи. Энциклопедия славянской филологии, вып. 5—2, 1910.— ASPh., 1911, т. XXXIII, стр. 220—223, и отд. отт. (на нем. яз.).

1911—1913

86. Лекции по общему языковедению. Уч. зап. Каз. ун., 1911, кн. 2, стр. 1—32, кн. 11, стр. 33—64; 1912; кн. 2, стр. 65—96, кн. 4, стр. 97—112; 1913, кн. 1, стр. 113—144, кн. 2, стр. 145—176, кн. 3, стр. 177—192, кн. 4, стр. 193—246, прилож. и отдельно — Казань, 1913, IV, 246 [1] стр.

Рец.: 1) Е. Ф. Карский. — РФВ, 1913, т. LXIX, № 1—2, стр. 514—515;

2) A. Meillet. — Bull. SLP, 1913, t. XVIII—2, № 61, p. CLXXVIII — CLXXIX.

1912

87. Заметки по экспериментальной фонетике. Вып. VI: К вопросу о природе латышского ударения.— РФВ, 1912, т. LXVIII, № 4, стр. 460—467, и отд. отт.

88. Диалектологические заметки. IX: Из наблюдений над сербско-хорватским литературным произношением.— РФВ, 1912, т. LXVII, № 1—2, стр. 201—206, и отд. отт.

Рец.: 1) А. Белић. — ЈФ, 1913, кн. 1, св. 1—2, стр. 128—130. [Подпись А. Б.]

2) М. С. Московлевич. — Изв. ОРЯС АН, 1913; т. XVIII, кн. 3, стр. 384—391[1].

89. Синтаксис родительного падежа в русском языке.— РФВ, 1912, т. LXVIII, № 3, стр. 211—225, и отд. отт.

1913

90. Étude sur la nature de l'accent lette — R. d. Phon. 1913, т. III, № 2, стр. 152—162, и отд. отт.

91. Общий курс русской грамматики. (Из университетских чтений). Изд. 4-е, дополн.— Казань, 1913, VI, 553 стр.

Рец.: 1) Е. Ф. Карский. — РФВ, 1913, т. LXIX, № 1—2, стр. 248.

2) A. Meillet. — Bull. SLP, 1913, t. XVIII, № 61, p. CCCXXI—CCCXXII.

92. Рец.: Тимофеев М. И. Значение и применение звуковых таблиц при обучении по естественному методу, Одесса, 1913.— Нач. об., 1913, № 1, стр. 41—45.

1914

93. Говор деревни Белой Казанской губернии. — РФВ, 1914, т. LXXI, с № 1, стр. 1—14, и отд. отт.

94. Die Eigentöne der Vocale in der russischen Sprache. (Aus dem phonetischen Laboratorium der Universität Kasan.) — Казань, 1914, 4 стр.

95. Еще один способ исследования тембра гласных звуков. — РФВ, 1914, т. LXXI, № 1, стр. 171—173, и отд. отт.

96. Несколько ответных замечаний на рецензию М. С. Московлевича.— РФВ, 1914, т. LXXI, № 2, стр. 602—604, и отд. отт.

97. Сравнительная грамматика ариоевропейских языков, вып. 1.— Казань, 1914, [4], 144 стр.

Рец.: A. Meillet. — Bull. SLP, 1914, т. XIX, fasc. 1, № 2, стр. 47—48.

[1] См. № 96.

1915

98. Лекции по общему языковедению. Изд. 2-е, знач. дополн.,— Казань, 1915, [2], II, 333 стр.

Рец.: A. Meillet. — Bull. SLP, 1915, t. XX, fasc. 2, № 65, p. 147—148.

99. Некоторые вопросы синтаксиса, морфологии и семасиологии в применении к русскому языку. — ЖМНП, 1915, ч. XLVII, № 12, отд. 2, стр. 323—343, и отд. отт. (Из чтений на учительских курсах в Казани в авг. 1915 г.).

Рец.: Вестн. восп. 1916, январь, стр. 70—71.

100. Резонансовые тоны полости рта при русских гласных. — РФВ, 1915, т. LXXIII, № 1, стр. 76—81, и отд. отт. (Сообщение, сделанное на Экспериментально-фонетическом конгрессе в Гамбурге 9/22 апреля 1914 г.).

1916

101. Краткий очерк сравнительной грамматики ариоевропейских языков. — Казань, 1916, IV, 178 стр.

Рец.: A. Meillet. — Bull. SLP, 1916, t. XX, fasc. 1, № 64, p. 43.

102. Отзыв о сочинении Н. П. Андреева «Опыт экспериментально-фонетического исследования отдельных гласных и некоторых простейших звукосочетаний в общерусском произношении».— Уч. зап. Каз. ун., 1916, кн. 12, стр. 3—19.

1917

103. Краткий очерк сравнительной грамматики ариоевропейских языков. Изд. 2-е, знач. дополн.— Казань, 1917, IV, 207 стр.

Рец.: A. Meillet. — Bull. SLP, 1922, t. XXIII, fasc. 2, № 71, p. 118—119.

104. Курс экспериментальной фонетики применительно к литературному русскому произношению. Вып. 1: Введение. Сторона анатомо-физиологическая в произношении и способы экспериментального изучения ее.— Уч. зап. Каз. ун., 1917, кн. 2, прилож., стр. 1—80, и отдельно — Казань, 1917, 74 стр., с рис. в тексте.

Рец.: A. Meillet. — Bull. SLP, 1918, t. XXI, fasc. 1, № 66, p. 44. [Подпись А. М.]

105. Лингвограммы литературного русского произношения.— РФВ, 1917, т. LXXVII, № 1—2, стр. 190—195, и отд. отт.

1918

106. Русская грамматика. Пособие для педагогических классов и при самообразовании.— Казань, 1918, [2], IV, 329 стр.

Рец.: A. Meillet. — Bull. SLP, t. XXIII, 1922, fasc. 2, № 71, p. 118—119.

1919

107. Статьи по начальному преподаванию русской грамматики и изучению художественно-литературных произведений. — Казань, 1919, [4], 68 стр.

Рец.: A. Meillet.— Bull. SLP, t. XXIII, 1922, fasc. 2, № 71, p. 118. [Подпись А. М.]

108. Диалектологические заметки. Х.: Характеристика звукового состава в казанском говоре поволжско-татарского языка в соотношении с звуковою системою об-

щерусского языка.— Изв. РАН, 1919, т. XIII, стр. 873—886. (Сообщение, сделанное 10 января 1919 г. на мусульманской орфографической конференции в Казани).

1920

109. Основы арифметического счета. — Знание — сила, 1920, 7/VII, № 18, стр. 48—50.

110. О том, как науки разделяются. — Знание — сила, 1920, 19/IV, № 10, стр. 3—4.

111. Разбор художественно-литературных произведений. — «Бежин луг», рассказ И. С. Тургенева.— Знание — сила, 1920, 19/V, № 14, стр. 5—6.

1921

112. М. И. Берг. Некролог.— Изв. ТЦИК, 1921, 30/XI, № 266.

113. С. К. Булич. Некролог.— Изв. ТЦИК, 1921, 27/VII, № 164.

114. Обзор языков турецко-татарского семейства.— Изв. ТЦИК, 1921, 25/X, № 237 и 27/X, № 239.

Рец.: А. М. Селищев.— Вестн. просв. 1921, № 6—7, стр. 218.

115. О преподавании русской грамматики в татарской школе. Изд. 3-е, Казань, Госиздат, 1921, 27 стр.

116. О структуре языков русского и татарского.— Изв. ТЦИК, 1921, 5/VII, № 145.

Рец.: А. М. Селищев. Вестн. просв., 1921, № 6—7, стр. 218.

117. Ученические ошибки на уроках русской диктовки в татарской школе. — Вестн. просв., 1921, № 6—7, стр. 107—111.

1922

118. Введение в тюрко-татарское языкознание. Часть 1 (общая): о природе языка; физиология и психология речи; типы языков.— Казань, Татгосиздат, 1922, 58 стр.

Рец.: A. Meillet. Bull. SLP, 1924, т. XXIV, fasc. 2, № 74, p. 199. [Подпись А. М.].

119. Курс экспериментальной фонетики применительно к русскому литературному произношению. Вып. II: Методология и техника экспериментально-фонетических исследований физиологического типа — Казань, Татгосиздат, 1922, 50 стр., с атласом рис. к тексту.

120. Курс экспериментальной фонетики применительно к русскому литературному произношению. Вып. III: Физико-акустическая сторона произношения.— Казань, Татгосиздат, 71 стр., с рис. в тексте.

Рец.: A. Meillet. Bull. SLP, 1924, т. XXIV, fasc. 2, № 74, p. 12—13.

1923

121. Предисловие к кн.: М. И. Берг. Восемь татарско-башкирских песен. (Мелодии, текст и перевод). Под ред. проф. В. А. Богородицкого.— Казань, Изд. Комбината издат. и печати, 1923, стр. 3—4.

122. Экспериментально-графическое исследование двусложных слов в общерусском произношении. — Изв. ОРЯС Росс. АН, 1923, т. XVIII, стр. 321—332.

123. Observations expérimentales sur la prononciation du russe: groupes, monosyllabiques simples. — R. d. ES. 1924, t. IV, fasc. 1—2, p. 66—75.

1925

124. Observations expérimentales sur la prononciation du russe: l'articulation labiale. — R. d. ES, 1925, t. V, fasc. 3—4, p. 193—204.

125. Untersuchung des gemeinrussischen Versrhythmus mit Hilfe des Rosapelly'schen Lippenapparates.— Z. f. sl. Phil., 1925, Bd. II, H. 3—4, S. 437—442.

126. Эволюция окончаний родительного падежа в тюркских диалектах. — ВНОТ, 1925, № 3, стр. 12—15, и отд. отт.

1926

127. Движение тона в словах двусложных и трехсложных в татарском языке по экспериментальным данным. — ВНОТ, 1926, № 4, стр. 3—9, и отд. отт.

Рец.: Р. О. Шор. — РЯСШ, 1930, вып. 4, стр. 212.

128. Фонетика татарского языка в связи с другими тюркскими языками. — ВНОТ, 1926, № 4, стр. 92—93. (Резюме из сообщения, сделанного 17 февраля 1927 г. в заседании Научного об-ва татароведения).

129. Пластографический метод в применении к русским гласным. CMF, 1926, т. XVI, стр. 11—13, и отд. отт.

1927

130. Законы сингармонизма в тюркских языках. — ВНОТ, 1927, № 6, стр. 68—80, и отд. отт.

131. Experimentell-graphische Untersuchungen zwei- und dreisilabiger Wörter in der tatarischen Sprache.— Festschrift Meinhof, 1927, S. 358—363, и отд. отт.

132. К морфологии умеренно-окающих великорусских говоров: вариации определенного члена в говоре дер. Белой (Казанского района).— Н.-П. сб., 127, вып. 3, стр. 48—51, и отд. отт.

133. О долгом и недолгом ӱ в западносибирских тюркских диалектах и сродных явлениях в других тюркских языках.— Докл. АН СССР.— В, 1927, № 4, стр. 75—178.

134. Über Sprachfehler der Deutschen im Russischen und der Russen im Deutschen. — ASPh, 1927, Bd. XLI, S. 1—13, и отд. отт.

1928

135. Некоторые явления ассимиляции согласных в говоре дер. Белой.— Сб. ОРЯС АН СССР в честь акад. А. И. Соболевского, 1928, стр. 163—166.

136. Неударенные гласные в соотношении их с ударенными в словах в общерусском произношении по экспериментальным данным (сонорная длительность, средняя высота тона).— Изв. РЯС АН СССР, 1928, т. I, кн. 1, стр. 141—153.

137. О букваре и книге для чтения по русскому языку в школах нацменьшинств РСФСР.— Сб. РЯШНМ, 1928, стр. 181—183.

138. О корневом вокализме и его изменениях в казанско-татарском диалекте. — ВНОТ, 1928, № 8, стр. 112—122, и отд. отт.

139. Ошибки немца в русской речи и русского в немецкой. — Н.-П. сб., 1928, вып. 4, стр. 168—177, и отд. отт. См. то же № 134.

1929

140. К истории сборников марийских (черемисских) песен. — Изв. АН СССР, ОГН, 1929, № 2, стр. 155—164, и отд. отт.

141. К учению о гласных в общерусском произношении. — Изв. РЯС АН СССР, 1929, т. II, кн. 2, стр. 660—665, и отд. отт.

142. Орфография яналифа в соотношении с орфографией западноевропейских народов. — Просвещение и жизнь, 1929, № 6—7, стр. 35—38, и отд. отт. (Сообщение на конференции яналифа в Казани, 23/V 1929 г.).

143. Хозяйственные расчеты крестьянина дер. Белой (Казанского района) в последней четверти прошлого столетия — Изв. ОАИЭ, 1929, т. XXXIV, вып. 3—4, стр. 197—198, и отд. отт.

1930

144. По вопросу о технике стихосложения. — Изв. РЯС АН СССР, 1930, т. III, кн. 2, стр. 551—556.

145. Фонетика русского языка в свете экспериментальных данных. Со многими рисунками и экскурсами о татарской орфографии и произношении.— Казань, Изд. Дома татарской культуры, 1930, 356 [1] стр. опеч. (Труды Дома татарской культуры, том III). [Труд, премированный НКП РСФСР].

Рец.: 1) Шор Р. О. — РЯСШ, 1930, вып. 4, стр. 211—212;

2) A. Meillet. — Bull. SLP. 1931, t. XXI, fasc. 3, № 94, p. 204—205. [Подпись А. М.].

3) Thomson, A.— Z. f. slav. Phil., 1930, Bd. VII, H. 3—5, S. 467—473.

146. Казанский период профессорской деятельности проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ (1875—1883).— Pr. Fil., 1931, T. XV, cz. II, S. 465—470, и отд. отт.

1932

147. Об углубленно-научном изучении татарского языка. — Кр. Тат., 1932, 26/XI, № 267.

148. Полвека за работой. — Экспериментальная фонетика и Кабинет экспериментальной фонетики в Казани.— Кр. Тат., 1932, 10/VI, № 130.

1933

149. Этюды по татарскому и тюркскому языкознанию. — Казань, Татгосиздат, 1933, X [2], 156 стр. [Вступительная статья П. Кузнецова].

1934

150. Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками. — Казань, Татгосиздат, 1934, 167 стр.

1935

151. Общий курс русской грамматики (из университетских чтений). Изд. 5-е, перераб.— М., Соцэкгиз, 1935, [6], 354 [2] стр., с 3 табл.

152. О научных задачах татарского языкознания. (К XV-летию ТАССР).— Казань, Татгосиздат, 1935, 14 [2] стр.

153. О преподавании русской грамматики в татарской школе. Изд. 4-е, дополн.— Казань, Татгосиздат, 1935, 22 [2] стр.

1939

154. Казанская лингвистическая школа (1875—1939).— Труды МИИФЛ, 1939, т. V, стр. 265—294.

155. Очерки по языковедению и русскому языку. Изд. 4-е, перераб., М., Учпедгиз, 1939, 222 [1] стр., с табл.

1940

156. Заметка о ритме и форме в поэзии А. С. Пушкина. — Уч. зап. КГПИ, 1940, вып. 3, стр. 105—108. [Факультет языка и литературы].

1944

157. Характеристика звуковой системы марийского (черемисского) языка.— Изв. ОРЯС АН СССР, 1944, т. III, вып. 6, стр. 251—263. [Посмертное издание].

Труды, приготовленные к печати

158. Введение в изучение современных романских и германских языков.

159. Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками. [Исправленная и дополненная редакция первого издания этой работы (см. № 150)].

Труды незаконченные

160. Введение в элементы наук. (Для народного образования и самообразования.)

Редакция

1. Берг М. И. Восемь татарско-башкирских песен.— (Мелодии, текст и перевод).— Казань, Изд. Комбината издат. и печати, 1923, 24 стр. См. то же № 121.

2. Крушевский Н. В. Очерки по языковедению. I. Французская грамматика.— РФВ, 1891, т. XXV, № 2, стр. 248—262; т. XXVI, № 4, стр. 173—186, и отд. отт.; 1891, I—V, 32 стр. См. то же № 22.

3. Крушевский Н. В. Очерки по языковедению. II. Антропофоника.— РФВ, 1892, т. XXVIII, № 4, стр. 266—290; 1894, т. XXXII, № 3, стр. 66—90, и отд. отт. См. то же № 26.

4. Крушевский Н. В. Очерки по языковедению. III. Важнейшие данные фонетики романских языков. Уч. зап. Каз. ун., 1894, кн. 2, стр. 99—120, и отд. отт., 2, 22 стр.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ В. А. БОГОРОДИЦКОГО

I. Общее языкознание и сравнительная грамматика индоевропейских языков: № 19, 27, 28, 25 и 51, 21 и 69, 56, 77, 49 и 155, 86 и 98, 97, 101 и 103, 134, 139.

II. Русское языкознание:

А. Экспериментально-фонетические исследования по русскому языку: № 13, 59, 78, 94, 100, 104, 105, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 136, 145.

Б. Современный русский литературный язык: № 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 23, 58 и 151, 67, 73, 89, 99, 106, 141.

В. Русская диалектология: № 35 и 45, 43, 48, 50, 62, 93, 132, 143.

Г. История русского языкознания: № 16, 53, 75, 112, 113, 146, 148, 154.

III. Славянская и литовская диалектология: № 60, 83, 88.

IV. Тюрко-татарское языкознание: № 14, и 153, 46, 55, 114, 116, 117, 118, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 138, 142, 147, 149, 150, 152.

V. Угро-финское языкознание: № 31, 140, 157.

VI. Экспериментальная фонетика: № 11, 13, 36, 38, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 78, 87, 90, 94, 95, 100, 102, 104, 105, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 136, 145.

VII. Статьи методические: № 3, 14 и 153, 56, 107, 117, 134, 137, 139.

VIII. Статьи разного содержания: № 15, 33 и 41, 34, и 42, 47, 74 и 109, 110, 111, 156.

IX. Рецензии, ответы на рецензии и некрологи:

А. Рецензии: № 18, 20, 29, 30, 31, 37, 38, 52, 85, 92, 102.

Б. Ответы на рецензии: № 57, 70, 72, 81, 96.

В. Некрологи: 16, 112, 113.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ УКАЗАТЕЛЕ ТРУДОВ В. А. БОГОРОДИЦКОГО

Венг.	Венгеров, С. А., Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, Петроград
Вестн. восп.	«Вестник воспитания», С.-Петербург
Вестн. просв.	«Вестник просвещения», Казань
Вестн. слав.	«Вестник славянства», Казань
ВНОТ	«Вестник Научного общества татароведения», Казань
Волж. вестн.	«Волжский вестник», Казань
Г и СУ	«Городской и сельский учитель», Симбирск.
Год. акты Каз. ун.	«Годичные акты Казанского университета», Казань
Докл. АН СССР.—В	«Доклады Академии Наук СССР, серия В», Ленинград
ЖМНП	«Журнал министерства народного просвещения», С.-Петербург
ЗКВ	«Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее Академии Наук СССР», Ленинград
Знание — сила	«Знание — сила», Казань
Изв. АН СССР, ОГН	«Известия Академии Наук СССР. Отдел гуманитарных наук», Ленинград.
Изв. Каз. ун.	«Известия Казанского университета», Казань
Изв. ОАИЭ	«Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете», Казань.
Изв. ОРЯС АН	«Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии Наук», С.-Петербург
Изв. ОРЯС Росс. АН	«Известия Отделения русского языка и словесности Российской Академии Наук», Петроград
Изв. РАН	«Известия Российской Академии Наук», Петроград
Изв. РЯС АН СССР	«Известия по русскому языку и словесности Академии Наук СССР», Ленинград
Изв. ТЦИК	«Известия Всетатарского центрального исполнительного комитета Советов Р. К. и К. Д., Областного Комитета РКП(б) и Казанского Совета Р. и К. Депутатов», Казань
Каз. библ.	«Казанский библиофил», Казань
Киев. стар.	«Киевская старина», Киев
Кр. Тат.	«Красная Татария», Казань
Наука и жизнь	«Наука и жизнь», Москва
Нач. об.	«Начальное обучение», Казань
Н.-П. сб.	«Научно-педагогический сборник Восточного педагогического института», Казань
Нов.	«Новости» и «Биржевая газета», Москва—С.-Петербург

Пед. сб.	«Педагогический сборник, издаваемый при Главном управлении военно-учебных заведений», С.-Петербург
Просвещение и жизнь	«Просвещение и жизнь», Казань
РМ	«Русская мысль», Москва
РФВ	«Русский филологический вестник», Варшава
РШ	«Русская школа», С.-Петербург
РЯСШ	«Русский язык в советской школе», Москва
Сб. ОРЯС АН СССР в честь акад. А. И. Соболевского	«Сборник статей в честь академика А. И. Соболевского Отделения русского языка и словесности Академии Наук СССР», Ленинград
СБ РЯШНМ	Сборник «Русский язык в школах национальных меньшинств РСФСР», Москва.
Собр. прот. зас. секций физ.-мат. наук О-ва естествоиспыт. при Каз. ун-те	«Собрание протоколов заседаний Секции физико-математических наук Общества естествоиспытателей при Казанском университете», Казань
Труды МИИФЛ	«Труды Московского института истории, философии и литературы». (Сборник статей по языковедению под редакцией профессоров М. В. Сергиевского, Д. Н. Ушакова и Р. О. Шор), Москва
Уч. зап. КГПИ	«Ученые записки Казанского государственного педагогического института», Казань
Уч. зап. Каз. ун.	«Ученые записки Казанского университета», Казань
ЦКУО	«Циркуляры по Казанскому учебному округу», Казань
Фил. зап.	«Филологические записки», Воронеж
ASPh	«Archiv für slavische Philologie», Berlin
Bull. SLP	«Bulletin de la Société de linguistique de Paris»
ČMF	«Časopis pro moderni filologii», Praha.
Festschrift	«Festschrift Meinhof», Hamburg
ЈФ	«Јужнословенски филолог», Белград
Nowiny	«Nowiny», Warszawa
Pr. Fil.	«Prace filologiczne», Warszawa
R. d. ÉS	«Revue des Études slaves», Paris
R. d. Phon.	«Revue de Phonétique», Paris
Sl. Př.	«Slovanský Přehled», Praha
Cv. Fr.	«Cvetje z vertov sv. Frančiška», Corica
Zb.— usl. Jagica.	«Zbornik u slavu Vatroslava Jagića», Berlin
L. f. slv. Phil.	«Zeitschrift für slavische Philologie», Leipzig

СОДЕРЖАНИЕ

И. А. Попова. Неполные предложения в современном русском языке 3
А. Д. Григорьева. К истории местоимений *сей* и *оный* в русском литературном языке начала XIX в. (*сей* и *оный* у Пушкина) 137
В. Н. Сидоров. Редуцированные гласные ъ и ь в древнерусском языке XI в. . . 199
П. С. Кузнецов. К вопросу о генезисе видо-временны́х отношений древнерусского языка 220
П. С. Кузнецов. Василий Алексеевич Богородицкий (1857—1941) 254
А. Н. Мироносицкая. Библиографический указатель трудов В. А. Богородицкого 257

ЕКЦИЯ
Института
языкознания
А.Н. СССР

Утверждено к печати
Институтом языкознания
Академии Наук СССР

*

Редактор издательства *А. Т. Лифшиц*
Технический редактор *Г. Н. Шевченко*
Корректор *В. К. Гарди*

*

РИСО АН СССР № 14-71 В. Т-00730. Издат. № 3795.
Тип. заказ № 774. Подп. к печ. 7/II 1953 г.
Формат бум. 70×108¹/₁₆. Печ. л. 23,63.
Бум. л. 8,63. Уч.-изд. 20,3 Тираж 5000.
Цена по прейскуранту 1952 г. 15 р. 20 к.

2-я тип. Издательства Академии Наук СССР
Москва, Шубинский пер., д. 10

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
18	8 св.	приро	природы
33	кол. титул	*современной*	*современном*
57	21 св.	отвечает в общей	отвечает общей
140	22 св.	за различным стилем	за различными стилями
214	4 сн.	*-емь*	*-ьмь*

Труды Ин-та языкознания, т. II.

15 руб. 20 коп.